

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы
Книга восемнадцатая
(II - 2009)

„Partner“ Verlag
2009



Главные редакторы:

Даниил Чкония
Лариса Щиголь

Редколлегия:

Людмила Агеева
Борис Вайнблат
Сергей Викман
Юрий Малецкий

“Zarubežnye zapiski“

ISSN 1862-8419

Все тексты этого и других выпусков журнала
представлены на интернет-порталах:

<http://magazines.russ.ru/>(Журнальный зал)
<http://www.zapiski.de>

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы

КНИГА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Ника Батхен. И война не моё ремесло... <i>Стихи</i>	2
Людмила Агеева. Тонкий слой. <i>Роман</i>	9
Павел Лукаш. Такая штопаная жизнь. <i>Стихи</i>	69
Арсений Березин. Амурские волны. <i>Рассказ</i>	75
Каринэ Арутюнова. Жёлтое на чёрном. <i>Рассказ</i>	79
Нина Горланова, Вячеслав Букур. <i>Два рассказа</i>	86
Урал-Кавказ	
Тобаго (гонки крабов)	
Баадур Чхатарашвили. Война. <i>Рассказ</i>	100
Андрей Грицман. Слов случайных горечь. <i>Стихи</i>	105
Наталья Толстая. <i>Рассказы</i>	110
Всё ясно	
На родине	
С немцами на северо-запад	
Старо, как мир	
Михаил Письменный. Витязь. <i>Повесть</i>	119
Владимир Шубин. Гость на поминках. <i>Рассказ</i>	141
Аркадий Кайданов. <i>Пять стихотворений</i>	145

СВОБОДНЫЙ ЖАНР

Илья Фаликов. Элиот, или чужих лебедей не бывает	147
---	-----

ЭССЕИСТИКА, КРИТИКА, ПУБЛИЦИСТИКА

Самуил Лурье. Бедные люди!	162
Леонид Гиршович. <i>Две статьи</i>	176
«...А Московский Кремль стоит, думу думает»	
Не на свободную тему	
Елена Скульская. <i>Эссе</i>	181
Прогульщики	
Крап и Лермонтов	
Розалина	
Модный Гамлет	

ФОРУМ

Александр Мелихов. Глобализация ценностей	185
Елена Краснухина. Зависть спасёт мир?	187

ИНЫЕ ЖАНРЫ...

Сергей Жадан. Красный Элвис	190
Коротко об авторах	199

И ВОЙНА НЕ МОЁ ремесло...

Опоздать к Рождеству

Чем потешиться, ночь? Расписным куличом
В белоснежной январской глазури.
По пустым переулкам бродить ни о чем,
Наблюдать, как шановный мазурик
Потащил виртуозно пустой кошелек
У пьянчуги, счастливого в доску,
Как законченный год вышел тенью и лег
У столба по фонарному воску.
Этот свет, что любого состарит на век,
Одиночество первой морщины.
Потаенную грусть увядающих век
По достоинству ценят мужчины.
Электричество. Связь. Необъятный поток.
Мыслеформы двоичной системы.
Мандарины попарно ложатся в лоток,
Ночь молчит. Двери прячутся в стены.
Не укрыться в подъезде от взглядов витрин,
Не спастись от свистка потового.
Перекрыты все трассы, ведущие в Рим:
Вдруг да выпустят бога – живого.
За душой ни души. Мостовые Москвы
Кроет ветер безбожно и люто.
...По Арбату устало плетутся волхвы
И в снегу утопают верблюды.

* * *

И. М.

Петербург. Петроград. Голодуха.
Трубы, трупы, рассветная морось.
Город вымерз. От каждого слуха
Он теряет и гордость, и голос.
Бескозырки выходят на Невский
В полном блеске салог и медалей.
...Ваши штуки, товарищ Гриневский,
Не поймет мировой пролетарий.
Чудаки возвращаются с воли,
Им по карточкам – пайка и борщик...
Поезжайте-ка в Африку, Коля, –

Из поэта плохой заговорщик.
Наплевать, кто стоит у кормила
Наверху, – равноценно багровы
Основание нового мира
И фундамент для града Петрова.
...А на Марсе, не зная о Марксе,
Дети Тумы мечтают о странном...
«Аэлита» безмолвствует в «Арсе».
Точит дева слезу над романом.

Баллада о холодной ночи

Главное, мин херцн, это искренность.

В. Никритин

Кесарю – косую, суке – выпренность,
Пастырю – глухие пустыри.
Главное, мин херцн, это искренность.
Наболело – так и говори.
Что брести в метель замоскворечицей,
Что ловить трамвайное тепло.
Прячешь плечи. Знаю, время лечится.
И проходит, если повезло.
Уезжай по тряской равнодушице,
Набирай по памяти звонок.
Если я отвечу – дом разрушится.
Промолчу – останусь одинок.
Что слова – бесплодные и скудные.
Посмотри на чухлое бытё.
Я пойду на улицы безлюдные,
Половлю на деньги забытё.
И вернусь, пустой и неприкаянный,
Безоружный, словно инвалид.
Знаешь, если ночь гулять окраиной,
Поутру всегда душа болит.

Любовный рок-н-ролл

Майн либе рокер, он был бабник и писал альманах,
Он возвращался из Сибири в одних штанах, надетых нах,
Он мог косячить на работе и забивать косяки
И засыпать в своей блевоте и завывать от тоски.
Его гитарка в алых брызгах перерезанных вен,
Его татарка носит пузо и что-то хочет взамен.

Эй, вымой голову, бэйби, – ты начинаешь лысеть!

Майн либе геймер трахал клави и любил свою мышь,
Он жрал какую-то отраву и говорил «пошли, малыш»,
Он видел жёлтое светило четыре-пять раз в году,
Он был похож на крокодила из песков Катманду,

Я потихоньку проследила, куда ведёт его тропа –
Она от кухни до сортира и обратно до компа.

Эй, вымой голову, бэйби, – ты начинаешь лысеть!

Майн либе лирик был начальник в конторе номер один,
Он был молчальник и печальник и сам себе господин,
Он в ресторане кушал утку и копчёных угрей,
Учил красотку секретутку размерить ямбом хорей,
Он чтил законы и систему, забыл, когда сидел в метро,
И третий год писал поэму про плоский зад Мерлин Монро

Эй, вымой голову, бэйби, – ты начинаешь лысеть!

Мужчина может быть похожим на кота-камыша,
Быть толстобрюхим, краснорожим и не иметь ни шиша,
Пить пиво с раковой печёнкой, давить орехи на спор,
Любиться с каждой девчонкой, чесать кулак об забор.
Но, подыхая на бульваре, в нечётный день января,
Плевать в лицо костлявой твари – «по крайней мере жил не зря».

Эй, вымой голову, бэйби, – ты начинаешь лысеть!

Мон дье

Мой бог – слабак и немного циник,
Он носит джинсы и пьёт кагор,
В его кармане всегда полтинник,
А вместо плечи – всегда пробор.

Он пьёт... об этом уже сказала,
Он спит... а спит ли он здесь вообще?
Он может в полночь прийти с вокзала
В дождевековом сыром плаще,

Достать билеты – плацкарт до Тулы,
Сказать: езжай, у меня дела.
Он знает точки любой природы,
Как кожа помнит укол стила.

Я буду плакать и бить стаканы,
Потом поеду... А он пока
Повесит плащ, перевяжет раны
И выпьет тёплого молока.

Его заботы моим не пара,
Ивану – Машу, кота – мышам.
Горнило – горю, кошму – кошмару,
И с каждым маленьким – по душам.

Да, с каждым малым – ладонь к ладони,
Простить и снова, простить и сно...

Спрошу, как пахнут ковыль и донник,
Скажи – степями, скажи – весной...

Дай бог покоя – на ночь глухую
Дремать вполглаза, слова плести,
Раз взял богиней меня – такую,
То я сумею его спасти.

* * *

Не прибыли к югу, не убыли в снег,
Готический оттиск Свенельдовых снекк,
Расправленный парус, латинский оскал
И скалы, которых так долго искал –
Разбиться до щепок и кануть на дно
Божественной данью без всякого «но».
Колблемый морем, уснет флогистон.
За миг до бессмертия чистым листом
Очнуться... Любимый, все наши умы,
Все страхи, все строки, все смыслы, всё смы...

Баллада об иноходцах

Орландо Фуриозо

О вас, кто ходит кривой дорогой,
Кто молча стонет: «Люби, не трогай»,
Кто равно дорог царю и гейше,
Кто видел тени былых светлейших,
Кто ищет в пыльном кладбище лавки
Смарагд с головки былой булавки,
Кому дороже любой невесты
Сухие ветхие палимпсесты –
Желаю счастья!
Вы так непрочны,
Вы так на звездах своих полночны,
Что никакому теплу и свету
Не перебраться за эту Лету.
«Люби, не трогай!» – а мы руками
Зерно до хлеба и глину в камень,
И держим угли в ладонях: «На же –
И будет счастье – пускай, не наше,
Очаг и крепи, столы и спальни»...
Чем ход нелепей, тем взгляд кристальной,
Тем выше небо над городами,
Тем больше странных бредет следами,
Дрожит в трамваях, ладонью робкой
Скребет по стеклам «Кривой дорогой» –
На транслатинском своем транслите –
«Нам будет больно.
А вы – любите!»

Баллада волн

Тонкая прелесть увядшей розы
В старой тетрадке, в большом пакете
На антресолях, куда подальше,
Чтоб не нашли ни коты, ни дети.

Ключик в шкатулке. Шкатулку эту
На барахолку снесла соседка,
А барахолку закрыли летом –
Даже бомжи там бывают редко.

Дама – хозяйка моей шкатулки –
В Хайфе. Рисует углём заливы.
Дома в шкатулку мою бросает
Косточки вишен, айвы и сливы.

Ключик висел у неё на шее,
Но оборвался, когда в Эйлате
Она решила пойти купаться
И поспешила, снимая платье.

Рыба, которой случилось мимо,
Съела добычу, вздохнула кротко
И поплескала к своим саргассам,
Мудрая рыба с седой бородкой.

Сэр капитан рыболовной шхуны
По уши в море, по шею в тине,
В синие волны закинув невод,
Ходит по рубке и пьёт мартини.

– Дело ль мужчине, – твердит лукавый, –
Словно взаимы проживать на свете
Вместо кровавой и бранной славы
Пялиться в воду, закинув сети?!

...Время на рынок – искать к обеду
Карпа, форель, золотую туну.
Чистить, кромсать, посыпать мукою,
Жарить и тихо мечтать про шхуну,

Море оттенка увядшей розы,
Золото, сабли, костры, Карибы...
И заглянуть – просто так, от скуки, –
Что там во рту у уснувшей рыбы?

Молитва Дженис

Эй, боже мой, купи мне хорошую машину!
Харе таранить город, пора хилить на трассу,
А мимо будут бары, отары и ограды,

Коровы и ковбои, аяя!
Обманутое море в наручниках бетона,
Закаты и заливы, зеленое на синем,
А волны носят смыслы, а рыбы валят в сети,
Эй, рыбаки, за дело, аяя!
Каймой орлиных перьев меня поманит небо,
Скреби его крылами до дырок, Леви Страус,
Асфальтовые лиги, облупленные мили,
И пули белой пыли, аяя!
Меня еще не стало, тебя уже не будет,
Однажды сев на рифы, играй себе до смерти,
Смотри на струны трассы и пой о боге, белый!
А неба не бывает, аяя!
Несут к ебени маме колеса мерседеса,
О чем ты плачешь, бэби, – бай-бай себе в канаве!
И ветром, ветром, ветром, разбей меня о стекла –
Пора прорваться к раю, аяя!
Пора порвать вам арфы, святые, марш отсюда –
Играть в подвалах блюзы, блудить и пить текилу.
Да, господа, спасибо – хорошая машина!
Встречай, пора, я рядом – айяааа!!!

Еще одна песня Жанны

Архангел, спрячь свои крылья, я не пойду на войну!
Дороги выбелит пылью, все камни канут ко дну,
Четыре всадника строим по нашей бедной земле.
Шумят английским героям заливы Па-де-Кале.
Набрякли золотом нивы, сегодня некому жать,
Сегодня только ленивый не побоится рожать.
Архангел, лилии пали, и орифламма в пыли,
Меня на битву позвали, а ты остаешься вели...
Ведь так хочется жить и купаться в росе под прищуром июньских рассветов,
И дитя у груди, слышишь, архистратиг, стоит больше всего королевства!
И война не мое ремесло...
Не мое ремесло.
Святым приходится биться, изнемогая от ран,
Я стану драться, как львица, пока стоит Орлеан,
Отставлю трусам доспехи, шагну в горящий пролом, –
Не сомневаясь в успехе: архангел машет крылом.
Христос заплатит Харону, и лодка сделает круг,
И Карл получит корону из нецелованных рук,
Архангел, спрячь свои крылья, о смерти ты ль говоришь?
Горит зеленой бутылью в оправе солнца – Париж!
Я хотела бы спать в жалкой хижине, там, где так густо разросся орешник,
Где скрипит козодой, и бубенчик на шее козы вторит звону с большой колокольни.
И война не мое ремесло...
Не мое ремесло.
Попы смеются: девица, где кружева и коса?
Запомни, дохлая львица дешевле вшивого пса!
Как свињи подле лоханки, попы у груди бумаг:
К тебе являлся архангел – он был одет или наг?

Жила пастушка у стада, а стала крыса в норе.
Ты не успеешь, не надо, не бей коня, Жиль де Ре!
Меня обложат дровами, потом оставят одну.
Архангел, слово за вами – пора закончить войну!
Все вернутся домой – победитель, солдат, фуражир, маркитантка, калека.
Будет ласковый дождь, будет злая жара, будут пашня и сбор винограда.
И война не мое ремесло.
Не мое ремесло...

ТОНКИЙ СЛОЙ

Сцены дружеских встреч и бесед

Роман

*О, вы все тогда вернитесь, сядьте рядом,
Дайте слово – никогда меня не бросить
И уже не обмануть.*

Евгений Рейн

*Некоторые явления идут в одну сторону не потому,
что не могут идти в другую, а потому, что их проте-
кание в обратном направлении маловероятно.*

Мартин Гарднер

ГЛАВА ПЕРВАЯ. СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ – 1

Хочешь побывать в родном городе – на Невском, на Литейном, на Владимирском, на Первой линии – куда душе угодно, у Академии художеств, например, или вот – перед Университетом? Система видеонаблюдения. Всё просматривается. Всё прозрачно. Кстати, мальчика, которого убили на площади Восстания, перед входом в «Буквоед», тоже зафиксировали, и всю эту сцену ужасную, и убийц его, конечно, тоже – их сразу же, между прочим, и нашли. Однако тут же и отпустили. Этого никто не понимает. Видишь – цветы. Появляются время от времени. Кто-то его помнит, этого мальчика. Вот так. Теперь родной город доступен для наблюдения. То есть ты сидишь, допустим, в Лондоне, Амстердаме или Париже, но виртуально пребываешь на площади Труда (как она нынче называется? а так и называется...) и можешь заглянуть в Новую Голландию...

Нет, не хочу. Наслышаны-с...

Ну хорошо, а вот смотри, пойдём, например, по Конногвардейскому бульвару (а знаем, знаем – бульвар Профсоюзов), свернем на Почтамтскую, по Большой Морской, мимо Дома архитектора, мимо Дома Набокова, мимо Дома композиторов. Внутри совсем не то, что раньше. Можно утешиться, что и не так, как совсем-совсем раньше, до нашего появления на свет. Внутри этих красивых особняков даже виртуально тебя не пустят, но и тогда, живьём, тоже ведь так просто не пускали. Нужно было показать пропуск, удостоверяющий членство, или пригласительный билет, даже вальяжному лауреату мог подозрительный, звероватый вахтер задать грозный вопрос: «Член Дома?» – ну, известно, что этот остроумец отвечал, мог себе позволить. А вот рядом там есть один дом, почти напротив Дома архитекторов, – там была коммунальная квартира во времена нашего бедного существования, и мы там были счастливы, несмотря на бедность и обделенность красивыми

нарядами. Дух веет где хочет, интеллект всюду находит пищу, а счастье складывается из сущих и бесплатных пустяков – вроде осеннего воздуха, шороха листьев, нестерпимого блеска воды, дуновений, мерцаний, прикосновений, предрассветного звона первого трамвая, совсем далёкого, едва слышного, сквозь сон, когда можно обняться и снова сладостно заснуть, – наставив, однако, ухо в сторону маленького будильника в ожидании его настойчивого писка.

Нет, неправильно, не выдумывай: будильники тогда не пищали. Будильник был большой, круглый, с блестящей металлической шапочкой и механическим заводом, дребезжал заполошно, яростно дрожал и почти подпрыгивал, опасно продвигаясь к самому краю стола, его нужно было быстро прихлопнуть и встать, немедленно встать – нечеловеческое усилие, нечеловеческое. А иначе... трагический провал в сладкую бездну сна. И последствия! О, последствия!.. лучше не вспоминать: безумное, судорожное пробуждение, метания по комнате, рваные колготки, беспомощные вопли, таинственное исчезновение второго носка, злобные крики, оборванная лямка, поиски английской булавки, истерика, обвинения друг друга, выбегание к автобусу без завтрака и покрашенных ресниц. О! Счастье!

На Невском – переплетение проводов, растяжки (можно кликнуть, увеличить и прочесть: *два раза в день в вену* – реклама австрийских авиалиний; или – *с днём работников органов государственной безопасности российской федерации* – не надо улыбаться, не до улыбок, – прости, это у меня рефлекторное), новые вывески, всё больше латиницей, новые рестораны, кафе, хорошо видны фигуры людей, даже лица.

Знакомый человек остановился перед театром, рассматривает афишу – как постарел, бедный, шаркает, спину не держит, но еще можно узнать (а позвонить? вот отсюда и позвонить, из Мюнхена, спросить, а что ты там делал на Невском, в рабочее время? ты что – уже не работаешь, что ли? описать его куртку, меховую шапочку с козырьком, рука отведена за спину, в кулаке газетка трубочкой или тоненький журнальчик с программкой на неделю, вытянул шею, разглядывает фотографии за стеклом). Незнакомые и деловые спешат, выскочили из мерседесов, ни тени улыбки, сосредоточенные, прижимают к груди папочки, размахивают ноутбуками, как в гоголевские времена, – ну Невский же.

Две толстые тётки застыли на углу улицы Рубинштейна, у одной сумка на колёсиках, у другой внук нетерпеливо выкручивает руку, вертится, стоят на ветру, разговаривают, всем мешают – другого места не нашли. Красивый швейцар, надменный, застыл перед входом в Палас-отель. Молодые зеваки бредут медленно, никуда не торопятся, глазек по сторонам – это приезжие; парочки держатся за руки.

Кстати, ты не замечал? – в России только молодые, совсем юные, ходят обнявшись и сцепив руки, никогда не видела, чтобы взрослые, солидные люди, не говоря уж о стариках, разгуливали по улицам Питера, держась за руки, а здесь, в Мюнхене, – пожалуйста, сколько угодно: седенькие бодрые старички, трогательно приобняв своих веселых старушек, гуляют по Английскому парку; почему это?

Ну что это за банальные вопросы? какие старики? какие старушки в России? Ты же сама мне писала, что Россия страна молодости и здоровья. Старикам здесь не место.

Да-да, совсем не место. Вот так, обнявшись, ходят заграничные старички повсюду в Европе, и чем они страшнее, уродливее, тем самоувереннее держатся: вот, мол, ничего, что мы некрасивые, зато нам вместе хорошо, это мы только внешне такие непривлекательные – внутри мы само совершенство, мы не богаты, но состоятельны, путешествуем, а вы, одинокие и стройные чужестранцы, никому не нужные, завидуйте.

Смотри, какое великолепное разрешение. На мерседесах можно прочитать номера. Троллейбусы, скособочив дуги, обреченно стоят в пробке, которая тянется от Дворцовой до Московского вокзала. Съезжая с Дворцового моста, некоторые предусмотрительные и юркие машинки сразу сворачивают направо, облегченно вздыхают, несутся по набережной, пытаются объехать пробку, надеются. Однако напрасно: там тоже пробка скоро начнётся – мы-то видим отсюда (зачем нам это знать – вот что непонятно, очень много лишнего знания насыпано в наши головы, оттого не только многие печали, но, главным образом, непроходимые дебри бессмыслицы, то, о чем ты говоришь, дорогая моя, – это не знание, это называется информация, её действительно многовато, – да ладно тебе, крути дальше...).

А это кто? Перебегает с набережной к Менделеевской линии прямо перед носом автобуса, пальто распахнуто, шарф на ветру, несётся мимо почты, в руках старый неуклюжий портфель, – помню этот портфель, треугольный, гармошкой, очень вместительный; несётся, говоришь, мимо почты, какая почта? никакой почты там давно нет, там ресторан «Град Петров», телятина на углях; о Боже! да ведь и его нет, нет его на свете, но это он, он, его походка, его пальто и облезлый клетчатый шарф, мохеровый, слово вот вспомнилось, а шарфы эти давно истлели, съедены молью и временем. Что это за картинки показывают?.. какой это год, в конце-то концов? Подсунули? Не нравится – не смотри. Выключи, и всё. Нет, но все-таки интересно. Одним глазком. Этот портфель, кстати, тот самый. Они стояли с Тимофеевым в каком-то гастрономе. Уже побывали в рюмочной или в Бермудском треугольнике. Помнишь Бермудский треугольник – в начале Большого, между Пельменной, винным магазином и Шарами (кафе такое, несколько ступенек в подвальный грязный и шумный уют, мы так его называли – «Шары»: там перед входом были фонари, два огромных матовых шара, – а вообще оно было без названия). Как раз треугольник получался. Вечером, являясь домой в еще эйфорическом подпитии, не перешедшем в агрессивную стадию, простодушно разводил руками: «Ну вот, ну прости, попал в Бермудский треугольник». Может быть, они как раз в этом гастрономе и стояли, да, это точно был гастроном, просто с популярным винным отделом, где распитие было запрещено, но всячески поощрялось. Вот они и распивали. Чистый стакан добрые продавщицы давали даром. Еще одна бутылка у них была с собой: купили заранее, засунули в портфель. Портфель он поставил на усыпанный опилками мокрый пол, на скользкие керамические плитки, прижал ногами, так я себе представляю – он потом так и рассказывал. Разговаривали, увлеклись, всё забыли, как всегда, а портфель-то и увели, вытянули тихонечко по склизким плиточкам между ног – они и не заметили. Ничего там не было ценного, ну, бутылка, да; свитер старый, кожаные перчатки, мой подарок, между прочим, но... был там секретный отчет, который вообще нельзя было с кафедры выносить. Наказание за это дело предстояло ужасное. Вплоть до увольнения. Пришел домой вместе с Тимофеевым – личики враз протрезвевшие, зеленоватые, сосредоточенные; взял еще какие-то деньги, «куда? с ума сошел?», «не волнуйся, верну, это на всякий случай», исчезли. И, представляешь, нашли портфель. Алкоголики местные и нашли – вошли в положение: вычислили, бегали, перешептывались, провели алкогольное расследование – и нашли. Портфель вернули вместе с отчетом. За щедрое вознаграждение в виде бутылки. Свитер и перчатки не вернули. Но у нас была радость – не передать. А у них целых две бутылки. Тоже радость немалая...

Да нет. Это не он...

Двойник его что ли?

Никакой не двойник, просто похож...

...Со мной точно такая же история. Я их постоянно встречаю... преимущественно тех, кто умер. С умершими у меня вообще – знаешь, как получается. Абсолютно отчетливое ощущение: пока я здесь, они там, в России, – живы, и я думаю о них как о живых. И даже когда возвращаюсь, некоторое время это длится, мне представляется: сейчас поеду к ним, обниму. С усилием нужно стряхнуть с себя это ожидание. Помню, прилетела в необычное время – ну, для меня необычное, летом, в июне, у людей уже летнее настроение, разбегаются кто по дачам, кто в Анталию. Я стараюсь осенью, чтобы всех повидать. Но пришлось почему-то в июне. И сразу решила поехать на кладбище. И на могиле у мамы и бабушки увидела огромный куст цветущего жасмина, такой аромат волшебный. Кто посадил? Когда? Может быть, студенты посадили, одна бывшая студентка – теперь-то она одинокая старушенция – особенно всегда старалась, ухаживала за могилкой. Но я не помню, чтобы этот куст... Ну я же говорю, в сентябре прилетела обычно, по листьям не умею узнавать – возможно, он и раньше был, я не обратила внимания, а тут начало лета, прекрасный праздничный куст, цветущий, белый. Такую почувствовала радость... и желание немедленно позвонить маме, обрадовать. Рука буквально тянется к телефону... читаю на камне её имя. Представляешь? Рехнуться можно. Всё происходит одновременно.

Да... Так вот, двойники. Один просто потряс. Я вышла из Толстовской библиотеки, остановилась и вижу: идёт Лёничка Беляков, держит под руку не знакомую мне женщину. Похож просто как две капли. Только немного моложе. Я так себе и говорю: просто очень похож. Успокаиваю себя, привожу к общему знаменателю реальности. А с другой стороны, с ужасом понимаю, что такого сходства не может быть. Прошли мимо меня, и он на меня посмотрел. То ли изумленно, то ли предупреждающе... Я пошла за ними, на некотором расстоянии, у перекрёстка они повернули. И я повернула, хотя мне надо было совершенно в другую сторону, дальше, к метро. Иду за ними и вижу, что походка у него такая знакомая, и жесты его, только его, и голову так дурашливо склонил к плечу – что-то даме своей шепчет. Почему я не подошла ближе и не убедилась, что он говорит по-немецки? Сейчас я удивляюсь и не могу на этот вопрос ответить. Как будто я боялась...

В религии вуду такие штуки известны. А чего ты боялась? Чего?

Ну, чтобы он не понял, что я догадалась. Как будто боялась спугнуть. Ну живёт человек в параллельном мире, и не трогайте его. И выглядел очень хорошо. Ну не больше пятидесяти... даже меньше...

Ну да. Практически сорок девять. А ведь ему именно сорок девять исполнялось, когда ты пришла к нему на день рождения, был сентябрь, довольно холодный, оказалось так кстати, был повод всем новые красивые сапоги показать и плащ... да, замечательный, светлый, стального цвета. Еще все были живы. Между прочим, в параллельном мире он мог бы и по-немецки свободно болтать. Там же все возможно. Душа вот на каком языке говорит? Просто ты боялась, что твое наваждение исчезнет. А – не хочется. Не хочется с ними расставаться. Плоские объяснения раздражают. Видения наши обладают гипнотической силой. От них трудно оторваться, как иногда трудно отключить телевизор, даже если показывают ерунду. И мне тоже часто встречаются люди, очень похожие на тех, кого мы помним, кто был когда-то рядом, с кем учились или работали, с кем дружили, но почему-то разошлись – нет, не поссорились, а просто отнесло отливом. Я даже и не знаю, живы они или нет. Так давно о них ничего не слышно. Как правило они значительно моложе себя теперешних. Вот недавно мимо меня пробежал Шурик Абрамов, вскочил в автобус и поехал себе...

Но ведь Шурик умер... А ты говоришь – теперешних.

Да... верно, действительно, ты права. Всё больше встречаются те, кого уже нет на этом свете. Сколько раз я вздрагивал, когда видел старую женщину в бедном темном пальто, воротник – вытертая полоска жалкой норки, на голове нелепый берет, самовязанный, и цвет совпадал, такой сероватенький, утраченной пушистости. Всё. Застывал как безумный. Вблизи видение, разумеется, исчезало, но думал и вспоминал маму весь день. А недавно... кого мы с тобой встретили... Помнишь? Эльгу, помнишь, мы с тобой вместе встретили в Нимфенбурге, в кафе, совсем недавно, ты же меня и остановила, схватила за рукав: «Посмотри, как похожа на Эльгу». Сидела, свесив свои волосики над стаканом, иногда отводила их рукой – вот действительно, жесты выдают, это ты правильно заметила...

Да, да! Почему-то самое мимолётное, пустяковое, необъяснимое: жесты, интонация, взгляды, походка, неуловимые какие-то ужимки – и определяют... нашу память, а также всякие наши влечения и симпатии.

...Как я по ней скучаю – все-таки очень она хорошая была, ни о ком слова дурного никогда не сказала, если уж кого-то любила, то беззаветно, фанатка дружбы, беззаветная – так мы её и называли, посмеиваясь. Очень скучаю, как вспомню – слёзы на глазах, а смерть какая нелепая, ведь могли спасти, она, в общем, здоровенькая была, ничем никогда не болела. От деликатности своей и померла, стеснялась позвать на помощь. Но все-таки мне и живые попадались, я как-то видел в Амстердаме, на скамеечке в Сарпатипарке, молодого человека – сидел один, глазки так характерно щурил, как будто что-то замышлял, из бутылочки прихлёбывал – мы с ним вместе на сборах были, он всегда что-то придумывал – смешил народ, потом какое-то время встречались в разных компаниях, недолго; он у меня в одном доме – что-то мы там праздновали – девушку отбил, с налёту, нагло, сам, по-видимому, не заметил, ворвался уже в легком подпитии, веселый, без тормозов, схватил её за руку, просто оторвал от меня, заставил танцевать, падал перед ней на колени, руки целовал, она хохотала, и все вокруг смеялись – так с ним и ушла, с обаятельным, а я потом шел один по темной улице к себе домой, глотая злые слезы...

Слёзы? Так я тебе и поверила. У тебя не бывает слёз. Злые да, но... не слёзы, нет.

Ну хорошо.

Пусть это фигура речи. А вообще – много ты про меня понимаешь. Так вот... он точно жив, процветает, довольно известный теперь человек и, должно быть, богатый, толстый такой стал, широкий, циничный, как все они. В телевизоре мелькает, постарел – но узнаваем. Однако в Амстердаме-то я его увидел вполне еще молодым. Так не раз случалось, и других показывали. Зачем?

Ну, те молодые, кого мы помним, – они ведь тоже в определенном смысле... ну ... исчезли... переселились куда-то и там живут вечно, и мы их иногда встречаем.

И самих себя можем встретить?

Наверное... Но себя мы можем и не узнать, только сердце сожмётся, замечутся волны памяти, пробегут спазмы по сосудам, улыбнётся нам двойник и пойдёт дальше.

Говорят, от себя не убежишь. Еще как убежишь. Даже сам того не желая. Вот как раз когда желаешь – не убежишь. А так все время покидаешь себя, течение

уносит. Открываю книгу и вижу пометки на полях, и не могу вспомнить, что означают эти значки, что это за подчеркивания, что за знаки вопроса я когда-то расставил, и птички там и сям – все забыл, а хотел ведь сюда вернуться, подумать, а над чем думать? Не помню совсем своих тогдашних мыслей. Даже явилось подозрение: может быть, кто-то брал у меня эту книгу и погулял вольготно на её страницах с карандашиком. Но нет, нет. Точно помню: никому не давал, никому она и не нужна, это я там был, это я такие птички ставлю, это мой почерк, там буквы встречались типа «ха-ха», причем с восклицательным знаком.

То есть, мы меняем души, не тела? Ты это хочешь сказать?

Ну... ну уж нет... Тела еще хуже... ну... это... трансформируются.

Как всё изменилось, уму непостижимо: компьютеры, Интернет, ничего этого тогда не было. А помнишь, в лаборатории появились первые компьютеры, страшные, отечественные, выкрашены серой гнусной краской, но всё-таки – компьютеры. После работы мальчики не уходили – какие мальчики? Ну не придирайся, для нас ведь они навсегда мальчики – толпились вокруг, отталкивали друг друга, играли в какие-то стрелялки, взрослые люди, чтобы не сказать больше, но вели себя совершенно как дети, не выгнать было – уборщица попробовала, пришла со шваброй и ведром, начала шваброй махать, хрипло прокричала что-то, никто не услышал, постояла, ругнулась, плюнула и ушла; потом заглянули водопроводчики, вежливо спросили – их тоже не услышали, отмахнулись; водопроводчики видят такое дело – взяли новую меховую шапку Шурика Акулова и смылись.

А вот смотри, это что за перекресток? Знакомый, ужасно знакомый – да это же Восьмая и Средний. На углу была самая отвратительная столовая, называлась в народе «Лондон», ударение делали на последнем почему-то слог. Да, на втором этаже столовая, а на первом «Кулинария», запахи там тоже были... не уточняй, у меня вот... даже сейчас, век спустя, начинает болеть голова и... подташнивает, но иногда, как ни странно, там можно было купить вполне хорошие эскалопы какие-нибудь, а так – лежали котлетки из булки за семь копеек. Это в Ленинграде говорили «булка», а москвичи сказали бы – из «белого хлеба». В булочную бабушка посылала купить хлеба-булки, хлеб – это всегда означало «круглый», а булка – батон, сероватенький, за тринадцать копеек, иногда за шестнадцать – он был чуть белее. Подумать только, ведь я не узнала. А линий трамвайных нет, вот и не узнать. Когда же линии сняли? Совсем по-другому выглядит. Поверни чуть-чуть. Хочу посмотреть на этот угол, здесь вход был в гастроном, две ступеньки вниз, бегали сюда за сливочными тянучками, каждая на папиросной бумажной подложке, кофейные, самые тёмные, мне не особенно нравились – они горьковатые были, но стеснялась попросить продавщицу, чтобы без кофейных, она и так была к нам снисходительна: покупали ведь только по сто грамм, затрудняли солидную тётеньку. Она загребала тянучки в горсть не глядя, кидала на весы, добавляла по одной или убирала, добросовестно иногда ломала толстую палочку. Мы приподнимались на цыпочки, протягивали руки, и откуда-то сверху, скользя по цилиндрическому боку стеклянной витрины к нам спускался крошечный кулёк из серой толстой бумаги. О незабываемый перекресток! На углу когда-то был комиссионный магазин, работала там знакомая девушка, славная, кое-что оставляла – без знакомств невозможно было одеться. Детям незнакомы слова: *из-под прилавка*. Исчезло это выражение из русского языка; да-да, а теперь это как раз компьютерный магазин, называется «Кей», долго реклама висела: «Если мама сдохла, приходи в кей» – люди вздрагивали, святое слово «мама» теперь не висит, президент сказал, что кощунствовать уже не модно.

Ну Интернет, это ладно, это все уже привыкли, а вот что я видел давеча в одном месте, да, пригласили как эксперта. Представь: инвалидное кресло, в нем как бы парализованный сидит, то есть рукой-ногой шевелить не может, но голова у него, допустим, в порядке, и он силой мысли управляет, посылает мысленные импульсы, в уме выдаёт команду, хочет – кресло едет направо, хочет – налево, назад, снова вперед, разворачивается; на башке у него, конечно, такая наشلёпка, вроде шлема, от него как бы проводочки идут к моторчикам.

Зачем проводочки, ты что? зачем? какой ты, однако, традиционалист.

Да-да, ты права – никаких проводочков и не было, это я для наглядности, специально для тебя. Никаких проводочков, ну, такие виртуальные пути, испытываемый в своей голове импульс выдал, что-то там замкнулось, дигитально преобразовалось – и кресло поехало. Но это ведь только начало. И знаешь, если бы я помоложе был, я бы испугался. А так... даже забавно, поскольку мы не доживём. Но все-таки страшновато, учитывая какими темпами всё развивается. Просто у нас на глазах. Помнишь эти огромные ЭВМ? Дети, не выпускающие мышку из рук, наверное уже и не знают, как эта аббревиатура расшифровывается. А ты помнишь?

Ну... мой склероз еще не достиг таких оглушительных размеров... чтобы не помнить, у меня до сих пор дома валяются эти карточки, пустые перфокарты, очень удобные, бабушка на них рецепты записывала, я и сейчас ими пользуюсь. Ну ладно, не отвлекайся. На что ты, собственно, намекаешь?

А ты не понимаешь, что ли? Уверен, что ты прекрасно понимаешь, что это значит. По этим виртуальным путям можно более сложные импульсы распознавать.

Ага – они наши мысли будут читать?

Ну да, вот именно, наши мысли, причём с нашей же помощью. Мы им охотно помогаем.

Так вот, значит, чем ты занимаешься.

Да нет, я имею в виду условное «мы», просто такие, как мы. Я ведь себе приблизительно представляю, как это можно сделать...

...Не задумываясь, как водится, о последствиях.

Ну, во-первых, мне еще никто не предлагал, а во-вторых, думай-не думай, а если что-то уже можно сделать, то это будет сделано обязательно. В воздухе носится. Задача-то интересная. Ну что тебе еще показать...

ГЛАВА ВТОРАЯ. ТИНА. ЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА

Женщина выходит из дому без всякой цели, идет вдоль улицы, пересекает площадь, глаза у неё невидящие. Она похожа на сомнамбулу. Ей кажется, что потемнел сам воздух и наступила мертвая тишина. В этих сумерках неслышно перемещаются люди, автобусы и трамваи. В небе, однако, светит бледное солнце.

«Как будто началась война», – думает женщина. У неё еще хватает сил внутренне усмехнуться. Сомнамбулы иногда смотрят на себя со стороны. И то, что светит солнце, она хорошо понимает. В глазах потемнело – вот что это такое. Эта темнота не зависит от времени суток, состояния облачности и времени года.

Да, нехорошо читать чужие письма, а хоть бы и электронные. Может быть, он нарочно оставил. Не выбросил из корзинки удаленное письмецо.

Сказано же: пи-си, персональный компьютер, персональное убежище - так нет же: снова вокруг него устраивается коммунальная толкотня и препирательства. Второй компьютер, старенький, выделенный Павлом для общего пользования, унес Андрей в своё логово, никого не спросил, приехал с дружкой днем, когда в квартире была одна старуха, всё увезли, все прибамбасы: и колонки, и сканер, и даже удобную лампочку на гибкой пружинке, которую подарил Ирочке её мальчик. Сколько слёз было и криков. Лампочку потом Андрей принёс, так же незаметно,

когда никого дома не было, оставил в кухне на столе и ключи бросил на стол. Ушел, захлопнул дверь.

Старуха-свекровь тоже теперь приползает к Павлу в кабинет, пока он на работе, включает компьютер – научили на свою голову, норовит залезть в любимый медицинский сайт – медицина её, естественно, интересует больше всего, – потом по телефону рассказывает восхищенным подругам новости продления жизни, хвастается сохранностью интеллекта. Молодые восьмидесятилетние подруги (для неё сущие девчонки, других-то не осталось) только ахают.

Внучка завела свой пароль, секретничает, да ничего там интересного в её живом журнале и нет, как раз к ней никто и не заглядывает.

Кто-нибудь, наблюдающий сверху, мог бы, однако, предупредить: не заходите в чужие дневники и письма (этика ни при чём), особенно очень близких людей – там ждут вас неприятные открытия.

Что это за мягкое слово такое – неприятные. Но не смертельные же.

Неужели подстроил – ведь так легче, чем слова говорить, «выяснять отношения», наблюдать твою реакцию, объясняться с матерью, её-то куда девать.

У супермаркета женщину увидела старая знакомая, расплылась улыбкой навстречу, но слепые сомнамбулические глаза не пустили её внутрь, и знакомая остановилась и несколько мгновений смотрела ей вслед.

Женщина идет по лужам, просто их не замечает, собственно, их обойти невозможно – весь город в этот день неожиданно превратился в огромную лужу, хотя по календарю – зима.

Она поднимает воротник – шарф остался дома, горло холодит промозглый воздух, ох, обещали вторую волну гриппа. Какие только мысли не мелькают в пустой голове. Старухе, видите ли, особые бублики нужны. Вылезла на своих ходунках в коридор. Ни минуты покоя. «Позвоните Насте, у неё там рядом булочная. – Нет, я именно тебя прошу, я хочу нормальные, настоящие, человеческие бублики, а Настя, я её знаю, нарочно купит эти квёлые, пупырчатые. Только чтобы отделаться».

В левом сапоге уже точно хлюпает. Старые сапоги давно промокли, по ним извиваются соляные разводы. Настя права. Давно пора их выбросить. «Дай сюда, я их выброшу на помойку». – «Отстань. Я люблю старые вещи». – «Скажи еще: старые, добротные вещи. Ночью специально встану и затолкаю в мусоропровод». – «Попробуй только».

Сильный ветер нападает на людей, проносит мимо и несет дальше мерзкий бумажный сор, прохожие поворачиваются к ветру спиной и так продвигаются к супермаркету, нахохлившись и подняв плечи. Молодая мама тянет за руку маленькую девочку, ветер относит девочку, как воздушный шарик, девочка мелко-мелко перебирает ножками, плачет.

Женщина останавливается у набережной, подставляет лицо бледному холодному солнцу, закрывает глаза и, сцепив руки у горла, заставляет себя думать.

Что же делать? что же делать? – по-видимому, твердит себе женщина, смиряет первый нерасчетливый, эгоистический и отчаянный порыв, понимает: он будет неправильным, его надо преодолеть. Ничего она не твердит. Она просто застывает. О, если бы так застыть навеки, превратиться в тот самый столб – не умереть, а просто перестать быть и за всё отвечать: за одиночество дочери, за хамство внучки, за маразм свекрови, за инфаркт мужа, за собственную астму. Соляными столбами размечена дорога из прошлого в невыносимые безвоздушные сумерки. Она чувствует первый признак удушья, с ужасом ищет в карманах ингалятор, от

страха, что оставила его дома, начинает задыхаться по-настоящему, наконец нашупывает во внутреннем карманчике гладкий баллончик, сжимает его в руке, успокаивается, делает несколько спокойных вдохов и возвращается в свою темноту.

Прибрежный подтаявший лед усеян палками, бутылками, смятыми пивными банками, замерзшими собачьими загогулинами. По серому мокрому льду с ликующими воплями гоняются друг за другом мальчишки. Согнувшись, опираясь на лыжные палки, медленно бродят взад-вперед унылые фигуры, внимательно смотрят себе под ноги, останавливаются, выковыривают палками из грязного снега бутылки, засовывают в старинные рюкзаки, переругиваются с конкурентами. Негромкий зловещий хруст. С диким криком мальчишка проваливается в воду, кто-то свистит, бабки воют. Женщина открывает глаза и равнодушно наблюдает копошение черных тел внизу.

Приняв решение, она вздыхает с облегчением. То есть она решает ничего не решать окончательно и поворачивает обратно к супермаркету – там у входа в хлебном ларьке продаются настоящие булочки.

Женщину зовут Тина – или Валентина, кому как нравится. Имя Валечка она ненавидит.

Тину не оставляет подозрение, что Павел сам подсказал ей пароль. «Ну и пусть», – говорит себе Тина, уставясь в монитор. Давно уже ожидание ночного тайного чтения, когда всё затихнет и дети уgomонятся, наполняет её день мучительным и горьким смыслом. Почти случайно заглядывает она в последнюю жж-запись Иринки (шел в одну комнату, попал в другую – так бывает).

«Дорогие френды, в прошлый раз Ден громогласно заявил, что у меня отклонения. И я начала думать, что, может быть, он прав, а у Ксюшиной матери есть знакомая психиатричка, ну, т. е. психиаторша, врач она, и она была у них как раз в гостях; Ксюша отозвала её, а потом машет мне: поговори с ней, она такая отличная тетка, ей все можно рассказать. И я с ней поговорила совершенно нормально и рассказала, что когда привезли нас на Пискаревское, я начала плакать безумно, просто рыдать, не могла остановиться, хотя понимала, что это было давно, ну, после той революции, но все-таки очень давно и почти неправда, это я понимала, но ничего не могла с собой поделать. И психиаторша эта сказала, что сама плачет, когда видит блокадные фотографии, и это абсолютно нормально, потому что мы родились в Ленинграде. А вот её мать не плакала, когда идущую перед ней тетку убило осколком во время налета, – побежала дальше, она (не психиаторша, а её мать) в госпиталь опаздывала, на дежурство. Тётка упала, и сумку её кто-то подхватил, вырвал и тоже дальше побежал. А мальчик, ребенок этой тетки, прижался к стене и остался под обстрелом, смотрел жуткими глазами, а её раненые ждали, она не могла этому мальчику помочь. А в сумке, возможно, карточки были или хлеб. И никто не плакал. Вот это ненормально. А у меня тонкая организация».

Тина на мгновение умиляется («какая скрытная, трогательная девочка»), но цель её другая, и мышка рыщет и скользит дальше.

«...а когда она сердится или перед тем, как заплакать, нос морщит – ну совершенно как ты, даже удивительно, не только я заметила, Стасик прошлый раз глянул, когда она выплевывала морковное пюре, засмеялся и говорит: ну чисто Павел Алексанч: ежели что не нравится... Эти памперсы, с голубенькой картинкой, больше не покупай. Они пока нам велики. Но ничего, не пропадут.

...Начало я переделала, ты был прав, как всегда. Каждый раз поражаюсь, как мгновенно ты всё схватываешь, то, над чем я билась неделями, ты гений, гений...

Я спорила из чистой дурости. Посмотри, я там поменяла куски. Так, мне кажется, лучше... библиографию проверить не успела, не сердись – уже поздно, ничего не соображаю, до завтра, дорогой...

Да, прости, пожалуйста, что напоминаю: если бы ты устроил Стасика на среду, а?»

«Господь, в существовании которого я сомневаюсь, велел нам сохранять мужество, избегать уныния и исполнять свой долг. А что касается моих сомнений – значит, так он устроил мои мозги, значит, зачем-то мои сомнения нужны. К тебе они не имеют никакого отношения. Это мои проблемы. Мне очень жаль, что этот разговор вылился в дурацкий спор, – о чем здесь можно спорить: непроверяемо, потому что недоказуемо, и сойдемся на этом. Я не хотел тебя обидеть. Вот сейчас пришел домой, поразмыслил, вспомнил твоё обиженное личико и понимаю, что все-таки погорячился. Если ты хочешь крестить Таточку, считаешь, что это поможет, успокоит тебя, я совсем не возражаю. Ты просто не так меня поняла. До завтра, мартышка. Спокойной ночи».

Кто-то скребется в дверь.

– Валечка, прости, пожалуйста, я вижу, ты не спишь. Где у нас йод?

Переваливаясь на ходунках, старуха протягивает ей окровавленный палец.

– О Господи...

Тина закрывает все окошки, замечает следы, гасит монитор, но компьютер не выключает – надеется вернуться, идет на кухню – йода нет нигде.

– Представляешь, он прокусил мне палец, он мне мстит за вчерашнее.

Тина даже не вдумывается, что там у них с котом вчера произошло. Вопросов лучше не задавать – можно нарваться на длинный страстный рассказ.

– Ну не знаю я, где йод. Высох весь.

– Как же так, как же так, Валечка. В доме дети, и нет йода.

Находится зеленка, потом пластырь. Старуха явно хочет поговорить, что-то лепечет, заглядывает в лицо, трясет маленькой седой головой – прокушенный палец и кровь лишь повод. Тина кипит, но сдерживает себя: ну не сама же она себе, в конце-концов, палец прокусила. Надо терпеть.

– Валечка, я должна тебе сказать...

– Два часа ночи, у меня нет сил... идите спать.

– Да не могу я спать. Ты же знаешь: два часа ночи – это моё время. Сидеть у компьютера у тебя, между прочим, силы есть.

– Были, а теперь вот нет, именно сейчас я собираюсь спать.

– Но пока ведь ты не спишь. Я должна тебе сказать, он меня просто преследует и даже издевается. Это началось с Сонечкиного дня рождения, когда я на него замахнулась, но он сам виноват – лег мне на больную ногу. Когда вы уходите, он вообще ведет себя безобразно, разляжется на проходе нарочно – я на ходунках не могу в туалет пройти. Хоть плачь. Видит, что вас нет, и я абсолютно беспомощна.

– Вы хотите, чтобы я с ним поговорила?

– Возможно, это смешно, но он всё понимает...

– Хорошо, я поговорю.

Тина возвращается к компьютеру. Неожиданного прихода Павла можно не опасаться: он позвонил в семь, сказал, что с трех часов заседают в Сосновом Бору, и конца не видно, в город не вернется, потому что завтра с утра опять... предупредил, что телефон отключает – заседание. Всю ночь они, что ли, будут заседать. Почему потом нельзя включить. Ну конечно, скажет, что совсем замотался, просто забыл.

Короткие письма сопровождаются научными аттачментами. Несколько вариантов. Вот какая работающая девушка, оказывается. С другой стороны, грант надо обрабатывать. Маленький ребенок, там, или большой – никого не колышет.

Тина помнит её совсем молоденькой: приехала из Свердловска, непонятно, как – может быть, через фиктивный брак, зацепилась в Ленинграде, попала в институт через каких-то друзей, по мелкому благу, а дальше все сама, сама – вот это надо признать. Делала то, что никто не делал, что делать было не принято, вдруг явилась к ученому секретарю: «Я хочу поступить в аспирантуру, в заочную». «Прекрасно, – ответил ученый секретарь спокойно, решил, что девушка не в себе, – хотя и хорошенькая, но странная. – И к кому, позвольте полюбопытствовать? Кто же будет вашим научным руководителем?» – «Пожалуйста, не считайте меня ненормальной, – ответила девушка, – может быть, вы что-нибудь посоветуете. Я могу очень хорошо работать». – «Но так не делается», – слабо и даже беспомощно возразил ученый секретарь. Следуя формальной логике, девушка была права, он сам недавно составлял объявления о приёме в аспирантуру, рассылал их в другие институты и в разные информационные листки Академии наук, и там, в этих листках рекомендовалось обращаться именно к нему и стояли его телефоны. И не имело смысла объяснять странной посетительнице что, как правило к ученому секретарю обращаются сами научные руководители и просят оформить на своего предполагаемого аспиранта все необходимые бумажки, посадить его в привычную машину, которая целых три года будет исправно везти к хорошему результату, к ощутимому увеличению зарплаты, да, не имело смысла: судя по всему, она и сама это понимала – просто не нашла еще такого научного руководителя, а хотелось поскорее, спешила. Ученый секретарь, однако, был человеком добрым, в то время встречались такие, и уже прикидывал в уме, куда её все-таки девать. «Оставьте мне свой телефон». И девушка тотчас же вытащила из кармана заготовленную карточку с телефоном – была она к тому же еще и очень предусмотрительная, визитными карточками запаслась, самодельными. «А если вы забудете? Вы позволите, я вас снова побеспокою?» – «Я не забуду». Девушка повернулась и пошла к двери. Ученый секретарь посмотрел ей вслед: «Ишь ты, и ножки у неё, однако...»

Не забыл ученый секретарь, начал звонить разным докторам, Павлу позвонил одному из первых, тем более Павел был его друг: «Такая забавная мартышка, провинциалочка, даже интересно: а вдруг чего-нибудь получится, я тебе её пришлю, ты посмотри, брось её на вычисление сечений или еще куда...». У Павла была одна темка, за которую не взялся бы ни один столичный физический мальчик, очень уж скучная, зоологическая, как презрительно эти самодовольные мальчики сказали бы. Но кому-то надо было её делать. Вот так Ольга и появилась у Павла в лаборатории. Пришла тихая, но не робкая – робости в ней никогда не было, тихое стремление идти на всё – это было точно, но в границах приличий она старалась все-таки оставаться, каждый раз одной ножкой эту границу переступая, – словно шупала ледяную воду и тут же отскакивала назад.

Павел протянул ей толстый том: «Это наш отчёт, почитайте, подумайте, через неделю поговорим, ссылки внимательно посмотрите, всё то же самое нужно сделать для других активаторов, работа довольно простая, но трудоемкая, зато – верняк». Девушка удалилась, через неделю вернула отчет: «Я согласна».

«Кто бы сомневался», – сказали ехидные сотрудницы, им никто верной темы не предлагал, к тому же они были химики, варили стекла, да и по возрасту поздно им уже было, и вообще... А на их стеклах все диссертации делали. Ну не обидно ли?

Так что встретили её в лаборатории не очень дружелюбно, к общим чаепитиям никогда не приглашали, домашними пирожками не угощали, на посторонние темы не заговаривали, да она и сама к ним обращалась только по делу, тихим голосом, вежливо, а делом она занималась с раннего утра до позднего вечера, почти не

выходила из-за своих черных занавесок, где в темноте с сухим шелестом падали из самописца бесконечные ленты спектров – компьютеров тогда ведь не было. И спектры обрабатывала вручную: сидела, ссутулившись, за своим столом в уголке, считала на логарифмической линейке – каменный век, даже трудно представить. У химиков-технологов, кстати, были калькуляторы, старинные такие, черные, облезлые, ручку надо было крутить с ощутимым усилием – тоже теперь, должно быть, в музее пылятся, если есть такие музеи, конечно.

Никто не спешил ей на помощь – разве что какой-нибудь дипломник поможет слить гелий, а так сама таскала тяжелые дьюары. Никто не помогал. Вроде бы даже кто-то постоянно мешал. Злой дух вредил. Ну, может быть, обыкновенное невезенье, однако какие-то образцы её странным образом исчезали прямо из стола, заказы у оптиков лежали себе и лежали, пока она не сообразила выбить, непонятно какими неправдами, дополнительный индивидуальный спирт и хранила его в сейфе в кабинете у Павла. Ему она, кстати, в рот смотрела с первого дня, причём вполне искренне, даже как-то простодушно, как подсолнух, поворачивала глаза свои за ним, все это видели, смеялись. Чувства свои не умела скрывать или не хотела. Те, которые умели, злились: это она нарочно. Но постепенно всё улеглось. Привыкли, как привыкают ко всякой новенькой. Стекловар Макар Федорович химичкам даже глаза колот: «А она работающая и ни к кому не вяжется, как некоторые». – «Да уж, кто тебе нальет, тот и хорош».

Тина увидела её первый раз на лабораторном празднике. Да, точно, это был юбилей Карлинской, потому и пришла – неудобно было не прийти, юбилярша специально домой звонила. Не очень хотелось возвращаться в опостылевшие стены, в чужую компанию – все их интересы стали чужими с тех пор, как ушла из института. Приехала почти к самому концу праздника, когда все уже насытились дежурными салатами и распозлились от столов, разбились на маленькие группки. В углу начинала тренькать гитара. Курящие вышли в коридор, и оттуда неслись взрывы дружного хохота. «А вот познакомься, это наша Оля», – подвёл Павел к ней бледное создание («не такая уж и хорошенькая»), приобнял девушку за плечи – отеческая ласка. Тина едва взглянула. Не очень, наверное, вежливо вышло. Ну Оля и Оля, много их к тому времени было, до этого была Танечка-экономистка, а до Танечки вообще какая-то лаборантка с роскошным именем Изольда – на всех не навзглядываешься. «Как тебе наша Оля?» – выбрала момент Карлинская, наклонилась к Тине, многозначительно заглянула в глаза. Тина пожалала плечами спокойно и безразлично, но как-то так, что Карлинская примолкла, – а видно было, хочет еще что-то сказать. А все-таки сказала: «Провинциалки очень цепкие», – и вздохнула.

Потом и письма какие-то писали, анонимные. Показала Павлу. «Какая гадость, – сказал, скривившись, – могла бы и не распечатывать». – «Как ты себе это представляешь – выбросить не распечатывая?» – «Вот именно». – «Да откуда мне знать, что там?» Повернулся резко, фыркнул, ушел, закрылся в своем кабинете.

Карлинская писем не писала, конечно. Было кому писать и без неё, но звонила, держала в курсе, учила жить, предупреждала: «Имей в виду: они (имелись в виду мужчины, все) в определенном возрасте тоже начинают любить ушами, он её сделал секретарём нашего ученого совета, представляешь. Оказалось, она умеет говорить, причем неплохо, мы и не знали, златоустка просто, словно реченька журчит, но уж так его славословит, так превозносит – противно слушать».

«Да, вот я такая, – говорит себе Тина или не себе, – неинтеллигентная, непорядочная, а вы благовоспитанные, у вас высшие интересы, а я должна знать, что меня ждет. У вас свои высшие интересы – у меня свои высшие интересы».

«Я тут пока в метро ехал, вот что подумал. Только ты не обижайся: не в деньгах дело, ты знаешь: я не жмот. Просто вариант сомнительный. Что-то уж

слишком много посредников. Не хочется связываться. Обманут, многих уж так обманули, и деньги не вернешь. Когда получим грант из Беркли, буду действовать напрямую, через Леонида – он еще никого не обманул. А что касается временно-го варианта, этой самой квартирки на Ветеранов, – 400 баксов за двухкомнатную чёрт знает где, вот именно – у чёрта на куличках, все-таки дорогоовато. Если честно, не очень мне этот маклер понравился. И баба эта – приторная какая-то и скользкая. И всего лишь на год, а потом что? снова перезжать? Потерпи немного, подожди: у меня зреет идея. Башутин на девять месяцев отваливает в Корею, а может быть, и на год. За его квартиру ничего не надо будет платить – только коммунальные платежи, я уже закидывал удочки – все-таки он мне обязан... Завтра совсем не могу. Манежик тебе завезет Стасик, а я не смогу. Как только вырвусь, позвоню. Поцелуй малявку».

Вот, значит, как. Колька Башутин едет в Южную Корею, его квартирка наклевы-вается почти бесплатно, но не для Насти, у которой последние годочки уходят, в одной-то комнате с девчонками, – так теперь никто уже не живёт, могла бы еще нормального мужика найти. Ага, и Стас у них на посылках, а когда надо было старуху в травму везти, Павел пальцем не пошевелил... ради собственной матери. Ласково запел: «Девочки, вы уж без меня, я понимаю, но я не могу встать и уйти – ученый совет, понятно вам? Без меня кворума не будет и все к ебням полетит, понятно вам? На секунду вот выскочил...». И сам не приехал, и Стаса не прислал. Стас, видите ли, так страшно загружен был – ни на час не мог его оторвать от важного государственного дела – обслуживал министерскую пьянь. Такси пришлось взять, вместе с Настей старуху несли буквально на руках, и водитель сидел как истукан, даже дверцу не открыл.

«Только что посмотрел твою часть, ту, что ты мне переслала вчера, а мы так и не обсудили. Посмотри внимательно, киска, ну что ты пишешь? Вот с этого места: "у них граница колебательного спектра сдвинута в высокочастотную сторону... поэтому безызлучательные переходы"... ну хорошо, положим, это очевидно, а вот откуда же следует, что индуцированные переходы должны возрасти, – совершенно непонятно. Это же надо показать. Тебе и мне, может быть, и ясно, а больше никому. Тебе что, доставляет удовольствие лишний раз объясняться с рецензентами? Вероятности и сечения сведи хотя бы в таблицу...»

«Тьфу на вас!!!» – вслух произносит Тина, выключает компьютер, прижимает пальцы к горячим векам, долго сидит в темноте с закрытыми глазами.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ЗНАКОМЫЙ ДО СЛЁЗ

«Знаком тебе этот город?» – спрашивают Александру встречающие, когда везут её по залитому солнцем Московскому проспекту мимо Технологического института, через Фонтанку, всё дальше и дальше – на Васильевский остров. – «Знаком, знаком», – отвечает Александра, вертит головой, жадно смотрит по сторонам и смеётся. – «До слёз?» – не отстают встречающие, заглядывают ей в лицо, ищут следы слез, тоже смеются. – «До слёз, конечно, до слёз, до чего же еще». Детские припухшие желёзки все вспоминают уже про себя, как же без них в этом городе: всё детство прошло с замотанным горлом – компрессы из керосина, клочковатая желтая вата.

«Через Дворцовый едем или через Шмидта? Он у нас теперь Благовещенский». – «Через Дворцовый, только через Дворцовый». Машина пронесется над Невой, мчится по Университетской набережной, мимо Зоологического музея, мимо Университета и Меньшиковского дворца, к Академии художеств, огибает Соловьев-

ский садик и медленно въезжает в узкий переулок Репина (улица теперь Репина, улица), а потом в маленький дворик дома Шуберта. Приехали.

Александра щурится от солнца. Не такое уж яркое это зимнее солнце, скорее слабое и бледное, как будто его долго держали в темноте, в подземелье – и вот выпустили на пробную прогулку, и оно старается, льёт свой холодный свет. Александра оглядывает узкий, довольно чистенький знакомый дворик, отмечает свежее-выкрашенный фасад: «О, да у вас был ремонт, как хорошо». Она еще не видела окраин, но подозревает, что там совсем не так, но здесь хорошо – старые камни, старые стены, центр Васильевского. Это там, на окраинах, в царстве облупленных пятиэтажек, правдивое солнце высветило ужасающую подснежную грязь: размокшие газетные обрывки, рваные полиэтиленовые пакеты, противные кашки, ни на что не похожую дрянь нищей жизни. «Посмотрите, как некрасиво мы живем», – должен закричать всякий нормальный человек, выйдя утром под лучи этого торжествующего солнца из своего плохого блочного дома. Но никто ничего такого не кричит. Ну, из тех, конечно, кто ездит в метро каждый день. А другие, которые на иномарках, и не живут в блочных домах. Эти ездоки в метро молча и мрачно бегут ранним утром на работу, внимательно смотрят себе под ноги – можно вляпаться.

В те края поедет Александра обязательно, по делам, но не сейчас. А сейчас она входит в старую питерскую квартиру, в запах свежих пирогов, накрытых полотняными салфетками. На столе нарядная памятная скатерть, хрустальные бокалы отражаются в бабушкином зеркале – правда, старческие темные пятна разбежались по его серебряной глади, но это заметно, только если внимательно присматриваться, а вот хрусталь сияет как новенький. Торжественные тарелки с вензелями, выставлявшиеся в детстве лишь по великим праздникам, годами скучавшие в чреве готического буфета, терпеливо ждут, когда затихнут восторги встречи. Тетка держится хорошо, никаких слёз, однако губы её заметно дрожат и руки тоже дрожат, поэтому суп разливают, снисходительно улыбаясь, молодая невестка (как она правильно называется по-русски, Александра забыла, ну, в общем, жена младшего внука).

Александра звонит своему другу, набирает почти не изменившийся номер, с удивлением чувствует странное волнение в груди, как говорили в детстве – «под ложечкой». Делает очень глубокий вдох, чтобы подавить неожиданное сердцебиение. Ждёт. После долгих длинных гудков отвечает надтреснутый, подчёркнуто вежливый голос, знакомый голос, если убрать старческое хрипение. Александра понимает – это его мать Марина Сергеевна, она очень любезна, диктует номер его мобильного.

Мобильнизация охватила родной город как ни один город мира: все разговаривают везде – в магазинах, в маршрутках, на улицах, в метро – не теряют ни минуты. Все болтают, свернув головы набок, прижимают к уху плоские маленькие коробочки изящных конструкций, жестикулируют, смеются кому-то отдаленному, нежно улыбаются невидимому, существующему где-то вдаль, строго ему выговаривают – тому, кто не рядом; а тот, кто рядом, тоже говорит, говорит, говорит, безразлично оглядывая других говорящих. Александра рассматривает лица попутчиков в маршрутке, отмечает их молодость, чуждость, непривычность, прислушивается к разговорам – никто не стесняется, разговаривают громко: еще не насладились информационной цивилизацией, отмечает незнакомый выговор – ей кажется, это такой среднерусский, немного жлобский, резкий, народный говор, у мрачного жгучего брюнета напротив явный акцент, он говорит отрывисто – видимо, стесняется: когда коротко, не так заметен акцент, кроме того, иметь акцент опасно – в городе таких бьют и запросто убивают. Девушка у окна зачитывает кому-то результаты

балансового отчета, подбородком перелистывает листочки. Усталая женщина как раз говорит довольно тихо, прикрывает рот ладошкой: настаивает, чтобы ребенок обед разогрел, а не таскал холодные котлеты из кастрюли. Девчушка-школьница канючит в трубку: «Ну мам, ну ты вот всегда так, всегда я хуже всех, все же идут... ну ма-а-м...». Маршрутное такси останавливается на Невском проспекте. Надолго. Пробка. Девушка с балансовым отчетом вертится и шумно вздыхает – видимо, спешит куда-то. Наконец не выдерживает, решает, что пешком будет быстрее, вскакивает и просит водителя: «Молодой человек, вы не могли бы меня... возле светофора...?» Александра замирает и все пассажиры, кажется, тоже. Водитель, не моргнув глазом, быстро отвечает: «Девушка, вы что? – Я же на работе». Пассажиры корчатся и рыдают. Александра улыбается, однако отмечает совершенно правильное для немецкого языка построение фразы – просто здесь никто не стал дожидаться второго глагола.

Они сидят в испанском ресторане. Друг отключает мобильник.

«Ну вот, наконец-то, – говорит он своим прежним голосом (голоса не стареют, ну, почти не стареют, и на том спасибо), – как я рад, никто меня не ждет, я совершенно свободен, до завтрашнего утра, даже больше, часов до двенадцати – свободен как птица, будут искать – ни за что не найдут».

Вспоминают ни к селу ни к городу Витьку Чеснокова, жена которого подозревала, что он уикенд проводит с любовницей, а любовница смирялась с тем, что Витька в выходные должен пребывать в семье, сам же Витька пробирался в лабораторию и работал там в полном одиночестве, наслаждаясь прекрасной своей недоступностью и отсутствием наводок в воскресный день. А мобильных никаких не было.

Итак, он отключает мобильник и смотрит на Александру. И она смотрит на него. Острый укол любви-дружбы вонзается ей в сердце (о, какой затасканный образ, какая-то дурацкая игла, избитая метафора, но вот именно что пронзает это место в груди сладостная и короткая боль), и теплое слезное облако окутывает душу. Столько лет прошло – убийственные цифры, не будем подсчитывать. Боль совсем короткая, и вот уже эти непредставимые цифры надежной кольчужой окружают беззащитный чувствительный орган (ну, пусть, пусть, назовём это так), и после всех охлаждений, предательств и разрывов, после всех острых, молодых, смешных и непоправимых страданий она счастлива видеть его и слышать его голос. И он – приятно ведь так думать – тоже рад, глаза его сияют из этих ужасных морщин так ласково, почти без иронии, и музыка играет так...

Приносят бутылку золотого вина. Разливает вышколенный мальчик. Высокие зелёные бокалы, витая ножка. Будем считать, что это венецианское стекло. И вот уже несут форель, запеченную в соли, каждому по огромной рыбине. Александра искренне ужасается. Съесть это не под силу нормальному человеку. «Ничего, ничего – мы сегодня никуда не торопимся», – говорит друг, ставит локти на стол, охватывает своё лицо ладонями, смотрит на Александру в упор немигающими глазами и улыбается. И так они сидят довольно долго, молча разглядывают друг друга.

Две девушки на маленьком служебном столике ловко освобождают форель от соляного панциря – по-видимому, так положено, чтобы посетитель видел конец технологического процесса. Одна девушка, видимо, более опытная, показывает другой, как это делается: в тонких пальчиках держит две вилки-лопаточки, поддевает толстый спекшийся слой соли, очень осторожно, чтобы не повредить розовую нежную рыбку мякоть, откидывает его в сторону. Вторая девушка очень внимательно наблюдает за операцией, кивает головой на поучающий шепот подруги, ассистирует старательно – лица у них чистенькие, вдумчивые, сосредоточенные, какие-то даже студенческие. Новая порода выросла, отмечает Александра, не

похожи они на прежних официанток. Длинное продолговатое блюдо с разноцветным ворохом трав ставит с испанской грациозностью на стол уже другой мальчик. Но вот эти танцы заканчиваются – они остаются одни в небольшом зальчике. В тени, почти невидимый – только локоть, только колено да лакированный носок изящного ботинка – сидит гитарист, начинает перебирать струны, очень тихо, ну да, она такая, испанская грусть – тихая, страстная, нарастающая, – демонстрирует чувство меры. В стену вмурован аквариум, из него льется желто-зеленый интимный свет, плавные рыбы медленно пересекают маленькое подводное царство, помахивают своими вуалями под испанскую музыку.

– Ну и сколько так может продолжаться?

– Не знаю, – честно отвечает друг, приближает к глазу бокал с вином, рассматривает через бокал рыб и водоросли.

– У меня вопрос (это калька с немецкого, так начинает почти каждую фразу маленький любознательный внук Александры – он живёт в Германии; она спохватывается, отмечает про себя, что раньше никогда сама так не говорила), ты не напомнишь мне, сколько тебе лет?

– Да ладно тебе. Ты же только что сказала, что возраст – понятие биологическое, а потому условное.

– Но не до такой же степени. Это в сорок лет оно условное, пока мы еще ничего себе. И кажется, что так будет вечно.

– А мы и сейчас – ничего себе. Ты, во всяком случае.

– Грубая, немотивированная лесть на меня не действует. Учти... Если ты тогда не ушел от Тины ...

Они понимают, что значит это «тогда», не надо уточнять. Когда Тина, из воздуха уловив рецидив их романа, начало их настоящего, взрослого романа, в последний раз использовала тот же прием. Такой простой. Казалось, ничто уже не может их особенно испугать и заставить отказаться от желания быть вместе. И он пришел и сказал: «Я все равно хочу быть с тобой. Мы будем жить счастливо и умрем в один день». Да, вот его не испугало. Что же так сильно удручило Александру? Смешно – ведь не решение Тины родить второго ребенка. А что тогда? Воображение, неужели просто собственное воображение? Что оно такое необыкновенное нарисовало тебе, глупое ты создание? Ну, наверное, житейские картинки, семейные сценки, которые происходили там, у них, в этом доме у Таврического сада, где он пока еще жил. А ей казалось, что уже не должны происходить, потому что он уверял, что ни одной женщины не может коснуться, – «ты, только ты...». Да, вот именно, замкнула слух, просто сбежала, как у неё повелось, в свою одинокую непробиваемую раковину, закрыла створки, лишь терпеливый муж и семилетняя дочь устроились у входа и потихоньку проникли в её уединение, то есть выманили на уютную площадочку обыденной жизни: на родительские собрания, на ремонт кухни, на покупку стиральной машины, на дни рождения скучных родственников, на всё такое необязательное, неинтересное, как у всех; не сразу, конечно, но постепенно выманили и утешили этой целительной скукой. Терпеливый муж до сих пор, пожалуй, ждет звонка. Да, он теперь муж прекрасной женщины, с какой стати он будет ждать, давно удалил Александру из своей жизни, вычеркнул, так обычно говорят, но ей почему-то неловко: подозревает она, что все-таки ждет, бывшие мужья – это все-таки родственники, тем более дочь, а она вот сначала звонит другу, а они – бывший муж и его прекрасная добрая женщина, которой рядом с ним почему-то совсем не скучно, и она заботится о нем и лелеет его, такого честного, спокойного, обыкновенного, тихого и благородного, – вот они скоро узнают, что она уже здесь, уже приехала, но еще не позвонила, – и будут обижаться.

– Если ты тогда не ушел, то теперь, когда на ней весь дом, и твоя мать и твои внуки, то... Ну, я уж не знаю...

Друг делает такой знакомый жест – полное разведение рук, дурашливое закрывание глаз – и понуро молчит; Александре тоже следует помолчать, но она почему-то впадает в нравочительство.

– Вот к чему приводит желание вечной молодости. Думал, наверное, будут шептать за спиной: «Представляете, у него дети моложе его собственных внуков. Какой, однако, молодец». Думал, признавайся? Ты же показушник. Неисправимый.

– Да при чем здесь я? Разве можно запретить женщине хотеть ребенка. Женщина всегда решает. Как ты только можешь? Так говорить?.. Показушник!?

– Ничего себе – он ни при чём. Но ребенок ведь твой?

– А чей же еще.

Обстоятельства жизни друга таковы: женщина сорока с лишним лет, связь с которой длилась с её аспирантских времен, год назад родила ему новую дочку. Девочка очень слабенькая, и его помощь необходима. В голосе немолодого отца слышится оправдание. И так всё ясно: что-то еще связывает его с бывшей аспиранткой. Четыре дня в неделю он неотлучно пребывает в старой семье – там живет его мать, его жена Тина и его дочь Анастасия с двумя его внучками пятнадцати и пяти лет. Настю три года назад покинул муж, процветающий ныне на кисельных берегах Силиконовой долины, и она переехала к родителям: трудно одинокой работающей женщине с двумя детьми прожить одной. Где живет сын Андрей, не очень понятно, кажется, в какой-то мастерской – на расспросы Александры друг вздыхает, недовольно морщится, машет рукой: «отрезанный ломоть». Потом с некоторой даже гордостью добавляет: «Он у нас известный художник подземелья, ну этого... андеграунда, блин, мастер российского хеппинга».

Три раза в неделю друг хлопочет над новым ребеночком: кормит, гуляет, купает, меняет памперсы, а уложив малышку спать, они обсуждают что-нибудь научное. Иногда и ночевать остается, изображая для старой семьи командировку, звонит жене по мобильнику, не забывая его тут же отключить. Командировку придумывает местную, в какой-нибудь филиал. Когда идет в старую семью, по дороге, на улице или уже на лестнице, звонит в новую, обсуждение совместного научного продукта продолжается уже в квартире, по компьютеру (отец семейства занят, благопристойно сидит в кабинете за компьютером, никто не смеет мешать), иногда и несколько слов напишет матери новенького ребенка, несколько ненаучных слов, несколько слов поддержки или просто житейских, бытовых.

– У Андрея, кстати, тоже где-то растет девочка. Кажется...

– Что значит «кажется»? Как это можно, ты что, даже точно не знаешь, родилась у тебя внучка или нет? Он женат?

– Да они же теперь не женятся. Бой-френды или гёрл-френды... их теперь родителям не представляют.

– В наше время тоже не так уж часто представляли. Даже свадьбы не очень справляли. Ты вспомни...

– Но все-таки женились, а свадьбы не справляли по бедности.

– Не только. Считалось, что всякие ритуалы – это немножко безвкусно. Значит, у Андрея ребенок, значит, не так всё плохо...

Александра не рискует углубляться в расспросы об Андрее: понимает, что это, может быть, самое болезненное в жизни Павла.

– Да нет, конечно, я знаю, Настя её видела, хорошая симпатичная девчонка, здоровенькая, на Андрея похожа. Большая уже. Там с ней теща-френд сидит – от нас ничего не требуют, такие гордые. Ну, и мы не проявляемся, раз не зовут. Эта дама-галерейщица старше Андрея, страшно сказать, насколько. Так что, сама понимаешь, Тина не очень довольна.

Александра не позволяет себе заметить, что у Тины, по-видимому, много поводов не быть довольной. Вертит в руках хрустальный бокал. Да уж, лучше помалкивать. Водит указательным пальцем по тонкому краю бокала. Хрусталь высоко и чисто поёт.

– Прекрати, пожалуйста, – морщится друг, – ты тоже неисправима, всё те же дурные привычки. Знаешь ведь, что я не выношу этот звук.

Мимо пробегает официант, юный и услужливый, несёт поднос к соседнему столику, успевает любопытно взглянуть в их сторону, улыбается. Испанские аккорды едва слышно рокочут, взрываются краткой страстью и снова тихо грустят, перебивают себя, перебирают воспоминания и почти смолкают.

– Очень много девочек рождается, – задумчиво говорит друг, – одни женщины почему-то вокруг. Я уже, кажется, отвык от маленьких мальчиков.

– Может быть, это хорошо. Мальчишки рождаются к войне.

– Нет, мальчишки рождаются после войны. Природа восполняет потерянный баланс в популяции. Кажется, так.

Он видит по глазам, что Александра собирается что-то сказать. Что-то неутешительное, может быть, как ему кажется, что-то безжалостное и шутливое, на грани дружеского цинизма, предостерегающе прижимает ладонь к сердцу, пытается остановить порыв подруги нахмуренной гримасой. Но её намерения вполне банальны.

– Знаешь что, я хочу выпить за твоё здоровье.

«Почему за моё...» – начинает он вопрос и вдруг понимает Александру, и быстрый страх мелькает в его безответственных глазах. Александра знает про его прошлогодний инфаркт. Тина почему-то сочла нужным сообщить ей в Германию. Но вот он уже собрался, стряхнул грустные мысли, смеется, подзывает пригожего тоненького мальчика и заказывает еще красного вина. «О, моя завтрашняя голова, – сокрушается Александра, – день будет потерян, потерян». – «А я хочу выпить, – он повторяет свои любимые слова, – за долгую взаимную любовь, которая возможна только в дружбе». Она смотрит на него внимательно – он что, действительно считает всё, что было, дружбой? Взгляда её он не понимает, не чувствует, тянет потихоньку кровавое вино, ненадолго уходит в себя и тут же возвращается с извиняющейся улыбочкой.

Невидимый гитарист усиливает испанскую грусть, и она перетекает незаметно в обыкновенное русское рыданье.

– А как Тина? Она знает? Ну, я имею в виду не про внучку... про внучку уж Настя-то рассказала. А про твою новую девочку? Как, ты сказал, её зовут?

– Таточка её зовут. Танечка. А с Тиной мы на эту тему не разговариваем.

– Как это у вас получается?

– А вот так...

Александр хотелось бы повидать Настю, ну и Тину, пожалуй, тоже. Всё быльём поросло, ничего не осталось, даже печали – лишь одно слабое любопытство шевелится на дне катулки с воспоминаниями.

– Почему ты меня в гости-то не приглашаешь? Мог бы все-таки и пригласить. Чай, не чужие мы люди. Приглашай, пока у меня заграничные подарки не кончились. Или мне будут не рады? Настя всё такая же красotka?

При имени Насти лицо Павла светлеет: первый любимый ребенок, первый ребенок в компании, а может быть, и на курсе. У всех еще пылали романы и страдания, а у Павла была уже полная определенность, Тина переехала в большую академическую квартиру – все так и ахнули, – приходила на факультет с растущим пузом, гордая, неуклюжая, сдавала досрочно какие-то зачеты – впрочем, ей ставили моментально, снисходительно и дружелюбно улыбался даже неумолимый, жестокий математик.

«Ловко она его, ловко, – поджимали губки девчонки из общежития, – а ведь ни кожи ни рожи – разве что волосы». Ну, рожа, допустим, была вполне привлека-

тельная – если приглядеться, конечно. Бледная, нежная, без всякой косметики. А волосы действительно необыкновенные: при нездоровой малокровной бледности – пышные, густые, сияющие, но не рыжие, а золотого теплого цвета.

Многим Тина казалась типичной провинциалкой, тем более жила она в общежитии, на Детской, – только потом с изумлением узнавали, что она родилась в Ленинграде и закончила обычную ленинградскую школу, с какой-то даже медалью, а в общежитии обитала в связи с семейными проблемами. Что-то там у неё в семье происходило. В чем проявлялась эта провинциальность, никто не мог бы объяснить. Может быть, это была такая зажатость, отсутствие столичной раскованности, или просто особое выражение лица – всегда готова отразить нападение, всегда подозревает покушение на отвоеванное с невероятными усилиями желанное место, всегда готова к отпору и защите своей территории и даже к превентивному удару. Однако учиться ей было трудно, школьная медаль здесь не помогала. Казалось даже, что ей не нравится учиться, но она держалась стойко, и было понятно: будет держаться до последнего. И держалась. И заслужила у многих уважение. А главное – лекции она записывала добросовестным ясным почерком, за её конспектами в сессию выстраивалась длинная очередь заискивающих лентяев. Как-то и Александре перепала на одну только ночь её пухлая аккуратная тетрадка по статистической физике, и стало понятно, что старательная рука списывала с доски безумные формулы и сопровождала их нелепыми ремарками при полном отключении головы.

– Ну что за глупости, конечно, они будут рады, – быстро говорит Павел, отводит глаза и смотрит куда-то в сторону... – а Настя, да, она красотка, конечно, но что-то не получается у неё в личной жизни...

И по этой его торопливости, по отведению глаз Александра понимает, что не очень-то ему нравится её идея. Не хочет он, чтобы она повидалась с Тиной. Что-то его пугает. Или не пугает, а просто не хочет выпускать Александру из своего лагеря.

– Только не удивляйся: у мамы бывают разные видения, но память сохранилась. Она тебя прекрасно помнит. Она будет рада. Она тебя раньше часто вспоминала. Ты почему, кстати, не призналась, когда звонила: поболтала бы со старушкой, уважила бы. Конечно, надо придумать... только вот когда... обязательно мы это устроим.

– Но если тебе неприятно...

– Глупости какие. Почему мне должно быть неприятно?

– Ну, я же вижу.

– Да ничего подобного. Что ты там можешь видеть. Просто квартира в ужасном состоянии – мне будет стыдно, а кроме того, они у меня постоянно ссорятся – все время искрит, такое вечное штормовое предупреждение, молнии летают. Они же меня на части рвут, каждая выливает ушат претензий. Между прочим, как раз Тину я упрекнуть не могу – она пытается всех примирить, плохо получается, к сожалению, представь: пять женщин вместе. Друг у друга на голове. Ну и на моей, конечно...

– Да, похоже, на твоей голове уже семь женщин.

– Ирония неуместна.

– Да вряд ли я к ним выберусь. Очень мало времени у меня, а дел столько... Ох, и паспорт надо сделать, и на кладбище памятник, и много-много всего...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ЖИЗНЬ ВНЕ ДОМА

А все-таки хотелось бы зайти в этот дом у Таврического сада, в эту квартиру, поразившую когда-то барской беззаботностью, достатком, вкусной едой, кухаркой, хлопочущей на кухне, зеркалом во всю стену в ванной, книжными полками, уходя-

щими в шестиметровую высоту, а главное – своей прекрасной отдельностью. Почти все тогда жили еще в коммунальных квартирах. И Александра жила в коммунальной, с очередью в уборную по утрам, с единственной ржавой раковиной и вечно капающим краном на кухне, с изнурительными недельными дежурствами, с велосипедами соседей над головой (не раз и обрывались) в узком и темном коридоре, с торопливыми завтраками в общей кухне под уродливым чым-то бельишком. Через всю кухню тянулись бельевые веревки, и тянулись и не кончались непрерывные распри и споры: можно ли стирать в кухне, можно ли кипятить бельё и сушить его над газовой плитой, «телефон общий, общий, вы не одни тут живёте», «вы вот за гостями своими подотрите, а потом уж замечания моим детям делайте». Скучно, противно, неинтересно. Александра просто закрывала уши ладонями, когда шум склоки особенно нарастал и ей случалось оказаться дома. Со всем не раздражалась, закрывала уши и легко погружалась в книгу. А вообще она не очень и замечала эти неудобства, не особенно тяготилась коммунальными несправедливостями, не вникала в остервенелые крики соседей, не утешала обиженную бабушку: «разбирайтесь сами», убегала на весь день в университет. Лекции, семинары, потом обед в веселой компании, в «восьмерке» или «академичке». В голодные дни перед стипендией пользовались беззастенчиво замечательным правилом «гарнир без ограничения». Такое объявление висело в столовой. А на столах стояли тарелки с бесплатным хлебом и бесплатной капустой, «ростки коммунизма» называлась эта капуста. Так что прожить можно было некоторое время вообще без денег. «Галочка, ангел мой, нам, пожалуйста, картошечки без ограничений», – включал Юрка свою самую обаятельную и наглую улыбку. И раскрасневшаяся от кухонного жара девушка Галочка, добрая ангельская душа в белом марлевом тюрбане, с понимающим подмигиванием протягивала ему одну за другой полные тарелки чудной картошки, поджаренной на сливочном масле, – это было специальное, «сливочное», отделение в демократичной «восьмерке». После обеда честно сидели в библиотеке до вечера. Некоторые даже освоили технику освежающего пятиминутного сна на раскрытых учебниках и конспектах.

Жизнь проходила вне дома, на просторах волшебного города. И считалось, что это нормально. *Как ель и рябина растут у порога, росли у порога Растрелли и Росси...* За порогом и был огромный дом. Можно было прийти в Эрмитаж, сесть на банкетку красного бархата у высокого окна, оборотиться лицом к державной реке и сколь угодно долго смотреть на эту вечную воду, на тонкий шпиль за рекой и черный буксир, проплывающий мимо, посредине реки, – на этот раз совсем бесшумно. А потом отвернуться от окна и, прищулив глаза, посмотреть на колонны, на картины, на прекрасные статуи, на мраморную золотую лестницу и представить, что это всё принадлежит тебе. Вот твой дом.

Дома за ужином отец откладывал газету, мрачно смотрел поверх очков, упрекал, что шляется где-то, не помогает матери. «Оставь её», – говорила мать. Александра молча ковыряла холодную котлету, вполуха слушала бабушку о деталях битвы за столик у окна. Столик у окна в кухне – очень удобно, между оконными рамами можно устроить холодильник: настоящих холодильников ни у кого из знакомых тогда еще не было. Бабушка сражение выиграла, очень гордилась: «Почему это мы всегда должны уступать».

Квартира на улице Чайковского существовала отдельно от всего этого коммунального мира. Там был совсем другой мир. И холодильник у них был. Как же он назывался? «ЗИС», что ли? Или «Бирюса»... нет, этот был уже потом. А сначала – точно «ЗИС». Завод имени Сталина. Неужели? Или все-таки ЗИЛ, имени Лихачёва? Какой-то Лихачёв, никто уже не помнит, разве что специалисты древнего машиностроения. Надо у кого-нибудь спросить, хотя и не особенно интересно. Вот

Лихачёва Дмитрия Сергеевича еще мы помним. Но, возможно, только мы и помним. Как быстро всё забывается.

Перед экзаменами вся компания собиралась в доме у Таврического, в комнате Павла. Устраивали «прогон», пробегали по всей программе, по всем билетам, вместе разбирали что-нибудь особо трудное – сама собой образовалась такая традиция. Кто-то демонстрировал изобретательно выполненные «шпоры» – собственно, это были не шпаргалки, а виртуозные мнемонические конструкции, в процессе создания которых исполнитель легко и надолго постигал суть предмета. Ученье доставляло им удовольствие, а некоторые страдали настоящей одержимостью (слова «трудоголик» тогда еще не знали, употребляли его только нарождающиеся психологи). Мать Павла как-то со смехом рассказала Александре: «Сашенька, вы знаете, он думает, что я ничего не замечаю: вместо того чтобы учить историю КПСС, ведь экзамен на носу, он держит в ящике стола лекции Фейнмана и потихоньку читает, а когда я вхожу, ящик быстро задвигает – ну не ребенок ли?»

У девочек никакой одержимости науками, конечно, не было. У Тины проглядывало даже тщательно скрываемое отвращение, Александра поддерживала в себе сознательность, чувство долга и удовольствие от хорошего выполнения этого долга, маленькая сообразительная Лия загоралась вместе с мальчиками, но ненадолго, во всяком случае, никто из подружек не испытывал наркотическую радость, сиявшую в глазах молодых тщеславцев, каждый из которых время от времени произносил пренебрежительно что-нибудь вроде: «Зачем девчонки идут на физический... не понимаю». Уже и тогда Александра могла им ответить, что из соображений «гигиенических», как говорила её тетка, вечно дрожавшая на своём филфаке перед очередным конкурсом («завалят, как пить дать, завалят»). Но мальчики не смогли бы этого понять: грозное значение слова «идеология» еще не очень ими осознавалось, особенно в их среде, в среде их профессорствующих родителей на кафедрах точных наук. Да и через двадцать лет у них был другой вариант ответа. На упрек Тины, зачем так упорно Павел тащит на физический упирающуюся дочь, он весело отвечал: «А мужа найти... где еще можно хорошего мужа найти? Ты вот себе нашла...». Была, правда, среди них Машка Куркова по прозвищу «Марыся Кюри», о страшной жизни своей она сама со смехом рассказывала, по-видимому, не находя её особенно страшной. Жестокий отец (он, кстати, читал у них спектральный анализ) проверял её школьные тетради поздно вечером, когда, бывало, маленькая Машка уже спала, и если этот тиран обнаруживал в тетрадках что-то его не устраивающее – небрежно выполненное задание или неверно решенную задачу, срывал с ребенка одеяло и заставлял переписывать, приговаривая: «Я научу тебя работать». И девочка, заливаясь слезами, в ночной пижамке, садилась за стол и, стараясь не закапать слезами страницу, аккуратнейшим образом что-то там переписывала, переделывала, и вот – научилась работать. «А мать? Где была мать при этом?» – интересовались ужаснувшиеся слушатели. «А мама у нас была певицей, спектакли ведь поздно кончаются», – с гордостью отвечала Машка и хохотала. И невозможно было понять, что она придумывает, а что происходило на самом деле, во всяком случае, строгий отец научил её не только работать, но и любить эту мужскую науку, а преуспевать она научилась сама, еще и лучше, чем отец, так до смерти и прослуживший угрюмым доцентом с ненаписанной докторской, без учеников (такой характер), без жены, но зато с Машкой. Мама почему-то не вернулась с московских гастролей. То есть вернулась, чтобы собрать вещи, а потом переехала в Москву насовсем.

К концу прогона мать Павла несколько раз деликатно заглядывала в комнату, звала обедать. «Ну мам... ну мы еще не хотим». – «Хотим, хотим», – кричали глаза Сергея и Юрки Костерина, девочки потупляли взоры, но все терпели: знали, что

через некоторое время Марина Сергеевна взорвется, ворвется в комнату, потащит за руку кого-нибудь: «Ну сколько можно звать, здесь всякое терпение с вами лопнет, Паня уже час вас ждет». Громкую и дерзкую кухарку Паню в доме боялись раздражать, боялись: а вдруг выполнит свою угрозу, снимет передник, бросит его на пол и уйдет от них навсегда. Бывало, что и уходила, и Марина Сергеевна ехала за ней с Витебского вокзала в деревню Купчино – тогда еще была такая деревня – и униженно умоляла вернуться. И Паня возвращалась, надевала свой передник, но подарки никакие еще долго не принимала. «Ишь что удумали, подкупить хотите: не-е-е-т, не купите, мы хоть и купчинские, а не продажные, сердце у меня слабое – вот вас, непутевых, и жалею».

Пока девочки мыли руки в зеркальной ванной, из кухни доносились восхитительные запахи и ворчание Пани: «Таку ораву кажну неделю кормить... не знаю уж, дело хозяйское, конечно»... – «Паня!» – «А чё Паня, неча мне рот затыкать, это ж никаких средств не хватит»... – «Па-а-ня-а!!!»

В столовой все рассаживались за длинным обеденным столом, за которым у каждого образовалось своё привычное место. На столе всегда была свежая белая скатерть, расшитая белыми же цветами, и однажды Александра заметила, как Тина, приоткрыв рот, нежно ощупывает, гладит эти белые выпуклые цветы, а глаза её при этом задумчиво рассматривают синюю люстру над столом. «Закрой рот», – толкнула её в бок Александра. Тина испуганно вздрогнула, спохватилась, стряхнула задумчивость, зажмурила глаза, как если бы действительно Александра обладала способностью по глазам узнать её мечты и мысли – впрочем, может быть, обладала, – и открыла уже спокойные глаза, глянула зло, прошипела: «Сама закрой».

Добрая скандалистка Паня ставила в центр стола пузатую супницу (дома у Александры, в громоздком буфете, тоже хранилась такая, но ею почти никогда не пользовались), щедро наливала каждому в глубокую синюю тарелку три огромных поварешки («Поварешка точно серябряная», – шепотом комментировала Тина.) фантастических, ароматных щей, и в столовой наступала возвышенная тишина. Чуть-чуть нарушалась эта тишина легким поскрипыванием старинных стульев, осторожными прикосновениями тяжелых ложек ко дну тарелок, благостным дыханием сосредоточенных едоков, напряженно державших в уме основные правила застольного этикета. Никаких локтей на столе: к телу прижаты локти, салфетки развернуты и лежат на коленях, губы сжаты, челюсти двигаются ритмично, едят бесшумно, да-да, по возможности беззвучно, медленно, неспешно.

Юрка Костерин в перерыве между парами выхватил у Тины из открытой папки тоненькую книжицу «Как вести себя за столом», бегал с ней от Тины, скакал по скамейкам, как обезьяна, забрался на самый верх, читал с выражением: «Завершая прием пищи, полотняной салфеткой можно коснуться губ и вытереть концы пальцев». Кто-то, смеясь, поправил: «Кончики». – «Это у тебя, балда, кончик, а у благовоспитанных людей – концы». – «Концы? Полотняной салфеткой?» – недоверчиво переспрашивал другой. В общем хохоте, потеряв надежду догнать Юрку, Тина сидела со злыми слезами на глазах и беспомощно повторяла: «Подонки, скотина». «Ешьте неторопливо, – продолжал Юрка, – не вычищайте дно тарелки кусочком хлеба». Александра вскочила, сделала попытку вырвать книжку – обрывок разорванной страницы плавно закружился в воздухе. «Горячие закуски из кокотниц или кокильниц едят кокотной вилкой». Юрка недоуменно выпучивал глаза: «Валюшка, спроси у матери: ей положено знать, что это за кокотная вилка такая, – неровен час оплошаешь за столом у Пашки». Мать Тины когда-то была официанткой в настоящем ресторане, потом долго работала в университетской столовой (кочотных вилок там не было, вилки были одного алюминиевого сорта, гнутые, липкие), а когда появились кофейные аппараты, перешла в кафетерий, который открылся под «восьмеркой». Мать Тины ловко орудовала рычагами новенькой сверкающей машины, варила им отличный «двойной», всегда улыбалась. Кто-то рассказал мно-

го лет спустя, что отработанный кофе, эти мокрые ошметки, она не выбрасывала, – собирала аккуратно и в большой сумке уносила домой, сушила и приносила обратно, подмешивала к хорошему, только что смолотому, по второму разу пропускала через кофейный аппарат. Крутилась женщина как могла. Вот поэтому Тина носила не суконные ботики, не рыжие «румынки» из грубой свиной кожи, а настоящие финские сапожки, и лифчики у неё были немецкие, причем на каждый день – девчонки подсмотрели. Кроме того, торговые связи и знакомства, как тогда говорили, в колбасных кругах. А в общежитии Тина жила из-за отчима, хотя для имеющих ленинградскую прописку это было категорически запрещено, но мать кинулась в ноги проректору – он часто обедал в преподавательском зале, выпросила, вымолила. Тина никогда не рассказывала о своей семье, но откуда-то всё становилось известно. Приставания молодого отчима, впрочем, особой тайной не были: он и в общежитие к ней заходил, с жалкими подношениями вваливался в комнату. Девчонки с криком, в шесть рук, вытаскивали его, но он не уходил – стоял на лестнице, ждал Тину, покачивался, потом садился на ступеньку и бывало, что и засыпал тут же, привалившись к стене. Комендант даже однажды вызвал милицию и приказал вахтершам быть внимательнее и больше никогда его не пускать. Тине почему-то никто не сочувствовал. Какая-то она была не такая, не приживалась ни в общежитии, ни в компании.

В доме у Павла было принято за обедом на хлеб намазывать масло, замечательное сливочное масло, которое Паня привозила из деревни. Когда Александра вздумала повторить дома этот буржуйский обычай, отец посмотрел на неё строго и поднял брови и даже бабушка разделила это осуждение. Хлеб с маслом – это была отдельная еда. Не зря говорили: «На хлеб с маслом он зарабатывает», а если хотели подчеркнуть высшую стадию успеха, то упоминали и про икорку сверху как предел мечтаний. Впрочем, на икорку отец не зарабатывал, о чем и предупреждал: «И не ждите, и не рассчитывайте». Но хлеб с маслом за обедом – это уж непозволительное баловство, «где ты только этого нахваталась».

Никогда и нигде Александре уже не встречалось такое масло, как за обедом у Павла, и вкус деревенского масла она запомнила на всю жизнь. «Берите масло», – уговаривала Паня, указывая на синюю старинную масленку, а Павлу сама пыталась намазывать и подкладывать ломти потолще. Да и хлеб у них был особенный. «Паня, прекрати, я сам», – сердился Павел. – «Да уж такой тошший... ешь давай...» «Па-а-ня!?!» – поднимала брови Марина Сергеевна, и Паня, надувшись, выплывала из столовой.

Было заметно, что между Паней и тихой горбатенькой няней, тенью скользившей вдоль стен, шла непрерывная и страстная борьба за Павла. Няня, вырастившая еще Марину Сергеевну, не допускала и мысли отдать своё первенство «этой деревенщине», а Паня, на которой держался дом, ни в грош не ставила «никуда негодную хлипкую приживалку». Когда бы Павел ни явился домой, двери ему всегда открывала «нянечка» – сидела в своей каморке, ждала, в окошко поглядывала. Он обязательно её целовал – так уж повелось у них; няня снимала с него пальто, привстав на цыпочки, разматывала шарф, норовила и ботинки стянуть, если бы позволил. Паня при этом никогда не выходила в прихожую: гремела сковородками и фыркала в кухне – нож острый были ей эти поцелуи.

Отец Павла, высокий красавец, седой, вальяжный, насмешливый, веселый – понятно, что покоритель сердец, – заведовал кафедрой и читал общую физику, но в Политехническом. Если он был дома и свободен от многочисленных аспирантов и задыхающихся от восхищения аспиранток, почему-то считал себя обязанным внедряться в их «прогоны», объяснять, растолковывать, желая помочь от чистого сердца, окончательно сбивал их с толку, отвлекал смешными историями, а времени-то до экзамена оставалось совсем немного. Все ёрзали, вежливо слушали,

кивали головами, покусывали карандашики, изображали внимание. Павел с трудом скрывал раздражение, иногда резко обрывал отца, которого это нисколько не обижало, – такая порода: несокрушимая добродушная уверенность в себе, – и он уходил очень довольный: долг выполнен, дети не оставлены без внимания.

Дед Павла, академик, которому в придачу к Государственной премии дали эти проторные хоромы за особые заслуги, за создание какого-то секретного топлива для каких-то секретных двигателей – Александра так и не удосужилась узнать, за что именно, – был тогда еще жив, но уже витал над земными делами, хотя еще числился консультантом в своем институте, и несколько раз в месяц его почтительно возила казенная «Волга» на защиты диссертаций в другие институты – он был членом разнообразных ученых советов и всегда голосовал правильно, то есть, черных шаров не бросал. На него рассчитывали. А если его голос мог только помешать уничтожению какого-нибудь строптивца, то «Волгу» не присылали, и он оставался в квартире, в своём дальнем кабинете, откуда неслись слабые звуки рояля. У него там рояль стоял. В своё время он ушел в университет со второго курса консерватории, а говорят, подавал надежды – музыкальные. Когда музыка смолкала, он шаркал мимо комнаты Павла в туалет и обратно. Довольно часто. Павел морщился. Когда дед умер – умер во сне, в возрасте девяноста трех лет – «счастливый», говорили на панихиде, – рояль стали всем предлагать. Никто не брал.

И еще у них была дача, трехэтажный дом с верандами, мезонином и маленькой многоугольной башенкой наверху. Старый финский дом. Только перейти шоссе – и начинался песок, валуны, острая трава и мелкая вода бледного залива. Праздники, каникулы, преступные побеги из города, первые нелепые пьянки, тайные свидания – все было в этом доме, и те самые четыре дня... ха, забываемые... да нет – забываемые, забытые, – улыбается своим мыслям Александра, – после этого было много других дней, и они прошли в точности как обещала надпись на кольце, и память отмечает их спокойно, без волнения – просто отмечает, что был восторг. Память помнит, а сердце забыло совершенно: как это – чувствовать восторг. Где теперь этот дом, можно ли на него взглянуть, где теперь высокие финские сани – стульчик из деревянных отполированных реечек на длинных полозьях. Павел разгонялся, отталкивался ногой, наклонялся, целовал её в ухо. А-а-а-а – и сани неслись вниз, вибрируя и дрожа, пальцы вцеплялись в сиденье. Быстро доезжали до самого Зеленогорска (старики всегда говорили – Терриоки). Как же назывался этот ресторан? Вваливались разгоряченные, стряхивали снег, хохотали. А где наши старинные лыжи, уродливые «дрова», а кривоватые бамбуковые палки... выбросили, должно быть, давно...

– Сгорели они, всё сгорело, – машет рукой Павел и вздыхает.

– А, понимаю, конечно, вы сожгли при очередной уборке... территории.

– Какая там уборка. Просто дом сгорел. Сгорело наше поместье. Подождли – и сгорело. Мы продавать не хотели – ну, они и подождли. Обычное дело. Теперь ходят, звонят, уговаривают продать. Но за другую, конечно, цену. Предупреждали, однако.

– Да как же так? Как жалко-то. Такой прекрасный финский дом. Как же это может быть? Значит, они и подождли. Так надо же... Нет, я не понимаю, если вы знаете, кто поджег, расследование-то существует у вас... Надо заявить. В суд, что ли?

– Да ты что? Вот именно, что ты ничего не понимаешь. Ты нашей жизни не знаешь. Это нельзя. Хорошо хоть страховку какую-то жалкую получили. А в суд подавать... ни страховки не было бы – вообще ничего, еще бы дрянь какую-нибудь схлопотали бы. Были звонки, были. Кажется, даже те же самые голоса. Одна надеж-

да – не им, а другим продать, кто посильнее их будет. Все-таки место такое – замечательное, берег залива, от города близко. Они там друг с другом разберутся. Кто больше даст.

ГЛАВА ШЕСТАЯ. ИНИЦИАЦИЯ

Когда камера наружного наблюдения остановилась и откуда-то сверху раздался приветственный механический голос: «Добро пожаловать. Сейчас вас встретят. Оставайтесь на месте», – Александра вдруг почему-то вспомнила предупреждение отца держать ухо востро с иногородними. Посмотрел бы отец, какой теперь у Юрия Сергеевича дом. У иногороднего Юрки, у подкидыша из Тайшета, привыкшего работать так, как никто из них не умел. «Победу или умру», – говорил и скрежетал зубами, и ведь побеждал. Говорили, что мать его на крыльце Дома ребенка оставила, а сама исчезла. Вот откуда это – «подкидыш из Тайшета». Только потом Юрка объяснил: оставила, чтобы спасти, – её на работу с маленьким ребенком никто не брал, тем более она была жена врага народа, они просто от голода погибли, и никогда её Юрка не осуждал. Про подкидыша пустил слух его безымянный дружок, которого после первого семестра выгнали за пьянство, а слух остался и почему-то повторялся, особенно яростно, когда Юрка сам (сам!) отказался перейти в теоретики. Его упрасивали, этого провинциального задаваку, а он отказался. Не особенно и понадобилась ему ленинградская прописка – его и так в аспирантуре оставили, а потом как-то всё само собой получилось. Ленинградские девочки быстро сообразили, какие перспективы ожидают гордого подкидыша: отталкивая друг друга, протягивали свои сердца. Так что он мог придирчиво выбирать. К полной неожиданности для всех выбрал Светку-стерву – это сейчас мода на стерв появилась, а тогда нет, тогда другие девушки были в моде – умные, веселые, простые – надежные «фронтовые подружки», скалолазки всякие или слаломистки. А Светка и её подруга Лерка Ростовская были другие – вызывающие, высокомерные, с ухоженными ручками, с подведенными цепкими глазками, с особой осанкой красавиц. А красавицами их, между прочим, многие и не считали, а вот осанка была, так что эти многие от других, более утонченных, слышали: «Да что вы понимаете, темные вы люди?» И были они высоченными, длинноногими – первые тяжелые и грациозные ласточки акселерации, – и никогда не разлучались. Прозвище у них было Ростральные колонны. Каким ветром их занесло на физический факультет – не очень ясно, может быть, тем же самым вечным ветром поиска, что заставлял тренированных скалолазок прикидываться верными «фронтовыми подружками», пока надобность в притворстве, а также в скалолазании, не исчезала в связи с изменившейся модой или новыми обстоятельствами. Почему Юрка выбрал Светку, а не Леру, друзья и подруги объясняли по-разному. Сам Юрка загадочно улыбался: «Эксперимент, брак по расчету. Время покажет, правильный ли был расчет». «О какой цинизм!» – вскрикивали отвергнутые ленинградские девушки (изображали на лицах: не больно-то хотелось). Но однажды на общих посиделках Павел неприятным оценивающим взглядом уставился на Александру и не без ехидства заметил: «А ведь Светка чем-то на тебя похожа». Легкое замешательство промелькнуло в Юркиных глазах, но лишь на секунду, на долю секунды – и пропало, поднёс кулак к Пашкиному лицу: «В глаз получишь...».

И диссертацию раньше всех защитил Юрка – уложился в три года, невиданное дело. Даже руководитель уговаривал потянуть: несолидно в двадцать шесть лет защищаться экспериментатору, это могут позволить себе только математики или отдельные физики-теоретики, да и то редко. Руководитель у него был строгий, замкнутый, никогда не улыбался, даже на защите, когда влиятельные зубры согласно закивали головами, переглядываясь, зашептали: «Несомненно это докторская», – сделал сдержанно-удовлетворенное лицо, а в заключительном слове заметил:

«Ну... мы не оцениваем так высоко наши результаты, однако...». После голосования к сияющему Юрке доковылял на двух коротких костыликах задыхающийся Завадский и прошамкал, тряся большой головой: «Я вот что хочу вам сказать... Послушайте старика, молодой человек: надо переоформить и подавать на докторскую». — «Спасибо за добрые слова, но мне легче через два года докторскую написать, у меня уж много нового наработано», — довольно нагло заявил Юрка. Кто-то из стоящих рядом даже присвистнул. Про два года он, разумеется, погорячился, но в тридцать один уже был доктором. А науку-то настоящую первый бросил. И раньше было понятно, для чего ему была нужна наука, бедному подкидышу из Тайшета, и сейчас, значит, продолжает кому-то доказывать. Все уже признали, согласились: «Доказал, доказал! Хватит уже, уймись. Государственная премия у тебя... что тебе еще надо? Нобеля, что ли? Стал бы членкором... Ну не в этот раз, так в следующий, никуда бы они не делись. А потом, глядишь, и в академики... мы бы гордились знакомством. Как ты нас подвёл. Вот скажи, куда тебя понесло?» А ведь тяжело ему было, наверное, уходить из науки, которая хоть и средство, а все-таки душа прикипает. «Бедный Юрка, бедный...».

Очень явственно ощутила Александра, что отец стоит рядом, за правым её плечом, рассматривает Юркин дом вместе с ней, сдерживает себя, неодобрительно молчит, лишь издаёт иногда раздраженные звуки, такие недобрые хмыканья; ей кажется, она слышит его хриплое дыхание, она не согласна с ним, но не спорит. Вот так — жизнь чудесным образом перевернулась. Ничего чудесного не находит отец в этом перевороте, может быть, даже бормочет: «Слава Богу, не дожил». Что уж с ним спорить. Тень матери снова поминает упущенные возможности и намекает на вечную свою правоту. Александра вспоминает, как мать практически упала в обморок, когда узнала, что Юрку подают на членкорра, села, схватилась за сердце, запричитала: «Дура, какая ты была дура». Но и с ней Александра почему-то не соглашается.

Юрка, толстый, веселый, распахивает руки ей навстречу: «Европейская женщина... ё-моё», — прижимает к себе, шепчет в ухо: «Ага, Пашке первому позвонила, ну погоди... изменщица, годы проходят — ничего в тебе не меняется, душистая, однако. Духи у тебя какие? Не подсказывай, не подсказывай...» — целует в шею, ведет в гостиную. Там, видно, уже давно сидят. Увидели их — вскочили, завопили, кинулись обнимать, а вообще — эффект Мак-Клина в полном разгаре: это когда уровень шума в пьющей компании возрастает неожиданно и мгновенно, достигает невиданных высот и так остается некоторое время, пока не выдыхается, как всякое жизненное явление. Кто открыл этот эффект в студенческие годы, Александра забыла, но вспомнила только сейчас, узнавая с трудом эти старые оплывшие лица. Ничего-ничего: через мгновение они снова становятся молодыми и узнаваемыми, «...друзей моих прекрасные черты», — запел нежный голос. Но вот откуда-то из темноты, из дальнего угла бросилась к ней на нетвердых уже ногах, размахивая восторженными руками, маленькая истощенная старушка, зловеще напоминающая кого-то. Александра обомлела от ужаса и не узнала Лию, и только толчок в бок и подсказка Павла заставили её протянуть к старушке руки. Неужели и мы, и мы стали такими страшными, и почему нельзя ничего сделать с зубами, разве это такая проблема в европейском городе Петербурге?

Толстая женщина в лиловом смотрит из широкого кресла на Александру с улыбкой заговорщицы, белое лицо её тоже кого-то скрывает под набрякшими веками, в обвислостях пухлых щёк, в глубоких складках двойного подбородка. Женщина кокетливо склонила к плечу свежеевыкрашенную каштановую голову, терпеливо ждёт и, не дождавшись, с трудом приподнимает из кресла своё колышущееся тело, надвигается на Александру, распахивает короткие ручки: «Боже, она нарочно

меня не узнаёт, негодяйка такая...» – «Машка? – вопросительно взвизгивает Александра и через мгновение кричит уже утвердительно и торжествующе, – Марыся, ты совершенно не изменилась!» Они обнимаются, отстраняются, рассматривают друг друга, непрошенные слёзки поблескивают в их глазах. Александра отмечает про себя, что, несмотря на обвислости, лицо Марыси всё еще привлекательно – кожа молодая и гладкая, теплые карие глаза сияют весёлым светом, и жизнь, похоже, для неё не кончилась с неожиданной смертью Валерия; всё такая же уверенная, властная, щедрая – одним словом, начальница. Пока их не оттащили друг от друга мужчины, Александра успела узнать, что в институте Мария Васильевна по-прежнему рулит лабораторией, которая ей осточертела давным-давно: надоело для всех выбивать гранты и мотаться по заграницам, в её-то годы, сидела бы у себя в Ушково, среди сосен, почитывала бы чего-нибудь на веранде, нюхала бы левкои, но нет абсолютно никакой возможности, опять же внук у неё в лаборатории, надо ему дисю сделать. «Да кому нужны сейчас диссертации. Говорят, никому они теперь здесь не нужны». – «Не скажи, пригодится... Это здесь они не очень ценятся, безработные доктора убиваются, в прямом смысле, да... не будем о грустном, и жены их бедные плачут, а у вас, кстати, в институте Планка диссертация очень даже может понадобиться, особенно если мальчишке двадцать три. Я его туда хочу пристроить». – «А как, как ты увлекла его, как уговорила заниматься наукой? Они же сейчас какие-то... ну, потусторонние... растут». – «А очень просто. За деньги. Деньги могут всё, не знаешь, что ли. А потом он сам втянулся... он толковый», – хохочет Марыся. На самом интересном месте – на расценках за обычные пятерки, за пятерки экзаменационные, за курсовые, за диплом и так далее – их растащили, как рассаживали в школе болтливых девчонок.

Судьбы России – свежая и новая тема. Орут друг на друга, свирепеют, всё как в молодости. Размазав по стенке тонким слоем всю российскую элиту (новое бранное слово), плавно обратились к проблемам цивилизации вообще. Распались на маленькие группки. Марыся держит Александру за руку, Павел обнимает её за плечи. Не слышат друг друга. Но иногда и слышат. Перебивают друг друга. Кто-то влезает с чем-то неожиданным, ни к селу ни к городу. Эффект Мак-Клина нарастает и бушует с устойчивой силой.

– Только не надо про общечеловеческие ценности.

– Почему не надо?

– Потому что нет у человечества этой вашей хваленой общности. Вы сначала создайте эту общность, тогда и про ценности говорите.

– Ну конечно, сейчас ты заведешь эту шарманку про золотой миллиард, который день и ночь соображает, как бы уничтожить остальные никчемные миллиарды, сидит, золотой и коварный, и чертит гнусные планы.

– Нет, ребята, весь вред от религий, запретить все религии, и дело с концом, жили мы без религий – и была дружба народов, причем настоящая: куда ни поедешь, всюду к тебе кидаются с дружбой.

– Тогда его спрашивают, а методика у вас какая? А он отвечает, эдак подбоченясь, интуиция – вот моя методика, собрал свои бумажки и к выходу идет, не оглядываясь. Министр так и обомлел...

– Атеистический терроризм мы уже проходили.

– Но согласись, он все-таки не такой кровавый, как мусульманский.

– Но уж очень настырно лезут православные и сладкие...

– Стоп, здесь есть православные, папашу...

– Лукашенко замечательно сказал: «Да, я атеист, но я православный атеист».

– Да это анекдот.

– Марыся, ну ты же не можешь его уволить, как он будет на пенсию жить...

– Да я его уже знаешь сколько держу. Мы же из-за него грант не получили.

- Так ведь он прав был, вы же сами понимали, что это очередная панама...
- Да, панама, но жить-то надо. Я сама иногда такие отзывы пишу – ой-ё-ёй, плююсь, возмущаюсь, но перекрещусь – и пишу. Ты не понимаешь, ты жизни нашей не знаешь: абстрактная научная правда может быть в прямом смысле губительна.
- Да-да, мы это уже слышали, абстрактные человеческие ценности...
- А вот я тебе расскажу, как я на байпас Савчуку деньги выбила, как мы собирали всем миром – это какие человеческие ценности? Абстрактные или конкретные?
- Ну хорошо, ну ты согласен, что даже слова эти, «либерализм», «демократия» или, извините за выражение, «права человека» – стали отвратительны?
- Так нас оклеветали. Кому-то это выгодно.
- Повели себя как вольноотпущенники...
- Ты хочешь сказать – как быдло?
- Если тебе так нравится...
- Юрка прав, опять попёрли буераками, по бездорожью, особый путь, ё-моё, самобытность долбаная – нет чтоб на людей посмотреть...
- Откуда они взялись, мутанты эти, менеджеры с бойкими глазками, менагеры шустрые, готовые рулить всем, на чем можно бабло срубить? Срубить по-быстрому и свалить с добычей. «Долой вечное!» – это их мотто, слоган.
- Лия, оставь Серёгу. Чего ты к нему вяжешься. Ты ему кто теперь?
- Я хочу, чтобы у моих внуков был дедушка, чтобы у них был комплект. Ему вообще нельзя ни капли, это вам на всё наплевать и друг на друга. А ему я бабушка его внуков. Понятно тебе? И вообще – не вмешивайся.
- Пашка, ты хоть представляешь, какие у нас децильные коэффициенты? Ты мне еще Москву приведи в пример.
- Не ори на меня...

И вдруг все объединяются, начинают поносить эмиграцию. Ага, бросили нас. Захотели в чистенькую Европу, в богатенькую Америку. Вот Петька остался в Беркли, людей подвел, это порядочно, да? А другие воспользовались своей формальной национальностью. Ну да, а бросить Петра, когда его сократили и он арбузами торговал, это порядочно? А не надо директорам грубить. Кто его бросил, кто? Пашка его, можно сказать, облагодетельствовал, устроил в Политех. На него рассчитывали, а он как раз всех и бросил, арбузы эти не простил. Да, не простил, не простил вам эти самые арбузы, а теперь у него сто тысяч в год. Предатели, предатели – вот вы кто. Но через пять минут разговор поворачивается. Александра разомлела и восхищается: «Ах, как у вас тут замечательно, какой все-таки фантастический город, центр отреставрировали просто блестяще, и какое это счастье понимать каждое слово в толпе». – «Нешто ты забыла эти слова? Вот уж нашла удовольствие... В толпу ей захотелось, молодых дебилов послушать...». – «Действительно, без мата они не говорят», – подтверждает Марыся. «... И быть с вами... Вот сделаю ремонт в квартире и буду тут жить, вы ведь живёте – и я буду, а дети пусть там кувыркаются». Сначала друзья слушают и похвально кивают головами, потом вдруг дружно и возмущенно накидываются на неё, всплескивают руками: «Да ты в своём уме, девушка? Не наливать ей больше: видите, совсем крышку сносит. Сиди уж где сидишь, в гости приезжай, и мы к тебе тоже прилетим, обратно же в Баден-Баден смотаемся, недалеко ведь от тебя Баден-Баден?» – «Да, совсем недалеко». – «Ну вот, а ты говоришь... сиди уж. Знаешь, как на Лизочку среди бела дня напали». И начинаются описания ужасов бандитского Петербурга. «Пустьяки, – не унимается Александра, – кому я нужна, а зато ни в одном городе нет такой реки, нет такого неба ни в одном городе, когда мы с Павлом сейчас ехали через Кировский мост – Троицкий теперь, да? – такие цветные тучи клубились над Петропавловкой, невообразимой красоты небо...» – «Ну, небо здесь,

положим, преимущественно серенькое». – «Сам ты серенький». – «Видали: приехала и грубит». – «Да мы ведь действительно по сторонам не смотрим, а уж на небо...» – примирительно вякает Лия и почему-то взглядывает на Марысю. «Я когда приехала из Парижу, помню, и попала прямо в белую ночь, – вступает Мария Васильевна, – меня еще Валерка встречал...» – «Патриотические речи запрещены, запрещены Думой в первом чтении, дабы не разжигать эту... ну, чё у нас разжигают? Ну, эту, как её. Рознь».

Но какая-то психологическая загадка продолжает томить души друзей: ну хорошо, мы тебя простили, а как все-таки ты решилась, как это все вызревало в твоей дурацкой головке... Юрка придвигается к ней, оттирает в сторону Павла, гладит по голове, заглядывает Александре в глаза:

– Ну чего ты, Санька, уехала, чего тебе здесь не хватало? Все у тебя было...

– Ну да, квартира, машина, дача – полный набор...

– А что, много ли человеку надо? Все ведь у тебя было, и заработать могла. Я бы тебя к себе в фирму взял – знаешь, какие мы проекты закручиваем.

Александра вдруг серьезно задумывается и честно признается, что просто хотелось что-то изменить в своей жизни, – хотя да, действительно, все здесь было... но в какой-то момент вдруг поняла, что это именно – всё, ничего нового уже не будет, и вдруг захотелось – ну да, рожна какого-то... но «ты этого не поймешь».

«Ну почему же? Это, пожалуй, я понимаю, – грустно говорит Юрий Сергеевич, и тоже очень серьезно. Замолкает, думает о своём и добавляет: – Вот это я как раз понять могу. Верю я тебе, хлопец, верю. А вот у меня есть гениальная идея...». Рука его со сжатым кулаком победно взлетает вверх, пальцы медленно разжимаются, расправленная ладонь некоторое время парит над изрядно разоренным уже столом и вдруг безошибочно выхватывает из центра стола непочатую бутылку «Абсолюта».

Павел прикрывает рюмку ладонью, но Юрка неумолим: «Не говори с тоской – не пьем, но с благодарностью: выпьем», – разливает ледяную водку. «На здоровья!» – весело восклицает абсолютно чужой человек, сидящий напротив, никому не нужный здесь иностранец. Это он Александре не нужен, а для Юрки он инвестор. «Со свиданкой», – говорит инвестор и подмигивает непонятно кому – глаза его уже давно ни на чем не фокусируются, отводит локоть, лихо опрокидывает рюмку, бурно дышит – так, видно, его научили соискатели инвестиций, сосредоточился, целится в солёный гриб, промахивается, снова целится – настойчивый, наконец подцепляет за краешек и забрасывает в рот, торжествуя чмокает. «Ты молоток, Билли», – бьет его по плечу Сергей. «Что такое значит – молоток?» Сергей объясняет, что это, мол, хороший человек, наш человек, тянется за бутылкой и снова наливает рязмякшему инвестору. «Оставь его в покое», – тихо шипит Лия, надо отдать должное: она еще из последних сил старается контролировать ситуацию, хотя вид её удручающ – в глазах бледных губ застыла какая-то пена, липкие сероватые пряди повисли вдоль ввалившихся щек, жесты неточны и порывисты, да и язык слегка заплетается; но слез еще нет – или уже нет, помнится, раньше на этой стадии у неё начинались рыдания о загубленной жизни, может быть, сейчас, когда ни у кого уже нет по этому поводу сомнений – ну, загубленная, у кого она не загубленная – слезы кончились, выплакались окончательно. Ничего ведь не изменишь. Кажется, с Сергеем у неё сохранились вполне дружеские отношения, общие дети и четверо общих внуков – это кой-какие права, поболее, чем у его новой жены.

– О! Только не надо нас пугать, кто эти люди, кто эти оккупанты? – вырывается из общего шума чей-то голос.

Инвестор потянулся через стол, схватил Александру за руку, по-видимому, считал её своей, так ему показалось, выкатил глаза, зашептал с детским ужасом: «Россию оккупировали патриоты?» — «Да нет, вы не поняли. Антипатриоты». — «Это какие?» — «Те, кто не любит Россию». — «Ваши друзья не любят Россию?». — «Любят, конечно...» (Александра немного запинается: она не уверена, можно ли так употреблять этот глагол, но ведь употребляют). — «И поэтому они её оккупировали?» — «Да нет же они просто здесь живут». — «Но кто же оккупировал?»

«О Святая Богородица! — взвыл Сергей и сделал такое движение, как будто рвёт последние седины, — идиоты её оккупировали. Вот кто. Устраивает?»

«Далеко не идиоты, скажем так, совсем не идиоты», — возражает голос. Кто это, Александра уже не понимает и не делает усилия понять. Кто-то еще пришел в гости. Чужие люди. Она их не знает или не узнаёт. Иностранец растерянными глазами продолжает искать понимания. Марыся, лениво растекшаяся по креслу в своём лиловом балахоне, оборачивается к нему, говорит нежно, проникновенно, как психоаналитик с клиентом: «Дорогой Билл, никого не слушайте: никто, слава Богу, не оккупировал, это такая метафора...». Билл лепечет: «Мета? Мета? Чиво?» — шумно выдыхает, всхлипывает, откидывается на спинку дивана, закрывает глаза и, кажется, отключается. «Шурочка, его надо уводить» (это голос Юрия). При попытке увести инвестора он неожиданно воскресает, отбивается, поднимает голову и заводит на непонятный мотив: «Наши калашки чудно ха-а-а-раши». Что это за калашки? Может, автоматы? Калашникова? Да?

Нарастающий абсурд делает мир прекрасным, восхитительным, нестрашным, время исчезает навсегда, перестает тикать и гипнотизировать, отлетает в небесную даль, где никогда не будет уже ни обманов, ни измен, никто никого не бросит и не предаст... Бесконечная вселенная сжимается в просторный шар, залитый теплым переливающимся светом, где все навеки вместе.

Несмотря на исчезновение времени, благодать и невообразимый покой длятся недолго и сменяются какими-то душными вязкими волнами. Они вздымаются и опадают, раскачивают ритмично нелепое жалкое тело, возвращают на постылый берег.

Александра давно уже чувствует, что предел её сил совсем близко, к горлу подступает неотвратимая мерзость. Лица друзей дрожат перед глазами, и очертания их размыты, в воздухе плавают, отдельно от тела, улыбающаяся голова инвестора, сквозь неё легко проходит чья-то рука с вилок, замирает над столом, что-то выискивает, нашла, хищно протыкает, исчезает с добычей. Нужно как-то выбраться отсюда. Александра потихоньку передвигается к краю стола, пытается встать — нет, не получается, её слегка заносит. Молодая жена Юрки оказывается рядом, подхватывает её под руку, обнимает за талию (какая милая), доводит до ванной. Только бы дотерпеть до унитаза. Она опускается на колени, чья-то рука поддерживает её лоб, как бабушка в детстве. Страшные и унижительные спазмы, выворачивающие душу, набегают волнами, сотрясают тело. Какой позор, какой ужас: может быть, это такая инициация для всех возвращающихся в родные края, такой жестокий ритуал, здесь такие края: нужно испытать боль и несмыываемый позор. Очень даже смыываемый. Бурный поток обдаёт лицо ветерком мельчайших брызг, и уже можно дышать. «Ну вот, сейчас всё пройдёт», — говорит участливый голос. «Как её зовут? Да так же, как и меня. Шурочка — вот как называл её Юрка». Шурочка вытирает ей лицо мокрым полотенцем и усаживает на узенький диванчик. У них тут диванчики в ванной... и зеркала во всю стену... как у Павла... давно. Сознание проясняется, но только на мгновение, глаза сами собой закрываются, тошнотворная тьма начинает вращаться, сначала медленно, но постепенно набирает невероятную, безумную скорость. «Это конец», — отчетливо и удивительно спокойно думает Александра и больше не сопротивляется.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. **ВДОЛЬ ИЛИ ПОПЕРЕЁК**

Из беспокойного, жуткого, но поверхностного сна Тину вырывает звонок. Не сразу понимает, что это телефон, – кажется, что продолжение сна, спохватывается, судорожно ищет трубку – да вот же она, дрожащими руками случайно нажимает громкую связь и просыпается окончательно. «Андрей, Боже, что, что...?» – «Всё нормально, мама...» – «Ты соображаешь, который час?» – «Соображаю. Извини, тут такое дело...»

Он мог бы и не объяснять. Она догадывается сразу: ему нужны деньги, как всегда, деньги. Срочно. Зависит жизнь. Тина пугается, но уже привычно: так не раз уже было. Но все-таки немного страшно. Ну, не убьют же его, на счетчик ставят только в дурных фильмах, не те времена нынче: такую мелочь теперь не убивают – теперь заместителей правления банков убивают или губернаторов каких-нибудь, организованная преступность по-настоящему организовалась – ну, наконец-то, так долго ждали – и даже подавляет неуправляемых отмороzków, а маленькие мастера перфомансов никому не нужны. Однако страшновато. Дурные сны хуже дурных фильмов. А ведь только что снилась какая-то гадость: безликие чудища, то есть лиц у них не было – только руки – просовывали тонкие ножи, длинные лезвия в щели мчащегося вагона, старались до неё добраться, да, она находилась в каком-то несущемся в темноте вагоне, прижималась к грязному полу, чтобы лезвия просвистели над головой, и вдруг оказывалось – это не она, это Андрюша вжимается в грохочущий пол, и его бьет огромный ботинок, Андрей закрывает голову руками, кричит, воет, зовет на помощь, и она всё это видит, но поделаться ничего не может: непонятно, почему, не может пошевелить рукой, не может издать ни единого звука: она превращается в огромный глаз или в изнуряемый его криком слух, нет ни рук, ни ног – ничего нет, кроме страха. Больше ничего не помнит – только страх и беспомощность.

Постепенно приходит в себя, тяжело приподымается, садится на постели, отбрасывает одеяло, очень медленно опускает ноги; пульсирует кровь в затылке, подташнивает, нащупывает таблетку, тянется за стаканом, тяжело глотает, боль в горле – этого еще не хватало. Но главная боль в голове. Привычный массажный пробег пальцев от затылка к вискам, над ушами, вокруг, несколько раз. Замирает, ждет, никаких резких движений. Сжимает мобильник, безнадежно нажимает единицу. Ну конечно, ничего удивительного: «Абонент временно недоступен, позвоните позже».

За дверью шуршание и позвякивание, колесо ходунков просовывается в дверь, скрюченные пальцы держатся за притолоку: «Кто звонил, Валечка? Паша?» – «Нет, Марина Сергеевна, идите к себе». – «Но с кем же ты разговаривала?» – «Ни с кем». – «Вы со мной обращаетесь, как с сумасшедшей». Та-а-ак, начинается... Тина прикрывает глаза, стараясь не поворачивать голову, накидывает халат, проходит мимо старухи, запирается в зеркальной ванной, открывает кран, пускает холодную воду, прижимает ладони к лицу и глазам – становится немного легче, в голове проясняется, – сидит на краю ванны, закрыв глаза, – холодно! прибавляет понемногу горячую. Напустить бы полную ванну прекрасной теплой воды, заснуть и не проснуться. Один знакомый врач говорил, надо резать вдоль вен, а не поперёк, как делают все жалкие неудачники, притворные самоубийцы, – тогда точно не спасут.

У Андрея несколько поперечных шрамов.

За дверью металлическое дребезжанье, визг резиновых колёсиков, ручка двери поворачивается. Старуха колотится в дверь, жалобно просит: «Валечка, открой,

что ты там делаешь так долго? Открой немедленно, перестаньте меня пугать, наконец, за что мне эти мучения...». Неужели те же мысли пришли в голову безумной старухе. Не такая уж она безумная. Первый раз это произошло в этой ванне. Хорошо, что Павел был дома: он умел в страшные моменты собираться и крови не боялся – быстро перетянул где надо. «Грамотно, очень грамотно», – сказал врач, и «Скорая» приехала через двадцать минут. И санитары были трезвые, и молодой врач – спокойный, деловой и, судя по всему, толковый. «Так всё удачно сложилось», – говорила потом Марина Сергеевна кому-то по телефону, на следующее же утро, – сразу доложила каким-то своим подружкам, всех обзвонила. Тина плохо помнит, что она сама делала, не смогла бы описать даже свои ощущения, свои «чувства». «Отстань от меня со своими чувствами», – говорил Андрей, когда был мальчишкой. (Теперь он использует другие формулировки: «Не говорите мне, что я должен делать, и тогда я не скажу, куда вам надо идти» – язык дружков, «падонкоф»-переростков, усвоил.) Помнит, что двигалась в обморочном тумане, помнит запрокинутое мокрое лицо Андрея, очень белое лицо – смертельная белизна, слипшиеся волосы, запавшие щеки. Несли на носилках, рот его был приоткрыт, некрасиво скособочен, виднелся кривой зуб, слюна стекала по подбородку, безжизненная рука упала, закачалась на весу, кто-то поправил, прижал к телу, пошел рядом с носилками. Соседи высыпали на площадку – ночные мятые лица, чужие, посторонние и злорадные глаза. С трудом вырвалась из Настиных рук, бежала по лестнице вниз, вслед за ушедшим лифтом, носилки косо, но поместились в лифте, слышала бодрые голоса санитаров: «Ещё чуть-чуть, осторожненько, вот так, а теперь на себя, отлично, прекрасно...»; – что-то кричала. Павел у самого выхода схватил её, крепко держал – потом синяки остались на руках, не пускал на улицу – санитары уже занесли носилки в машину. «Спокойно, Тина. Успокойся, я поеду с ним, обещаю, а ты поднимайся наверх. Поднимайся наверх, ты слышишь меня, поднимайся наверх и жди, я буду звонить каждый час, обещаю...» Затолкали вместе с Настей в пасть лифта, и в лифте она обмякла, затихла, позволила Насте укутать себя в плед и обнять, молча прошла мимо расступившихся соседей. Уже вставив ключ, Настя оглянулась: «Представление закончено. Можете расходиться».

«Валечка, открой мне дверь, я требую». Господи, она перебудит девчонок. Надо выходить. «Ну в чём дело, Марина Сергеевна? Что случилось-то?» – «Ничего не случилось. Имею я право воспользоваться ванной?» – «Да пользуйтесь сколько влезет». – «Ты грубая стала, Валечка. Да! Я тебя совсем не узнаю». – «Станешь тут с вами...»

Заснуть уже не удастся, но можно сделать какие-нибудь полезные дела, пока не проснулись девочки. Тина ставит вариться овощи для винегрета, достает мясо из морозилки, загружает бельё в стиральную машину, снова набирает номер Павла – «абонент временно недоступен» – прислушивается: кажется, старуха угомнилась, подходит к её комнате на цыпочках, но не заглядывает, и вдруг слышит громкий шепот: «Валечка, это ты? Зайди ко мне». У неё еще и слух великолепный. Как это может быть в её годы? Молодые позавидуют. В своё время извела Павла своим слуховым аппаратом: столько денег потратили – так и не смогла носить. Но то, что ей надо услышать, все слышит. Ничего неприятного слышать не желает, и не втолкуешь, даже если напишешь аршинными буквами. Еще и объясняет. «Я очень эмоционально устроена. Ничего поделать не могу. Так всегда было». Слух у неё эмоционально включается и... выключается. И некоторые органы тоже.

Марина Сергеевна лежит на высоких подушках. Окна закрыты плотными, тяжелыми шторами. Душно, пахнет пылью и какой-то кислятиной. На прикроватной тумбочке бутылочки, большие и маленькие, тарелка с остатками еды, какие-то засохшие огрызки, ошметки. Неприятный запах вздорной и несчастной старости.

«Валечка, мне кажется, кто-то постоянно не закрывает входную дверь. Ко мне заходит эта женщина». – «Какая женщина, Марина Сергеевна?» – «Ну эта... бездомная, должно быть. Садится вот тут. Скажите ей. У меня узкая кровать, мы не поместимся, я не могу ей помочь, говорит, что ей негде голову приклонить. В конце концов, это просто невыносимо. Существуют специальные службы для таких... Объясните ей: я ничего не могу для неё сделать, мне её искренне жаль, но я сама...» – «Да-да, обязательно, конечно, как можно, я сейчас же с ней поговорю». – «Ты не забудешь?» – «Я же сказала: сейчас и поговорю, где она, кстати?» – «Да вот как ты зашла, она юрк... и вышла – за дверью, видно, дожидается». – «Ну хорошо, я всё улажу». – «Может быть, попросить Павла...» – «Не будем его беспокоить, я как-нибудь сама, а вы закройте глаза и постарайтесь заснуть, уже почти утро». – «Уже утро... – повторяет Марина Сергеевна покорно и всхлипывает, – посиди со мной». – «А вы закройте глаза». Марина Сергеевна послушно закрывает глаза – несколько свистящих вздохов, и через минуту она спит. Тина недолго сидит на краешке кровати, дожидается равномерного похрапывания и на цыпочках выходит. Кажется, пронесло. В прошлый раз, когда старуху позвал тоскующий муж, Павла тоже не было дома. Впрочем, почти каждую ночь разыгрывается новый спектакль – правда, есть повторяющиеся персонажи: бездомная женщина появляется почти каждую неделю, но чаще всех звонит по тайному, никому не слышному телефону далекий муж, причем ночью, и, кажется, не всегда один и тот же. Услышав зов, Марина Сергеевна со всеми предосторожностями вытягивает из-под кровати заранее приготовленный тайный чемоданчик, загружает его в корзинку своих уличных ходунков – бывает, что успевает выскользнуть из квартиры и спуститься вниз на лифте. Тина мчит за ней в ночной рубашке, в развевающемся халате, догоняет почти на трамвайной остановке, они рвут друг у друга чемодан прямо на трамвайных путях, из чемодана вываливается скомканное тряпье. Несчастливая старуха рыдает. Две всклокоченные женщины, безумные и старые, никому не нужные, сражаются на пустой улице, иногда лишь отодвинется занавеска в бессонном окне, и мелькнет за стеклом белое и тоже старческое лицо, а больше никто их не видит – только сама Тина представит потом, как, наверное, дико и нелепо они выглядели, две дерущиеся распатланные старухи, и зажмурится от бессилия и отвращения. Но это потом, уже в квартире, на пороге которой стоит Настя со своими ненавидящими глазами, со своими обнявшимися, перепуганными девчонками, когда удастся уговорить старуху – то ласками, то сказками – вернуться. В первый ночной побег, поймав беглянку уже на проезжей части, Тина, плохо сдерживая злобу, кричала: «Никакого мужа у вас нет, Марина Сергеевна, пошли домой». – «Это у тебя нет, а у меня есть», – ехидно, со значением отвечала старуха (знает, всё знает, еще и улыбается) и чемоданчик не выпускала. Простонародные соседки, к которым Марина Сергеевна спускалась в теплые дни и демократично усаживалась с ними на лавочке у подъезда, были совершенно уверены, что где-то действительно есть у неё муж, но жестокие дети не желают его прописывать в квартире и её к нему не пускают, всячески препятствуют их последней любви. Верили, качали головами, поддакивали, вякали что-то сочувственное, ждали своей очереди рассказать про своих детей – пьяницу зятя и хамку невестку, про бездушное молодое поколение. Постепенно Тина научилась вести свою роль с холодной головой, терпеливо слушать, даже поддерживать разговор, не раздражаясь, не срываясь на крик. В последний раз было достаточно доброжелательно заметить, что нельзя к мужу, особенно после долгой разлуки, отправляться в таком неухоженном виде, с некрашеной головой: «Я сама вас завтра и покрашу». – «Не верю я в эти краски, все они – поддельные, вот раньше были болгарские...» – «У меня есть настоящая, новая краска, немецкая, абсолютно настоящая, прямо из Германии, мне подарили...»

Что удастся придумать в следующий раз, и каким он будет, этот следующий раз, – лучше не думать.

Тина снова набирает телефон Павла – нет, сам телефончик не набирает, она лишь нажимает единицу, он у неё в памяти под первым номером, телефон нежно телепенькает – «абонент временно недоступен». Самый главный, самый первый номер недоступен. «Временно» – это успокаивающая формула.

«Не говорите мне, что я должен делать»... – однако когда припечёт, звонит родителям. И Тина счастлива, что звонит. Павел как-то попробовал по-своему закончить фразу, вернее, попробовал вступить в диалог: «Тогда и я скажу, куда тебе, именно тебе, следует идти», – так Андрей вылетел из квартиры, сдернув с вешалки куртку, а шапку забыл. Понесся прочь, выплевывая проклятия, исчез надолго. Искали его потом по друзьям и подругам, пока одна не сообразила: «А, так это Рюха, что ли, который передознулся?» Встретилась с этой погибшей девушкой, принесла ей деньги «мне на лекарства маме» – понятно, какие лекарства. Но девушка помогла, привела к Андрею в какие-то смрадные трущобы. Посмотрел на неё застывшими глазами: «Зачем явилась? Разве я тебя звал?»

Унижениями и слезами уговорила вернуться. Только через полгода переступил порог их дома. Вернулся с новыми поперечными шрамами (от запястья почти до локтя), худой, страшный, молчаливый и равнодушный. «В следующий раз по моргам будете искать». Лицо тёмное, в глаза не смотрит. Умоляет Павла оставить Андрея в покое, не учить, не советовать – боялась, что снова уйдет. Пусть успокоится, отдохнет, начала кормить как маленького ребенка, закармливать, готовила для него что-нибудь необычное – разрешал, безразлично пожимал плечами, пугало отсутствие эмоций, лицо его часто напоминало ей маску – без улыбки, неживое. Внушала Павлу, что ничего не остаётся – только отступление по всем фронтам, как учил один мудрый педагог. «Ну хорошо, отступили мы, – спрашивал Павел, – а дальше-то что?» – «Ждать, терпеть и ждать, он такой, он гордый, видишь, не просил нас о помощи». – «Гордый? Не смей меня... Гордый? Да он просто забыл, что мы существуем. А теперь вот вспомнил. Сообразил, что и с родителей можно кое-что слупить».

Потом наступил просвет: галерея на Староневском продала его картинку. (Павел: «Ну, не перевелись еще сумасшедшие дураки».) Он откормился, снова стал красивым, обаятельным. Появилась эта галерейщица, удачливая, деловая, как с неба свалилась, пригрела, устроила ему отдельную мастерскую. Компания уже была другая. Конечно, многие на «колесах». Травка – это уж обязательно, может быть, кое-кто и колосся, хотя Андрей и отрицал, но не уголовники же – просто такая мелкая богема. Придумал хеппенинг с белыми платьями. (Или все-таки перфоманс?) Увлёкся. Взял кредиты. Галерейщица уболтала спонсоров. Белые платья сбрасывали с вертолёта над Невой, они нежно распускались в воздухе, как белые небесные цветы, кружились над водой и мокрыми бесформенными тряпками уносились под мост. Публика от восторга бесновалась на берегу. Молодые, незнакомые, большие существа; вскидывали руки, раскачивались, вопили дикими голосами под безумный биг-бэнд. Московским режиссером была поставлена настоящая русская драка. С кровью. Иностранцы непрерывно снимали. Появились статьи в Германии, фотографии и документальный фильм про новый авангард Петербурга. Заработали кое-что, у Андрея появились визитные карточки с золотыми буквами на двух языках, галерейщица, представляя его спонсорам, с гордостью говорила: «Мастер российского хеппенинга и лучший современный инсталлятор».

«Дай ей Бог здоровья. Может, всё и наладится у него. Пусть уж она будет рядом. Дай ей Бог здоровья. У мальчика дело появилось, он увлечён...» – шептала Тина.

«Да ладно тебе. Какое дело, о чем ты говоришь?» – раздражался Павел.

«Кто-то поверил в него, поверил, что он талантлив, не имеет значения, сколько ей лет, не приноси мне эти сплетни». – «Это не сплетни – это, к сожалению, факты». – «Все равно: у нас не хватило терпения, а у тебя не хватило любви, нашлись люди, которые что-то увидели в нём – кому-то, значит, нужны эти хеппенинги, раз за это деньги платят». – «Да ты хоть понимаешь, что это такое? Это же чушь собачья. Делай что хочешь и называй это "хеппенингом" или "перфомансом" – кому какое слово больше нравится. Ерунда всё это». – «Ты нарочно хочешь казаться старомодным, мерзким, самодовольным». – «Никем я не хочу казаться. Просто у меня мозги есть». После долгого молчания Тина спрашивала осторожно: «А сколько ей лет все-таки?»

То, что галерейщица родила девочку, донесла Настя, давно, как бы между прочим, за обедом, когда – редкий случай – они втроем сидели за столом.

«Ты хочешь сказать, что она родила Андрею дочь?» – уточнил Павел.

«Ну да. Вы что, не знаете? Они уже два года живут вместе». – «От нас требуется какая-нибудь реакция? Во всяком случае, Андрей должен сам об этом сказать».

Настя только пожала плечами.

Потом уже были неудачи. Кредиты не вернули. Андрей требовал продать дачу.

«Продавайте, пока люди деньги хорошие дают». Стыдная ссора случилась у Насти с Андреем. Настя плакала: «То есть как продать дачу, а дети? куда детей летом девать? а бабушку?» – «Детей к папочке, на Западное побережье – или где он там обретается, они будут безумно счастливы, гарантирую». – «А бабушку, значит, к бабушке, на Северное, но кладбище?» – «Хорошая, здравая мысль». – «Подонок!» – «Жалкая кретинка».

Через несколько месяцев Андрей произвел первую акцию: выкрал из стола Павла какие-то бланки, образцы подписи и печать (сейфа еще в кабинете не было) – неясно, для чего, вроде бы никак не успел воспользоваться, бормотал невнятные оправдания. Тогда еще было у Павла своё малое предприятие: все, кто мог, открыли простенькую схему перекачки бюджета. Институт зарплату практически не платил, но людей содержать надо было (так оправдывались начальники) и выполнять договора. Ну и другие возможности открылись у владельцев счетов и права подписи, а также откаты, накаты, но главное – фокусы с наличкой (запутанное время, дикое, страшные соблазны, никто не преодолел). Был скандал. Павел пытался отобрать ключи. Андрей печать и бумаги вернул, с ключами ушел и появился в квартире время от времени.

Тина снова пытается дозвониться до Павла. При первом звуке бездушного приветливого голоса отключается.

Перед глазами встаёт сцена: раздраженный герой сериала выбрасывает в окно мобильный телефон.

Тина подходит к зеркалу в прихожей, криво сама себе улыбается: так она никогда не сделает, никогда не позволит себе такой естественный, нерасчетливый жест, а ведь как иногда хочется...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. УТРО ТУМАННОЕ

За окном уже светло и туманно. Тина чистит овощи с закрытыми глазами. Невыносимо хочется спать. По коридору проносится детский топоток – это Сонечка пробегает в ванную, потом сердитый голос Насти – вытаскивает из постели огрызающуюся Ирину. Тина с трудом поднимается, опирается на стол, хватается за стулья – её ощутимо качает, расставляет на столе чашки, включает чайник, собирает очистки, выбрасывает в помойное ведро. Настя заглядывает в кухню: «Привет. О,

винегрет, что ли? Отлично. Ну как ты?» Тина трет лоб, качает головой, хочет промолчать, но говорит: «Совсем не спала». Настя хмыкает: «Было у тебя такое утро, которое начиналось бы с какой-нибудь другой фразы?» Прочь обиды, нельзя ответить обиженным голосом. Поворачивается к Насте спиной, молча достает из холодильника масло, творог, сливки и долго там что-то переставляет: нельзя с утра заводиться, нельзя ссориться с Настей. Но, как назло, Настя сама начинает каждодневный неприятный, непрекращающийся разговор – издали, не прямо, намеками и фразами, непонятно к кому обращенными, – об эгоизме старости, о невозможности жить в этой дурацкой квартире, т.е. в одной комнате с девочками, когда бабушка занимает две огромные комнаты, причем самые лучшие, самые светлые комнаты. Тина коротко замечает: «Это её квартира, она всегда жила в этих комнатах», – спохватывается, замолкает, мелко-мелко режет морковь, вспоминает об Андрее, думает, как подступиться к главной просьбе – хорошо, что хоть не напомнила Насте о том, как они продали свою кооперативную перед отъездом в Штаты, а потом все сорвалось, то есть Настя сорвалась, выгнала своего ловеласа, не захотела терпеть, а денюжки все куда-то мигом исчезли, притом чьи денюжки, они даже не вспомнили. Да что уж говорить – обо всём говорено-переговорено. Наконец выдавливает из себя: «Андрей просит...», – видит негодующие глаза Насти и замолкает.

«Мама, я ничего ему больше не дам: во-первых у меня нет, а со счёта я снять не могу, ты прекрасно знаешь. А даже если бы и было... за ним еще старый долг, он же врёт как дышит, неужели вы всё еще верите». – «Настя, это же твой брат». – «К сожалению. Если бы можно было выбирать, выбрала бы себе что-нибудь получше». – «Ты бы и родителей выбрала получше». – «Да, и родителей». – «Что-то у тебя с выбором мужа тоже не заладилось, уж тут ты могла выбирать...»

Настя лучше владеет собой, не отвечает – только резко отодвигает чашку, встаёт из-за стола, лицо холодное, напряженное – сдерживается, заворачивает бутерброды для Сонечки, укладывает в коробочку. Сонечка смотрит на всех круглыми глазами, моргает, готова заплакать.

В кухне появляется Ирина, хмурая, волосы всклокочены, лицо отрешенное, рот разрывает зевота, еле переставляет ноги, ни на кого не смотрит.

– Может быть ты все-таки поздоровалась? – говорит Настя.

– И не подумаю, – отвечает дитя, берет стакан, набирает воду прямо из-под крана.

Настя вырывает у неё стакан, протягивает бутылку с минеральной. Ирина, глядя матери в глаза, разжимает пальцы, пластиковая бутылка тяжело, без звона, падает на пол, закатывается под батарею.

– Подними, дрянь!

– И не подумаю. Я сегодня невменяемая. Я... это, типа предупредила.

Поворачивается, идет в ванную. У Сонечки дрожат губки и катятся слезки. Тина прижимает её к себе и чувствует, что сама сейчас заплачет. Нет, нет. Надо терпеть.

Настя, я же прошу буквально на один день – просто до отца не могу дозвониться.

– Ну, это еще не факт, что он побежит спасать твоего ненаглядного сыночка, ну хорошо, хорошо, своего изовравшегося отпрыска. Почему же ты за отца решаешь? Очень удивлюсь, если он даст.

Квартира затихает. Настя с Сонечкой, наконец, ушли – проскрежетал вниз лифт, Марина Сергеевна спит, одурманенная своими пилюлями, Ирина уже весело болтает с кем-то по телефону, хихикает, потом появляется в кухне, личико чистенькое, умытое, волосы гладко зачесаны назад, собраны на затылке в тугий хвост, джинсики, свитерочек, глазки сияют умильно: «Тин, мне надо триста рубликов, ну минимум, мы с девочками идем после практики в "Саквоаж", меня эта (надо

понимать, что Настя) теперь не спонсирует». – «"Саквояж"? Что это такое – "Саквояж"?» – «Ну кафе такое – "Саквояж для беременной шпионки" – так называется». – «Для беременной? Почему для беременной?» – испуганно интересуется Тина. «Ой, ну что за вопросы – прикол, понимаешь ты, просто прикол». – «Ну хорошо. А почему же ты не в школе?» – «Ну, Тин, я же говорю, сегодня практика – какая школа». Тина вздыхает, тяжело поднимается, уходит в спальню, возвращается, молча протягивает девочке веером шесть голубоватых бумажек. Ирочка подпрыгивает на месте, вытягивает губы трубочкой, целует воздух: «Ты единственная прелесть на свете», – хватая со стола бутерброд и яблоко, делает еще несколько ликующих подскоков и улетает в свою комнату.

Тина достает свой телефончик, нажимает единичку – никакого ответа, все тот же нечеловечески любезный голос оповещает о тотальной недоступности первого номера; потом нажимает двоекку:

– Андрюша, я не могу до отца дозвониться. Он вчера в Сосновом Бору остался, а теперь не отвечает.

– Знаем мы этот Сосновый Бор.

– Подожди, не злись, у меня вот наскреблось две тыщи – может быть, ты объяснишь им...

– Ты издеваешься, что ли? Двух штук не хватит даже на проценты. Ведь есть же у Настасьи подкожные, я точно знаю. Я отдам, я всё отдам, мне буквально на месяц, мне фонд Чурлёниса даёт, уже отправили, я конкурс выиграл, – кричит, срывается на визг, – ну что вы за люди такие, родственнички называются? Полезай в петлю, да? Ведь есть же у Настьки... Сама говорила.

При этом Тина явственно слышит какие-то весёлые голоса, даже хохот, играет музыка. Почему там смеются? Может быть, опять придумывает на ходу, как всегда. Веселит друзей. Какой-то мифический фонд Чурлёниса. Наступает пауза, Андрей, возможно, прикрыл трубку ладонью. И вдруг совершенно спокойным голосом говорит:

– Ну ладно – вези.

Тина старается не заметить, что Андрей даже не извиняется, не объясняет, почему сам не может приехать, почему мать с больными ногами должна ему везти деньги куда-то на край света. Тина просто радуется, что он уже разговаривает другим голосом, что закончился злобный визгливый крик. Совсем, совсем другой голос – спокойный и даже ленивый, у него и в детстве происходили мгновенные смены настроения, от неопишуемого восторга до полнейшей внезапной апатии, от пылкой влюбленности до совершенного равнодушия и даже отвращения к предмету любви.

– Куда везти, Андрюшенька? Ты где теперь?

Диктует адрес и номера маршруток, подробно и очень доброжелательно, советует, как быстрее добраться, потом великодушно спохватывается: «А знаешь что, возьми такси. Оплачу, оплачу... не волнуйся».

Пожилой таксист, насупленный, молчаливый, чем-то недовольный, везёт куда-то за Обводный. Не разговаривают. Хорошо, что не пристаёт с разговорами. На Загородном долго стоят в пробке, воздух ужасный, дышать невозможно, Тина несколько раз проверяет, гладит свой баллончик, вспоминает о дыхательной гимнастике, дышит как велено, смотрит по сторонам. За окнами соседних машин – напряженные, злые лица, много молодых женщин за рулём, постукивают по рулю ухаженными нетерпеливыми пальчиками, посверкивают блестящими ноготочками – тоже торопятся. Час пик. Хотя теперь все дни в городе сплошной час пик, разве что в воскресные дни посвободнее. Длинная тощая девица спиной вылезает из маленького опеля, продолжая с кем-то, оставшимся в машине, кокетничать, выпрямляется, озирается, лавирует среди стоящих машин, ухом прижимает к плечу

мобильник, лепечет, идиотически хихикает, ковыляет на неприлично высоких каблуках уже по тротуару, походка развинченная и пьяная – куда она может доковылять на своих серебряных каблуках, несчастная; два парня с одинаково ленивыми и бессмысленными лицами остановились, лыбятся, смотрят вслед девице, джинсы на парнях висят так низко, что кажется, они одновременно наложили в штаны и оттого передвигают ноги с большим трудом, что-то кричат вслед девице, она весело огрызается и скрывается за углом. Взгляд Тины скользит вверх, и она видит под окнами второго этажа короткую необычную вывеску, надпись «...йна». Водитель перехватывает её улыбку и тоже смеётся: «Дураки-остроумцы... выломали буквы. Приличное кафе, кстати, вкусно и недорого».

Постепенно пробка рассасывается, они выезжают на набережную и мчатся уже беспрепятственно. Нарядный центр остался позади, вокруг тянутся унылые пространства, Петербург Достоевского – тоскливые, разваливающиеся бывшие доходные кварталы. Наконец машина замедляет ход и долго, переваливаясь по ледяным грязным колдобинам, блуждает среди безжизненных домов с темными окнами, стёкла почти везде выбиты. Изредка скользят вдоль мертвых фасадов невнятные осторожные тени. «Снесут тут всё», – говорит водитель и останавливает машину. «Это здесь, – указывает он на темную низкую подворотню, понятно взглядывает на Тину и с неожиданным участием спрашивает: – может, вас подождать?» – «Да, да, конечно». На дворе ясный день, то есть не очень ясный, довольно пасмурно, но все-таки день, даже первая половина, но выйти из машины и ступить под своды низенькой подворотни страшно, все же в сумочке две тысячи долларов, не такая уж большая сумма – но это как для кого. Благославляя изобретателей мобильных телефонов, Тина нажимает двоекку, Андрей у неё номер два: «Андрюша, я уже здесь, не мог бы ты меня встретить». – «Конечно, мамочка, сиди в машине». Голос радостный.

Через некоторое время из подворотни появляется не Андрей, а вырывается огромный пес, за поводок он вытягивает из темноты тоненькую, неестественно бледную зеленоволосую девушку, на шее у девушки кожаный ошейник с металлическими блямбами, у пса тоже почти такой же. Девушка приветливо улыбается, над бровью, над верхней губой и даже, кажется, на языке у неё металлические блестящие кнопочки, а на хорошеньком ушке несколько тоненьких колечек – ну да, это называется «пирсинг», слово звучит не очень прилично. Пес беснуется и рвется. Девушка просит подождать и уводит пса в сторону помойных баков. Тина оглядывает старые кирпичные изглоданные временем стены, зияющие пустотой окна – впрочем, некоторые занавешены бесцветными тряпками, на одном подоконнике можно различить кривое разлапистое растение, народное, лечебное – алоэ. Неужели здесь живут? Через несколько минут пес возвращается вполне довольный и успокоенный, и девушка ведёт Тину по бесконечным коридорам, через подозрительные запахи, мимо каких-то грязных комнат, двери в комнаты приоткрыты, на полу, на тряпье, кто-то спит, иногда обитатели приподнимают головы. «Это что же – бомжи?» – с ужасом спрашивает Тина. – «Всякие», – отвечает девушка. Несколько раз они поднимаются и спускаются по узким перекошенным лестницам, проходят по узкому переходу между зданиями и оказываются совсем в другом флигеле. Собака приседает у железной двери и терпеливо ждет, девушка сосредоточенно разбирается с причудливыми и длинными ключами, что-то шепчет себе под нос – похоже, она не очень твердо помнит нужные заклинания, после нескольких неудачных попыток дверь все-таки со скрежетом открывается. За железной дверью приходится открывать еще две, но уже простые, деревянные, и, наконец, они оказываются в чистеньком закутке, в маленькой прихожей, даже зеркало висит на стене, на полочке перед зеркалом лежат чьи-то перчатки, меховые шапки; Тина узнаёт Андрюшин шарф, который сама ему когда-то связала. Откуда-то сбоку, практически из стены, появляется высокий истощенный молодой

человек, лицо его тоже какого-то бледного, сероватого цвета, взгляд блуждает, замедленным и вялым жестом он приветствует их, обменивается с зеленоволосой какими-то странными фразами, которые Тина не в состоянии ни понять, ни воспроизвести. (Ну да, они теперь так разговаривают, эти новые дети, непонятные, чужие, холодные, но... а Иринка, а как же Иринка, плачущая на Пискаревском кладбище... а у неё отклонения или тонкая организация.)

Собака кладет лапы молодому человеку на грудь, он, покачнувшись бессильно, припадает к стене, отворачивает лицо от мокрой собачьей морды, морщится, с трудом отталкивает пса и приглашает Тину следовать за собой. Идёт впереди, нетвердо переставляя ноги, буквально держась за стены. Останавливается перед высокой дверью, почтительно стучит. Дверь резко распахивается – Андрей с приветственным клёкотом протягивает к ней руки, обнимает, прижимает к груди. Непонятно для кого эта сцена и стоны радости. Неужели для этого бледного молодого человека, который неловко топчется рядом. Давно уже Тина не получала такой обильной сыновней ласки. Но приятно. «Да, – спохватывается Андрей, – это Ильяс, мой секретарь, незаменимый человек, знает ответы на все вопросы, рекомендую, знаток законов и подзаконных актов, юрист, экономист, широкий специалист». Ильяс протягивает визитную карточку. Тина машинально берет белый прямоугольничек. «Смотри не потеряй», – говорит Андрей Тине, поворачивается к Ильясу: «До пяти свободен. Но в пять, – поднимает палец, – принесешь текст контракта». – «Будет сделано, Андрей Палыч, всенепременно». Тина понимает, что этот спектакль для неё, но только зачем?

Андрей широким жестом обводит просторное помещение с высокими потолками, с окном во всю стену. Стекла слегка мутноваты, но вокруг прибрано, пространство организовано не без уюта. Огромный низкий диван покрыт потертым, но старинным ковром, по стенам висят картины, самодельные светильники изготовлены из тыкв и бутылок, букеты сухих трав повсюду – на полках, на полу, на подоконниках, в углу – музыкальный центр, рядом с ним что-то вроде клавиатура. Андрей приветлив, улыбчив, совершенно трезв, подтянут и красив – им невозможно не любоваться. «Все-таки Настя злая», – думает Тина и вытягивает из сумочки конверт. Он берет его, небрежно бросает на огромный стол, заваленный какими-то бумажными рулонами, книгами, газетами, одеждой, кусками цветных лоскутов, на одном конце стола стоит компьютер, монитор – большой, плоский, на другом постелена чистая скатёрка и стоят две чашки с недопитым кофе, вазочка с печеньем, прозрачная сырница. «Не хочешь ли кофе? А потом я тебе покажу нашу мастерскую». – «Нет, дорогой, меня ждет машина». – «Но ты обещаешь, что поговоришь с отцом?» – «Обещаю». – «Сегодня же?» – «Ну конечно, Андрюшенька». – «У меня срок – вчера, понимаешь, с большим трудом... на день дали отсрочку... хотя нет, что я говорю... до пяти часов... сегодня... в пять всё должно решиться... я буду ждать, Ильяс тоже будет на связи... Он к тебе примчится моментально».

Обратно её тоже провожает зеленоволосая. Собака остаётся с Андреем, зевнув, ложится у его ног. Снова они пробираются по темным переходам, через вонючий бомжатник, но путь уже не кажется таким длинным. Тина с любопытством незаметно разглядывает идущую впереди девушку – непохоже, чтобы это была галерейщица, мать неведомой девочки, – слишком молода. Неведомую девочку Тина не хочет впускать в своё сердце, никого больше не хочет впускать в своё сердце и никаких вопросов задавать не собирается.

Зеленоволосая вдруг останавливается и нежным благовоспитанным голоском спрашивает: «Вы не могли бы меня довести до какого-нибудь метро? У меня консультация в универе». – «Конечно, пожалуйста, а на каком вы факультете?» – «На медицинском» – «На медицинском? А что, в университете есть теперь медицинский?» – изумляется Тина и вспоминает, что в городе, кажется, что-то около восемнадцати университетов. Над головой слышен стук открывающегося окна, высо-

выдается бледное лицо незаменного Ильяса. Он машет девушке рукой: «Камбэк к пяти. Привет эврибодям».

Водитель, увидев Зеленоволосую, проявляет неожиданную любезность, выходит из машины, распахивает дверцы и даже, обращаясь к Тине, спрашивает: «Все в порядке?» Девушка устраивается на заднем сиденье. Водитель поправляет зеркало – явно хочет рассмотреть девчонку, Тина усмехается, все замечает: все-таки молодость страшная сила; вся мрачность с водителя слетела, он игриво посматривает в зеркальце, интересуется, не принадлежит ли девушка к движению зеленых – хотелось бы примкнуть, девушка отвечает сухо и сдержанно.

Не успевают выехать из умирающего заповедника бомжей и художников, как в машине раздаётся знакомая мелодия, Тина вздрагивает – ей редко звонят, почти никто её номер не знает, судорожно роется в сумке, выдергивает разрывающийся оскопленным Равелем мобильник. Водитель косит глазом, усмехается, думает небось: бабка-то у нас упакованная.

Звонит секретарша Павла: «Извините, нигде не можем найти Павла Александровича. У нас несчастье ...».

Внезапно умер директор института Покровский, в своём кабинете; утром пришел на работу, как всегда, раньше всех, стал снимать пальто, захрипел и упал. Тина понимает, что упоминать Сосновый Бор нелепо, Ольга уже точно в институте, а где Павел – непонятно.

Удивительно устроено человеческое сознание: одна из первых мыслей Тины: у кого теперь спрашивать два тома Соловьёва, которые взял Покровский в прошлый раз, всего неделю назад. Он увлекался историей и вообще был таким нетипичным директором, избыточно интеллигентным для директора советского, а тем более постсоветского времени, рассказывали, что он единственный не употреблял мат в министерских сборищах, за что и слыл чужаком, но в институте его любили, уважали очень (уважать-то – многих уважают, но вот любить... «Бедный, бедный, – думает Тина, устыдившись корыстных мыслей, – бедная Надежда, как она теперь без него, бедные мы», – без влиятельного имени Покровского всё в институте станет еще хуже – тоже, вообще говоря, довольно корыстное соображение). Хорошо, если отнес Соловьёва домой: у Надежды можно будет со временем получить, а если оставил в кабинете, начнут разбирать бумаги... сгинут книжки среди бумаг или просто стащат, а жалко – старое издание. Одна из вторых мыслей: где же все-таки был Павел, значит, не с Ольгой – приятно, конечно, но и беспокойно...

Когда машина вынырнула наконец из пробки на Литейном, снова раздался Равель, но уже не такой неожиданный. Голос Павла: «Тина, привет, не застал тебя дома. Ты знаешь?...» – «Знаю», – коротко и резко отвечает Тина и нажимает на красную кнопку. Через минуту снова требовательно врубается Равель, и тогда Тина вообще отключает мобильник, смотрит некоторое время на мертвый темный экран и засовывает безжизненную коробочку личиком вниз на дно сумки. Судя по голосу, с Павлом всё в полном порядке, а разговаривать ей сейчас с ним не хочется, вообще ни с кем не хочется. И вдруг спохватывается: совсем забыла, что обещала Андрюше... Ну ничего, потом что-нибудь придумает – например, батарейка села, мобильник отключился внезапно. Вот ведь ни единого нерасчетливого движения не может позволить себе, ни одного искреннего жеста: окружили, обложили со всех сторон.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ТАКОЙ ДЕНЬ

Павел проснулся внезапно и окончательно, как от удара. Сон не покинул его плавно и незаметно, а выбросил из себя безжалостно в дикую головную боль и

мерзость всяческих ощущений внутри – в горле, в сердце, в желудке, в печени – во всем, что принято называть органами тела. Он нащупал мобильник: в беспамятстве вчерашней ночи все-таки успел положить его на тумбочку, на расстоянии вытянутой руки. Понажимал кнопочки. Бедная коробочка должна была вот-вот лопнуть от домогательств и требований немедленно позвонить. «Ох-хо-хонюшки, помереть спокойно не дадут», – пожалел себя. Звонки от Тины, от Ольги... странно, конечно, но от Нины Васильевны... совсем уж странно, что произошло-то? Вчера просто сказал: «Я завтра задержусь», – ничего не объяснял, давно уже понял: чем меньше объясняешь – тем лучше. «Но к двенадцати вы будете?» – уточнила секретарша, подняла голову, посмотрела внимательно. Строгая она у них и пунктуальная, но когда надо – и спасет, и прикроет, и учтиво отмахнет наглецов и всяческих надоед. Он ценил её. «Буду, конечно, буду», – улыбнулся ей, уже натягивая пальто.

Двенадцати еще нет, а уже семь звонков от Нины Васильевны. «Приеду – выпорю». Спустил ноги на пушистый коврик, схватился за голову, посидел немного неподвижно, чтобы унять качание комнаты снаружи и подступы тошноты внутри, откашлялся, пробуя голос, и нажал номер секретарши: «Нина Васильевна, это я...». «Ох, Павел Александрович... наконец-то... Вы уже знаете?» Секретарша там явно плачет, всхлипывает. Он молчит, уже предвидит некий ужас, но молчит. И хорошо делает. «Опытный я, чёрт...» – успевает подумать. «Я только что освобо-дился (от чего освобо-дился? Ну, может, человек был на каком-нибудь обследо-вании, какой-нибудь зонд глотал, что ли, – избави Бог, конечно). Скоро буду. Подго-товьте всё». (Что подготовьте-то? Сам не очень понимает. Но уже соображает, пока Нина Васильевна, хлюпя и прерываясь на вытирание соплей, рассказывает детали, что надо, надо готовиться к изнурительному напряжению предстоящих дней, а потом и к предсказуемым изменениям в институте).

И в ту же секунду распахивается дверь. На пороге стоит Юрка с мятой утренней мордой, в длинном багровом халате: «Покровский умер... ты уже знаешь?» – «Знаю, знаю...»

- Как наша Александра Викторовна, жива?
- Вообще говоря, не очень. Тахикардия и все прелести...
- Утреннее целебное вспоможение не пробовали?
- Обойдемся без твоих народных советов. Не тот случай. Говорю тебе – тахи-кардия. Там Шурочка с ней. Я, может, её в нашу клинику свезу – кардиограмму, что ли, сделаем, не нравится мне что-то...
- О, блин, этого еще не хватало. За Саньку ответишь. Оставляю тебе, подлецу. Ответишь головой. Спойл европейскую женщину, понимаешь, и доволен.
- Это я спойл?
- Ну а кто же? И меня спойл, старого дурака. А мне денёк предстоит... Ох-хо-хо. Приехали к тебе в гости как к человеку: хотел девушке состоятельного старого друга показать, чтобы деткам своим рассказала, чтобы они там, в Институте Планка, не очень заносились, – а ты и рад, попойку устроил.
- Ну, Пашка, то, что у тебя совести нет, я и раньше знал...
- Хо-хо, кто бы говорил... ну, я пошел в душ... и в институт.
- Когда похороны?
- Да откуда я знаю. Человек вот только что умер... Да, будь другом, позвони моему Стасику.
- Ага, теперь я друг, значит. Только что был подлец, теперь друг. Не заслужил ты, чтоб у тебя золотая рыбка была на посылках.
- Ой, ну некогда мне...

Через сорок минут шофёр Станислав, доверенное лицо и надёжный человек, стоя допивает кофе в нижней кухне. Шурочка подсовывает ему бутерброды. Павел

приглаживает еще мокрые волосы, от кофе отказывается, делает несколько глотков минеральной, внимательно смотрит на Стасика: «В институте был?» – «Был». – «Про меня спрашивали?» – «Ну конечно, спрашивали». – «Ну и чё ты отвечал?» От возмущения Стасик чуть не роняет чашку, трясёт головой, не находя слов, и все-таки находит: «Обижаете, Павел Александрович...». – «Какие люди, какие люди у меня работают», – бормочет Павел, застегивает портфель, подходит к Юрке, ласково тычет его кулаком в плечо, кивает Стасику: – «Ладно, поехали».

В машине Павел набирает свой домашний номер, но никто не отвечает. Проверяет звонки Тины. Три звонка за короткое время – обычно она ему не звонит, что-то не так. Снова набирает домашний номер, долго и со страхом ждет, наконец слышит голос матери, совсем слабый и далекий: «Никого нет, Пашенька. Проснулась – никого нет. Ушли все. Да, я спала, знаешь, очень плохо себя чувствую... Куда? Не знаю, милый, мне ведь не докладывают. А ты где? Ты когда будешь?»

Перед входом в институт стояли группки понурых сотрудников, курили молча, повернули к нему озабоченные лица, покивали ему, покачали головами. И он в ответ покивал и покачал. Быстро прошел сквозь проходную, пропуск не показал – новые времена даже в мелочах, не до формальностей – старая охранница знала его, конечно, все его знали – ничего не сказала, тоже потрясла головой серьезно, как будто смерть директора имела к ней какое-либо отношение. Но и посторонние какие-то проходили без пропусков: любопытствовали, вертели вопросительно головы, сновали взад-вперед, после турникета поворачивали направо – там институт сдавал в аренду обширные пространства мебельному салону: не построили еще мебельщики свой отдельный вход. Но строили – уже соорудили мраморные ступени. Замечательно будет смотреться высокое мраморное крыльцо на фоне облупленного, осыпающегося фасада (такая замечательная метафора жизни). В договоре аренды про фасад ничего не сказано, так что всё честно: фасад они бы не потянули, не стоило и заводиться, а так – платят исправно и правильными проводками, понимающие люди, уже почти свои. Лепешко у них там регулярно уцененные диваны покупает.

«Бюро пропусков» навсегда, кажется, закрыло свое окошко – и так всех пропускают. Начальник охраны, низенький приземистый мужик, безрезультатно надувающий дряблые щёки, стоял, опершись на полочку, перед окошком в окружении своих трусливых дармоедов (беспрекословно легли на пол, суки, когда выносили из института платину). Павел нарочно на него даже не взглянул: увидел боковым зрением и прошел мимо.

Дверь в приемную была распахнута. И в приемной, и в коридоре тоже толпились какие-то люди – но тут уже были, конечно, только свои. Подходили, пожимали друг другу руки. Нина Васильевна вскочила из-за стола, роняя какие-то бумаги и папки, кинулась к нему – «ну наконец-то», снова заплакала. У многих женщин были красные глаза. Прошел к себе в кабинет, прикрыл дверь, сел за стол, откинулся в кресле. Минутку вот так посижу – понятно, что все хлопоты опять на меня... да, но минутку посижу. У-у-у, что теперь будет, ничего хорошего не будет: и раньше-то обносили институт, а без Покровского ничего от Академии и вовсе не перепадет, никто теперь не вхож, почти не осталось академиков – один жалкий болтается, ни на что не влияющий, погружен в свою старинную науку, с ним в Академии не считаются – мелкий член мафии. Тоска. Куды бечь?

Нажал кнопки: «Оля? Можешь зайти ко мне?». – «Нет, не могу». Отключилась. Или бросила трубку. Что-то новенькое. Ослабил галстук. Стало жарко. Заколело слева. Выщелкнул таблетку, положил под язык.

Ну уж нет. Сегодня точно не помру. Значит надо делать дела и жить дальше. Без меня ведь ничего не могут. Ну что вы можете без меня – только трубками бросаться.

Так... явились. Без предварительного звонка, даже без стука (да, тоже что-то новенькое) на пороге Нина Васильевна и Лепешко, замдиректора по «общим ответам», по прозвищу Блин, грузный, вздыхает так, что шевелятся и взлетают мелкие бумажные листочки на столе. Тянет руку. Надо выйти из-за стола. О, сколько еще предстоит траурных рукопожатий сегодня, да и потом...

«Ну, Пал Александныч, наконец-то. Мы без тебя тут совсем голову потеряли. Нину вот измучили звонками. Где это ты скитался? В такой день...»

(Партийная манера – на ты, но по имени-отчеству; Покровский, напротив, со всей своей дворянской любезностью к очень многим обращался по имени, но непременно на вы: «Павел, вы не могли бы позвонить... Виктор, вы не могли бы возглавить комиссию?...»)

«Ты не возражаешь, если мы у тебя в кабинете соберемся? Там... понимаешь...» – махнул рукой в сторону кабинета Покровского. Павел понимал. Никто еще не отменил Первый отдел. Где-то эти люди должны же были работать. Куда их всех девать в эпоху безумного разгула Интернета и падения всяческих стен и преград? Так что они старались: рвение уже было не то, строгости, конечно, ослабли, но отдел работал – тоже надували щеки, кипучие бездельники. Очень даже возможно, что у Покровского оставались какие-нибудь закрытые отчеты или бумаги. Недреманное око должно было вникнуть. Что-то, может быть, снова закрыть, а что-то, всем уже давно известное, рутинное, великодушно отправить в открытый доступ.

Дверь снова распахнулась и вошла Марыся. Ну, эта всюду входит без стука. Глянула на него понимающе, глазами спросила: как ты? И так же заверила: не бойсь, не выдам. Хотел подойти к ней – поцеловать. Они всегда целовались при встрече, где бы эта встреча ни происходила: в лифте ли, на глазах у подозрительных кратковременных попутчиков, в приемной ли министра. Это был у них такой ритуал. Многие их долго подозревали в любовной связи, а потом перестали – ну сколько у человека может быть одновременно любовных связей. Да и не в нем дело. Видно же было, что Марыся и Валерий были настоящей парой, буквально Филимон и Бавкида какие-то, а по-нашему – старосветские помещики. Хотел подойти, но не подошел: боялся сделать резкий жест, слева все еще что-то давило, дышать и двигаться было трудно. И Марыся опять неслышно спросила: «Что, опять?» И он прикрыл веки: да, что-то... нехорошо. А ей вот ничего не делается: ночь не спала, пьянствовала со всеми, а поутру на своем месте – свежая и бодрая.

– Паша (она его по отчеству никогда не называла, даже на ученых советах, на всяких конференциях; можно было подумать, что нарочно – хочет выставить свою с ним дружбу, но нет, никто так не думал – уж очень она была естественная, однако всё равно он злился, и тогда она быстро поправлялась: «Павел Александрович», но здесь не сочла нужным), я к Надежде поеду. Хорошо, Паша? Я Стасика твоего возьму. Только туда. Договорились? Обратное я на такси...

– Конечно, Мария Васильевна, скажите Стасику. Он отвезёт. И подождёт – зачем такси. И вообще, распорядитесь сами. Если мне надо будет, я его вызову.

– А вы уж тут без меня решайте, ладно? Кто венки, кто поминки, кто транспорт оплачивать будет... С аренды, думаю, прилично накапало (Марыся бросает быстрый взгляд на Лепешко: аренда – его епархия. Он губы поджал. Знает кошка, чьё мясо... Не любит делиться. Но сейчас придётся...). Надежда меня ждет, я там нужнее. Я звонить буду. Как приеду, сразу позвоню.

– Да уж, пожалуйста, звони, и все-таки возвращайся: здесь ты тоже нужна.

Толстая Марыся плавно выплыла из кабинета, послав ему ободряющий взгляд. И он подумал, что если с ним что случится, именно она сделает все как надо. Добрая и властная, верная и надежная, с комплексом полноценности, но справедливая – милая толстая девочка. Никогда не жаловалась ни на здоровье, ни на

друзей, ни на врагов. Интересно, она плачет когда-нибудь? Когда хоронили Валерия, она не плакала; внук её рыдал – не плакал, а вот именно что рыдал, не мог остановиться: неокрепшая психика, так всё неожиданно произошло, инфаркт, катастрофический, первая неожиданная смерть в компании. Панихида проходила тогда в Большом зале, внук рыдал, задыхался, не мог остановиться, Марыся его за руку держала, как ребёнка, но сама не плакала – правда, была в темных очках.

– Пал Алексаньч, ты меня слышишь? Академия, такие гады, панихиду предлагают в Малом зале. Большой не хотят открывать: мол, ремонт у них.

– Какой, блин, ремонт, я там третьего дня был... говорит Павел и видит прищуренные, подозрительные глаза Лепешко – может быть, даже обиженные (знает, что ли, своё прозвище?), спохватывается, подчеркнуто вежливо, мягким своим голосом предлагает:

– Послать надо бы кого-нибудь из мальчиков, пусть ему зал откроют...

– Посылал уже, Пал Алексаньч, Соловейчика моего посылал, они ему зал открыли, а там в углу стоят заляпанные краской козлы – видать, только что специально притащили, и на потолке слегка накарябано – вот и весь ремонт, за двадцать минут можно убрать. Но упёрлись. Позвоните им, пожалуйста.

Нина Васильевна всхлипывает:

– Господи, академика уже по-человечески не похоронить. Малый зал... как же там разместиться? Опять что-то вымогают.

– Ну зачем вы так, Нина Васильевна... Ничего-ничего, всё образуется, сейчас всё решим, собирайте людей потихоньку.

– А поминки где? Как вы думаете? У нас или в Академии? Из столовой уже звонили...

– Нина Васильевна, голубушка, не думал я о поминках, побойтесь Бога! Не могу я так, не могу... Я еще даже Надежду не видел. Не обижайтесь на меня. Я же тоже человек. Ну вот... Вот сейчас сяду и тоже буду плакать. Собирайте людей.

Вспомнил вдруг почему-то, как Покровский несколько дней назад зашел к нему в кабинет совершенно просто так, уже к вечеру, не по делу, непривычно задумчивый, стал жалеть Надежду ни с того ни с сего: «Трудно ей будет без меня, не очень она приспособленная, дети хорошие, конечно, но дети, знаете, Павел, дети нас не понимают... все дети, и ваши, должно быть, тоже... они другие, да... вот с внуком у меня получается, он меня слышит – забавно, правда? Через поколение что-то передается, тип психики, возможно...». Зачем зашел – непонятно. Никогда прежде не говорил ни о семье своей (голос только его менялся, когда звонила Надежда: да, голос как будто скрывал собственную нежность), ни о чём таком постороннем, застёгнут был на все пуговицы, сдержанный, совсем отдельный, безукоризненно светский – никого не выделял, хотя Павел чувствовал его симпатию. Закрытый человек – а вот зашел, что-то хотел сказать, такой мессидж, как теперь говорят; нет, кстати, в русском языке аналога этому слову: ни «послание», ни «сообщение» не передают смысла. Что-то хотел сказать, но не сказал. Действительно, о чём нельзя говорить, о том следует молчать. Но можно было дать знак, что сочувствует, что понимает, что и у него, у Павла, с детьми не ах... чужие, совсем уж непонятные, еще и хуже – не может даже сказать «хорошие», мол, чужие, но хорошие. Далеко разошлись берега, и пространство этой холодной воды всё увеличивается, и не переплыть, и не докричаться на тот берег – нет на том берегу ни понимания, ни жалости. Но Павлу нужно было куда-то уходить, он уже собирал свои бумаги, торопился, слушал вежливо, формально участливо, но не очень вникал – думал о чём-то своем, о чём – и вспомнить сейчас не может, куда-то спешил, ждал, когда уйдёт.

«Господи, какой же я гад».

Народ потихоньку заполнял кабинет. Приходили тихие, молчаливые – начальники лабораторий, всякие заместители, всякие нужные люди, первый отдел (как без него), бывшие партийные, бывшие профсоюзные (первый отдел своих не бросает), занимали привычные места, обменивались рукопожатиями, многозначительными – десятки раз на дню жали друг другу руки. Сергей придвинулся к торцу стола на правах личного друга. Мигнул: «Пошли покурим, выйдем на минутку». Ну хорошо, выйдем, пока все не собрались. Вышли на площадку.

Сергей закурил, посмотрел внимательно: «Не хочешь переместиться в директорское кресло?» – «Нет, не хочу, ни за какие коврижки». – «Так ведь некому больше». – «Не волнуйся, найдут, и вообще... от нас с тобой давно ничего не зависит. Не сумлевайся: найдут покорного, шустрого, недалёкого, сравнительно молодого». – «Ну зачем... ну ты уж совсем, почему недалёкого?» – «А далёкие – они знаешь где?» – «Хочешь сказать, что далеко». – «Вот именно». – «Печально». – «Ничего не поделаешь». – «А может быть, все-таки попробовать? Было бы твоё согласие, а то люди начнут пиарить, а ты в кусты». – «Нет, категорически запрещаю». – «Думаешь, платину еще помнят?» – «Ну, и платину, да, кто ж это забудет...»

Кража платины своим размахом и наглостью потрясла не только дирекцию – все вдруг почувствовали, до самого последнего лаборанта и мелкого дипломника: всё, это уже всё, точка возврата пройдена, времена изменились непостижимым и чудовищным образом. В закрытый военно-промышленный институт, куда раньше, как говорится, мышь не могла проскользнуть без специального допуска, сквозь суровую военизированную охрану (ничего военизированного в ней не оказалось) прошли спокойно люди в масках, с оружием, с рациями, а может быть, просто с мобильниками. Положили спокойно охрану на пол, беззастенчиво переговаривались, уточняли порядок действий, знали, куда идут и все детали процесса: где платиновый сейф, где хранятся тигли, термопары, мешалки и прочее платиновое хозяйство – прекрасно были подготовлены. (Никто потом к гадалкам и не собирался ходить: все знали – ну, пусть, предполагали, кто их готовил.) Один, маленький, шустрый, как раз без оружия, но в вязаной шапке с прорезью для глаз, держал в руках список работающих в вечернюю смену, сверял списочный состав с наличным. Не досчитался одной работницы. Грабители насторожились: не побежала ли звонить куда надо. Но кто-то догадался сказать, что приболела, неожиданно приболела и не пришла, хотя все знали, что спит она в подсобке – сняла показания со своих печей и пошла поспать на часок. Так и проспала ограбление века, но зато избежала тумачков, – почти все их не избежали, а кой-кого избили сильно, до крови и сотрясения мозга – почему-то они злые были, эти грабители. Военизированная охрана весь этот час, пока шло ограбление, вела себя очень дисциплинированно: пролежала ничком, шевелиться было не велено. Стояли над ними два амбала со стволами – они и не шевелились, их не тронули, даже ногой не пнули.

Без платиновых тиглей и «лодочек» невозможно было выполнить американский контракт. И что ожидало Павла? – Следствие, скандал, неустойки, разрыв коммерческого соглашения и серьёзные материальные потери для всего коллектива, но еще более серьёзные для его удрученных руководителей. Павел и был руководителем и практически единственный распоряжался валютой (не всей, конечно, а той, что оставалась после необходимых отчислений... ну, в общем, понятно куда). Ангел-хранитель Павла, добросовестный и любящий, какой была в его жизни разве что старенькая нянечка, даже растерялся, пришёл, по-видимому, на короткое время в полное замешательство, но придумал маленькое чудо, из последних уже сил. Два беспечных стеклоvara не сдали платиновые тигли и мешалки в сейф, как было строгими правилами предписано, а кинули в угол, прикрыли ветошкой и

сели с чистой совестью разливать. Вот в этих тиглях и наварили американцам уникальное стекло. И вытянули контракт. Но министерство поволновалось.

«Ну и какая из этого мораль?» – спрашивали друг друга некоторые сотрудники после случившихся волнений. И сами себе отвечали: «А вот такая мораль: если в России по правилам жить, не выживешь». А другие встревали, когда их и не спрашивали: «А морали у нас – нет». Это были циники.

Павел отобрал у Сергея сигарету, бросил в урну: «Ни за какие коврижки. Понятно?»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ПРЕКРАСНАЯ И БЕСЧЕЛОВЕЧНАЯ

Александра лежит на жестком больничном топчане в уютном закутке с искусственной пальмой, квадратным коричневым креслом и чайным столиком. Ноги её укутаны клетчатым пледом домашней мягкости. Велено полежать. Закуток отделён от остального пространства легкой белой занавеской на металлических колечках.

На стене висит яркий плакат, изображающий распостёртого на операционном столе мужика, к нему подбирается некто в зелёном хирургическом одеянии со злорадной улыбочкой и странной металлической штуковиной в руках. Надпись под картинкой: «Путь к сердцу мужчины лежит через грудную клетку». Александра приподнимается на локтях, потом садится, вытягивает шею, пытается понять сюжет, шурит и читает разноцветные несерьёзные букочки внизу. Оказывается, это реклама медицинского оборудования, нового прибора для быстрого выпиливания фрагмента ребра при операциях на сердце. Медики тоже шутят. Физики, кажется, своё отшутили. А медики продолжают шутить, кощунствуют по мере сил: ничего святого, особый вид юмора – медицинский, еще был студенческий, солдатский, компьютерный вот появился, албанский (или олбанский?) какой-то язык – слышать невозможно. Рядом плакат строгий, серьёзный, на нём всевозможные типы стентов, разного диаметра, в разные сосуды, изогнутые узорчатые трубочки, ажурные. Юркины, должно быть, изобретения, если не врёт, – говорит, что у него патенты. Суды патентные выиграл, европейские, теперь с них капает – вот на клинику накапало. По дороге рассказывал про свои стенты: возбуждался, хвастался, что сам теперь физиков-химиков содержит, чтобы их осеняли всякие идеи. Да, представь себе, осеняют: придумали новый профиль, вырезают лазерным лучом, химики, вот, тоже пригодились: новые материалы, бесконечные тесты, за химиками еще и внутреннее покрытие стента, теперь лекарство дозированно поступает прямо в сосуд – получается такой протез внутри сосуда, а ты говоришь, наука никому теперь не нужна.

Поразительна эта вера в собственные способности, в собственное могущество. До сих пор сохранилась. Так ему внушили. На всю жизнь. Не ему одному.

Александра пробует повторить дыхательные упражнения. Шурочка еще в машине дала первые уроки дыхательной гимнастики. Действительно, если вот так вздохнуть, задержать, и медленно выдохнуть, сердцебиение можно остановить.

Там, за занавеской, идет напряженная жизнь: стрекочет какой-то аппарат, чьи-то торопливые шаги, легкие, женские, пронеслись мимо – занавеска заволновалась и опала, – непрерывные звонки: кто-то отвечает по-английски с приличным произношением, *fluently*. Молодые теперь все по-английски свободно, вот что значит – мотивация.

Юркин голос, недовольный, начальственный. Говорит по телефону: «Нет уж, это ты меня послушай. Да, надо подчеркнуть: в нашей клинике применяются стенты системы "Костер" (произносит чётко, с ударением на «О», с твердым «Т» – звучит вполне по-иностранному, Александра догадывается: это же его собственная фамилия). Подожди, я подойду к компьютеру... Так, дальше... Эти стенты покрыты специальным веществом, препятствующим образованию повторных сужений. Теперь

давай подписи под фотографиями. На фотографии, сделанной во время коронарографии, показано девяностодевятипроцентное сужение обводящей артерии... Не спорь, пожалуйста. Повторяю: девяносто девять процентов сужение. Так у тебя? Давай следующую. А вот результат после имплантации стента. Стеноз полностью исчез...»

Самоуверенный. Верит, что лучше всех всё знает. Так внушили. Или генетическая информация. Отец его, кстати, был генетиком. Фотографию показал как-то – отец его рядом с Вавиловым, с Николаем (одна эта фотография и осталась, совсем мутная, Вавилова можно узнать только с лупой – остальные фотографии, более чёткие, наверное, мать уничтожила, хотела спастись – все равно не спаслась). Или сам себе внушил, мать нашептала, когда вернулась за ним уже в детский дом: «Ты не такой, ты лучше всех, умнее всех, в тебе отцовские гены: учись изо всех сил, ты должен победить». Матери всё простил: она умела убеждать, такая же неистовая была, как отец, много о нем рассказывала, глаза горели до последнего дня. Да, внушила, а потом самогипноз, конечно. У него еще и случай особый: на историческую родину вернулся из провинции, из немислимой нищеты, на всю жизнь был заряжен мстительным порывом – расквитаться за всех, за своих игрою счастья обиженных родов. За что? За то, что родители наши, пятою рабскою поправшие обломки, отсиделись в норках, проскользнули между струй. Считал нас виноватыми.

Но и на физическом хорошо внушали, с первой же лекции, не словами, а как-то так... в воздухе это было. Атмосферно. Внушили, что всё могут, всё могут понять, во всем разобраться, всё быстро освоить – к такой уж касте они отныне принадлежат. Научили учиться.

Юрка лучше всех научился.

«Слышали? Костерин выиграл выборы в каком-то Строительном объединении». – «Выборы? Директора?» – «Ну да, директора. Директором теперь будет». – «Фантастический человек». – «Да авантюрист просто». – «Нет, всё-таки он незаурядная личность. Вот вы бы так смогли?». Смеялись, рассказывали друг другу, восхищались, завидовали. Удивительные были времена, перестроечные, надежды кружили головы. Появились какие-то Советы трудовых коллективов. Директоров оживившийся народ выбирал тайным голосованием. Златоуст Юрий Сергеевич что-то вдохновенно наплёл обалдевшему собранию, обещал, что решит проблемы, знает, как – и тут же изложил свой план, то есть программу. Народу понравилось, и выбрали, а старого директора спихнули. У народа всегда есть зуб на начальство. Строительные боссы схватились за головы, вызвали, упрасивали (Юрка уверял: в ногах валялись): «Откажись. Ведь вы не специалист». – «Я же физик», – отвечал Костерин. «Но у вас же совершенно другое образование». – «Образование у меня как раз прекрасное. Я же вам объясняю. Я физик по образованию. Я доктор физико-математических наук. Я в принципе, понимаете, в принципе, во всём могу разобраться». – «Но вы не строитель», – приходили в отчаянье Заслуженные Строители и буквально ломали руки. «Ну и что, зато я – физик», – не сдавался Юрий Сергеевич и в глубине души начинал подозревать, что строители, действительно, слабоваты мозгами, чего-то не понимают, недаром такое плачевное положение в стране со всякого рода строительством: дома разваливаются от малейшего толчка и бетонные козырьки падают людям на головы. Так они довольно долго препирались. Пришлось строительному министерству своё строительное объединение расформировать, сделать из него шесть отдельных учреждений, должность директора прежнего Объединения автоматически ликвидировалась, и результаты выборов стали недействительными. Знакомый приём. Проверенный.

Кто-то скребётся в железную штангу, звенят колечки, белая занавеска отодвигается – появляется Юрка в белом халате, очень значительный, лицо строгое.

Александра почему-то смеётся: ей кажется, что это он для неё напялил белый халат, для важности. В этой частной клинике врачи в своих собственных элегантных одеждах принимают больных, она заметила, – создают обстановку доверия и спокойствия, только на операциях, видимо, во всём стерильном, в тускло-зеленом. А он, конечно, весь в белом.

«Зашевелилась? Тётя врач велела лежать, не дергаться». – «Да я уже чувствую себя совершенно нормально». – «Вот Шурочка расшифрует, тогда и посмотрим. Пашка в прошлом году тоже хорохорился, а чуть не помер. Вытаскивай вас потом».

Александра не подчиняется, остаётся сидеть, причаёт себя к вертикальному положению, прислушивается к своим ощущениям: кажется, сердцебиение совсем улеглось, улыбается своим мыслям. Вот ведь как вышло, Юрка теперь опять самый нужный человек, нужнее всех прочих, близок к медицине. В такой возраст все вошли, вдруг стало важно – медицинские знакомства, связи всякие. А теперь именно у него серьёзные связи, спасает друзей-врагов, Валерия тоже, наверное, мог бы спасти, только не было тогда таких возможностей... (А Дом кино никому не нужен, тем более туда уже давно вход свободный, только смотреть нечего и не хочется.)

«Ну ладно, я с тобой посижу, – говорит Юрка, устраивается в кресле напротив, расправляет полы халата, укладывает руки на подлокотники, расслабляется, склоняет голову набок. Брови сдвигает. Глаза требовательные: "Ну давай, рассказывай"».

– Что рассказывать-то? – изумляется Александра, – я всё уже рассказала. Вчера.

– Всё рассказывай. Про вчера я ничего не помню. Это ты Пашке рассказывала. А теперь давай мне расскажи. Причём честно. Хорошо тебе там? Ты там счастлива?

– Боже милостивый, какие вы слова здесь употребляете. Как я могу ответить? Мне там удобно. А здесь многое меня уже удивляет, многое стало непривычным. Прежде всего человеческие отношения.

– Тебя плохо встретили? Мы тебя мало ласкали?

– Встретили меня замечательно. Я говорю не о друзьях и близких, а вообще. О других людях. Вообще, понимаешь? Агрессию чувствую постоянно, в лучшем случае – равнодушие. Все относятся друг к другу безразлично, с таким пренебрежением, что ли...

– С пренебрежением? – переспрашивает Юрка, – вот как? Слово какое противное выдумала. Не понимаю даже, что это за чувство такое...

– Вот послушай, я в первый же день... или нет, во второй поехала в сберкассу, да, Сбербанк теперь. Было без двадцати два, я запомнила. Оказалось, что именно сегодня они работают с трёх. Третий четверг каждого месяца они работают с трёх. Я-то ладно. Но и местные приходят, ломятся в закрытую дверь, ничего не понимают, потому как про третий четверг каждого месяца – мельными буквами в самом низу, это что ж, каждый раз надо высчитывать этот третий четверг, – плюются и уходят. А я остаюсь, раздумываю: куда деваться? Холодно, промозгло, представить не могу, что снова надо брести через продуваемый пустырь к метро. Решаю перекантоваться, где-то переждать. Всего полтора часика моей быстротекущей жизни...

– Да, на Западе нет, конечно, этих дурацких обеденных перерывов. Ни в магазинах, ни, тем более, в банках. Но можно как-то приспособиться. Раньше ведь ты тут жила, и ничего, привыкла. Это совершенные пустяки. Я их не замечаю. Мне кажется, есть ради чего не замечать. Перерывы ей обеденные, видите ли, не нравятся.

Какие перерывы, о чём ты говоришь? Ты меня не понимаешь – ты все-таки послушай. Я решила где-нибудь эти полтора часа переждать. Вспомнила, что

здесь ведь рядышком Стрижевские живут. Представила, как я вырастаю на пороге. Без предупреждения. Предвижу их реакцию. Лежат в обмороке. Улыбаюсь. Подхожу к их парадной – кодовый замок, как у людей, но старинный, кнопочный. Но кнопочки-то быстро вычисляются. По истёртости и тусклому блеску. Все нефункционирующие кнопочки проржавели. Три кнопочки явно использованные – блестят. Нажимаю, но дверь не поддаётся. Присмотрелась – оказывается есть еще одна, шестёрочка, для мизинца, не та сила у мизинца, потому и стёрлась меньше и не блестит. И дверь – ура! – открывается...

– Сообразительная ты, однако. Всегда была смышленная и толковенькая. Весь мир удивляется, какие наши люди находчивые, – а почему? А потому, что жизнь научила, мозги натренировала: вот видишь, и тебя приспособило к жизни наше проклинаемое прошлое...

– Кто это проклинает? Никто не проклинает.

– А с чего это ты решила, что Стрижевские дома? В середине дня. У них теперь все работают, а внук в детском саду, платят восемьсот долларов за него, представляешь – такие деньжищи, но я ими горжусь: преуспевающие, паразиты, а ведь не молодцы...

– Да, действительно, позвонила в квартиру – никто не отозвался, только собачка залаяла. Ну, думаю, хоть парадная теплая, погреюсь. Но... воняет чем-то. И грязно очень. Противно. Ну почему так? Скажи? У них ведь евроремонт, наверное, внутри и всё такое... Две квартиры на одной площадке купили, объединили. Почему парадная-то такая страшная?

– А я тебе скажу. У меня такая же история с городской квартирой. У меня квартира на Петроградской. Я её для Светки купил, когда мы разошлись, и ремонт сделал. Там внутри замечательно, но остальные-то квартиры – ну не все, но многие, остаются коммунальными. Они нас ненавидят. Классово чуждые. Даже если скинемся и отремонтируем лестницу – уже пытались, – всё равно специально загадят, причём зверски, с наслаждением, с яростью. Да. Вот так. Классовая ненависть никогда не умрёт.

О, вот какие слова вспомнил, «классовая ненависть», – это они с Павлом между собой именно так Юркины закидоны называли, а может быть, и в глаза говорили, теперь Юрка в другой класс перебрался: успел на старости лет вскочить на последнюю подножку последнего вагона, вскарабкался и всё забыл – забыл гневные вопли о справедливости, забыл голодные времена, даровую картошечку и вечную капусту, забыл, как ходил желваками за обедом у Пашки, а отказаться не мог: голод не тётка. Если напомнить – не поверит, что в пьяном раже разбросал громадную поленицу у них на даче, в Комарово, орал что-то безумное и швырял поленьями во всех, кто пытался его успокоить. Серёга под горячую руку попался. Кровищи сколько было. Все перепугались. Только тогда затих. Честная русская драка – до первой крови. Ох, если бы до первой. Это только так говорится – да нынче так даже и не говорят.

Не поверит, и не будем напоминать.

Да, так что я хотела сказать... Не могла я в этой вонючей парадной оставаться, хоть и тепло... Выхожу наружу. А там холод и деваться некуда. Зашла в маленький магазинчик – раньше это булочная была, теперь рыбный. Вдумчиво рассматриваю копчёные вкусности. Девушка любезная подходит: «Что-нибудь желаете?» Островок вежливости. Благодарю и откланиваюсь. Дай, думаю, в аптеку зайду – здесь недалеко аптека была. Никакой аптеки давно, оказывается, нет. Добредаю до поликлиники. Поликлиника на месте, сильно облупленная, но ничего: в поликлинике можно долго и спокойно посидеть, никто не выгонит. Обхожу очередь стариков в регистратуру. Нахожу скамеечку. Сижу, будто бы приёма дожидаясь, грущу, разглядываю надписи. На всех кабинетах грозные объявления: «Без сменной обуви

вход строго воспрещен», под угрозой стоит почему-то – «спасибо». Мимо шаркают пациенты, на ногах у них вместо сменной обуви полиэтиленовые пакеты.

– Да уж изобразила... ты посмотри вокруг – ты где находишься? Ты в обычной, нормальной клинике находишься. Не такая уж крупная клиника, мы вообще помещение арендуем. Есть и покруче. А у нас тут и томографы, и УЗИ, и стенты такие, каких и в Европе нет, – ты знаешь, какие я стенты делаю?... Мои ребята такое делают... ух, вам и не снилось. К нам из твоей Германии на операции приезжают.

– Во-первых, она не моя: я, между прочим, гражданка России.

– Ага, устроилась.

– А во-вторых, какая же это обычная клиника – это же частная клиника, это твоя клиника, а я говорю про простую районную поликлинику. А старуха какая-то плакала, что номерок ей к врачу не достался – поздно пришла, к семи, а там люди с пяти занимали, у неё лекарство кончается, ну да, наверное, бесплатное, плачет и бьётся в окошко регистратуры, её гонят прочь – а лекарство только врач выписывает. Я там час посидела, понаблюдала.

– Наблюдать приехала?

– Да уж. Не хочешь, а наблюдёшь. Помнишь, у тебя над столом в лаборатории был плакатик прищиплен, на первом компьютере напечатанный: «Пишем то, что наблюдаем. Чего не наблюдаем, того не пишем».

– Да, действительно... Какую чушь ты помнишь, однако. Я всегда говорил, что в голове твоей намешано столько всякой ерунды.

– Почему же это чушь. Это же о научной объективности. Чтобы не подгонять наблюдения под желаемый результат. Тогда это тебе чушью не казалось.

– А понимаю, понимаю. Ты хочешь получить объективный результат. Чтобы тебя не обвинили в предвзятости. Такие наблюдения и сякие наблюдения, статистика, функция распределения. А не кажется ли тебе, что прибор, внесенный в систему, тем самым уже её изменяет, т. е. видит по-своему, что это тот самый случай – хоть и не микромир, а общество... Ты всё по-другому видишь.

– Да ладно тебе... Прибор? Это я, что ли, прибор? Что я хотела сказать? А... в сберкассе-то я отправилась... через час. Как раз время подошло. Подхожу, а там на дверях другое объявление висит, бумажка на ветру, а на ней от руки, что работают они сегодня по техническим причинам с четырёх. Девушка какая-то подходит, говорит: «Я специально звонила, сказали – с трёх». Вынимает мобильник, звонит. Ей отвечают: «Не могли вам такое сказать, мы сегодня с четырёх». А видно: за занавеской чай пьют и смеются, весело им. А вот что они куда-нибудь в контору, в учреждение какое-нибудь придут, а их там тоже мордой об стол, про это они сейчас не думают – вот про какие я отношения. И вот еще, это уже не про отношения, хотя... Воздух вот, например. Как можно дышать таким воздухом?

– Ну прости, дорогая, тут мы виноваты, ты уж нас прости: воздух действительно отвратительный. Почему-то ты про наши пробки умолчала. Какое слово у тебя вырвалось? Удобно, да? Удобно ей там. А нам пусть будет здесь неудобно.

– Вы мне уже кричали вчера, что я вас бросила. Не стала с вами здесь бороться за лучшую, прекрасную и разумную жизнь. А жизнь-то какая короткая. Сам видишь... На эту борьбу мою единственную жизнь...

– Да, да, да... А понаслаждаться? И так столько упущено...

– Ну конечно, в вашем представлении мы только и делаем, что перелетаем с Канарских островов на Гавайские...

Рука в серебряном браслете резко отводит занавеску, Шурочкино улыбающееся личико, смеющиеся глазки... О, значит ничего страшного.

– Юрий Сергеевич, пожалуйста, прекратите раздражать больную! – говорит Шурочка, шуршит бумажными лентами – повесила их на сгиб локтя, как купальное полотенце, расправляет, склоняется к Юрке.

– Я не больная, – протестует Александра, – какая я вам больная?

Они уже не слышат её и не обращают на неё никакого внимания: увлечены и сосредоточены, рассматривают кривые и значки на своих широких лентах, расстелили их на коленях, произносят непонятные ей слова, нарочно непонятные, играют в авгуров, точно, Шурочка что-то там подчёркивает и обводит кружочками. Юрка иногда соглашается, хмыкает, кивает, а иногда изображает сомнения и озабоченность, задаёт вопросы. Шурочка терпеливо растолковывает, сомнения исчезают – видно, что им приятно находиться рядом, как же это Светка промахнулась...

– Ну объясните по-человечески.

– Первый раз – прощается, второй раз – запрещается, а на третий раз – не пропустим вас. Будешь у нас, Санька, под наблюдением. Не всё тебе за нами наблюдать.

– Где это «у вас», интересно? Я улетаю семнадцатого.

Юрка обращается к Шурочке, указывает на Александру, выставляет в её сторону развёрнутую ладонь:

– Я вот говорю этой больной женщине...

– Сам ты больной.

– Я вот говорю ей, возвращайся. Нет, серьёзно, возвращайся, Санечка. У нас такая прекрасная родина, по древним городам России поедem... Подлечим тебя.

– Конечно, прекрасная, но немного как бы – бесчеловечная.

– А не надо выходить из своего круга.

– Но иногда приходится: к врачу, в сберкассu, на почту, в жилконтору какую-нибудь.

– Ну бывает, конечно, бывает... Да... Но прекрасная?

– Но и бесчеловечная!

– Ну хорошо, пусть. Прекрасная и бесчеловечная... А я тебе так скажу: люди-то хорошие, хоть иногда и безжалостные, как дети. Порядки скверные – ну так не с порядками ведь живём.

– Откуда порядки-то взялись? Кто их придумал? Вот вчера слышала, у тебя, между прочим. Не помню, кто сказал, может быть, Павел, что два народа, две России уставились друг на друга... с ненавистью, ждут...

– А люди всё равно какие отзывчивые бывают. На днях возвращаюсь поздно, на метро, кстати. И мы, случается, на метро ездим. Машину вот Шурочке отдал – у неё там с матерью... Устал как собака и заснул, очнулся, смотрю – уже Озерки. Надо мной мужик склонился, пьяненький, держится за поручень, качается: «Ну, ладно, – говорит мужик, – пойду я. Приехал. Ты сам-то как? Дойдешь?..» Участливый. Сам еле стоит, лыка не вяжет, а позаботился. О чужом человеке позаботился.

– Ох, недодали тебе ласки в детстве, – насмешливо произносит Александра и спохватывается в момент говорения, но слова уже вылетели, ужасно получилось, неловко. Она делает волнообразное движение кистью, как будто развеивает дым, но от слов не отмахнуться. А может быть – и ничего. Инвалидам (есть такая теория) рекомендуют спокойно обсуждать свои дефекты, и всем прочим страдальцам советуют психоаналитики проговаривать свои комплексы, преодолевать их, так сказать, вспоминать и анализировать – и жить дальше нормально. Ну не было нормального детства у Юрки, а у кого оно было – у Пашки, наверное, да, было.

– Есть время собирать ласки и время раздавать ласки, – ни к селу ни к городу замечает Юрка, смеётся и смотрит на Шурочку – нет, не смотрит, а быстро и любовно взглядывает и, кажется, подмигивает. Милая игра, весёлые шашни.

Шурочка сворачивает свои ленты, улыбается, опустив глазки. Сколько же ей лет, за сорок, это уж точно, а вот сын, вчера кто-то сказал, уже в аспирантуре – ничего теперь не поймешь: подтяжки всякие – или здоровый образ жизни? Как это может быть при такой экологии? Но всё-таки вполне молодая, стройная, лицо гладкое, умница, молчаливая.

– Ты, знаешь, когда приедешь, все-таки понаблюдайся, Hausarzt там у тебя есть? Ну что я тебе буду объяснять: здоровье от самого человека зависит. Все в конце концов сводится к обмену: чтобы молекулы правильно выстраивались и функционировали в нужном порядке, Ordnung, понимаешь? Знаешь такое слово? Мы можем только этому процессу помочь, ну и человек сам тоже, а хоть бы и самовнушением...

– Такими точно словами?... функционируйте, миленькие молекулы...

– Не волнуйся, там такие слова понимают. Ну всё, Санечка, ты одевайся, а я пошёл, Шурочка с тобой дополнительную беседу проведёт и бумажки все подготовит – твоему хаусарцу покажешь, zum Vergleichen, для сравнения динамики, так сказать, а вечером я за тобой заеду...

– Как? Опять?

– Не то, что ты думаешь.

Юрка задерживает за собой занавеску, через секунду уже орет на кого-то – нет, это он просто так разговаривает, и пока Александра одевается, она слышит его повелительный телефонный голос:

«Так, на чём мы остановились... Открыл?.. Полностью окклюдированная... нет, лучше так, напиши просто: закрытая правая коронарная артерия. Проще, надо проще, но как можно точнее. Идём дальше. Открыл? Состояние после ангиопластики и имплантации трёх стентов. Правая коронарная артерия полностью открыта без остаточных стенозов. Проводник еще находится в задней межжелудочковой артерии. Процедура выполнена пациенту из Туркмении доктором Денбергом».

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ

Павел не смотрит на Тину, как будто её здесь нет: сделал отсутствующее лицо, взгляд устремил куда-то в стену, допивает свой чай, докусывает свой бутерброд. После вчерашнего крика: «И ты осмеливаешься снова у меня просить, он думает, что я всё забыл!» – они опустошенно и молча сидят за столом. Тина ждёт, когда он, наконец, уйдёт. Точно так же в полном молчании выпила свой кофе Настя, за руку выдернула из-за стола испуганную Сонечку. Девочка обернулась, взглянула расширенными глазами, побежала за матерью, чуть не сбила с ног выросшую в дверях Марину Сергеевну – страшную, всклокоченную, без зубов, с запавшими щеками, в какой-то ночной хламиде. Вцепилась в косяк костлявой рукой: «Пашенька, я должна тебе сказать...» – «После, мама, после...» – «Но я не могу есть эту еду, Валентина вообще никогда не умела готовить, а сейчас... я силы теряю от голода, но не могу прикоснуться к этой гадости», – дрожащим скрюченным пальцем ткнула куда-то в сторону плиты. «Замечательно, – неожиданно для себя вскрикнула Тина, – а кто съел пять котлет вчера? Кто? Я вас спрашиваю. Кроме вас никого дома не было». – «Ты считаешь котлеты? О!!!» – «Ну всё, я пошел», – Павел скомкал и бросил на стол салфетку, настоящую – не бумажную, а льняную. Салфетки эти еще со времен Пани были заведены. Паня их крахмалила, гладила, в серебряные кольца вдевала (кольца куда-то укатились, а салфетки остались.). Остановился, глянул, снова отвел глаза, выдавил из себя: «Панихида в двенадцать...». Повернулся, пошёл.

Марина Сергеевна задрожала всем телом, затряслась: «Постой, Пашенька, постой... с кем же мне поговорить. Ах так, ах так! Я удаляюсь и прошу меня не беспокоить... буду лежать, так меня и найдёте». Через две минуты возвращается как ни в чём не бывало: «Ничего не хочу сказать...» – «Вот и не говори, мама, не напрягайся». Павел хлопывает себя по карманам, достает какой-то листок, сосредоточенно читает. Старуха держит паузу и с достоинством начинает снова: «Ничего не хочу сказать дурного про Валечку: она всегда была хорошей женой, но Прасковья готовила лучше, ведь ты не станешь, Паша, это отрицать. Если бы не ваше

хамство и безразличие, Паня бы не ушла, и мы были бы избавлены от многих проблем. Я тебя, Паша, настоятельно прошу: съезди в Купчино, извинись, пусть Паня вернётся». – «Мама, никакого Купчина уже нет, и Паня давно умерла». – «Что ты несёшь, Паша? С какой стати ей умирать. Она здоровая деревенская женщина, привыкшая к работе и движению, выросла на деревенском масле... И не делай из меня идиотку, пожалуйста, – как это нет Купчина. Вчера только в новостях передавали, что в Купчино случился пожар по вине пьяных бомжей». – «Мама, это не то Купчино, это большой район, станция так называется, а деревни Купчино нет». – «И всегда была станция. И район этот. У меня там знакомые живут, а рядом Панина деревня – Купчино. Между прочим, бомжи эти... это же ужас какой-то, мне одна женщина с третьего этажа рассказывала...».

Тина вцепляется в собственные волосы (боль вернулась), сдерживает стон, поднимается, отворачивается, чтобы никто не успел заглянуть ей в лицо, – никто, собственно, и не собирался заглядывать, подходит к окну. За окном серая морось, непроглядная плачущая даль. «Я не хочу, чтоб ты увидел, как я заплачу». Нельзя ненавидеть больную старуху. Это грех. А лицемерное терпение Павла? Вот это не грех. Можно немного и потерпеть, а потом он уйдёт и всё забудет: и сумасшедшую мать, и её, и Андрея с его долгами, перфомансами и поперечными шрамами – всегда умел быстро переключаться, даже её пытался учить; на старом черномобеле «Рекорде» был такой рычажок, с трудом надо было его поворачивать, а сейчас совсем просто – пульт управления: нажал без всякого усилия кнопку, и ты уже в другой программе.

И он уходит. Из прихожей доносится едва различимое лепетание: «Пашенька, надень дублёнку, погода такая обманчивая...». Клацает замок. Противный визг колёсиков задерживается на мгновения у кухни, медлит – но передумывает и заворачивает к себе, в конец коридора.

Вот и прекрасно. Тина остаётся одна, расправляет брошенную Павлом салфетку и вдруг снова комкает и с ненавистью бросает её в мусорное ведро.

Шорох за спиной, чьи-то руки обнимают её за плечи. Иринкина щека пахнет мёдом, молоком – или черёмухой или цветущей акацией, или цветами липы, чем-то молодым, пленительным и нежным: «Тин-Тин, не расстраивайся, плюнь и разотри». – «Девочка моя, если бы не ты, если бы не ты...» Иринка хватает из вазочки печенье: «Тин, я сегодня поздно приду, у Ксюшки день рождения, мы в "Саквояже" отмечаем». – «Сколько тебе надо? Ведь еще и подарок нужен...» – «Тин, ну ты даёшь, ты что, думаешь, я такая корыстная. У меня еще осталось, прошлый раз за меня Ден заплатил. Я тебе вечером расскажу. Ты знаешь, что он мне сказал? полный улёт, полный... Я такая счастливая...»

Тина еще не совсем понимает, зачем она включила компьютер. Прогулки в сети её уже давно не занимают. Ни выборы, ни митинги, ни глобалисты, ни антиглобалисты, ни марши согласных или несогласных, никакие новости, скандалы и катастрофы ничем не отзываются в душе. Запредельное торможение. Настя так и говорит: запредельное торможение. Медицинский термин: охранительная реакция организма на сильные раздражители – организм себя защищает от болевого шока. Предел работоспособности нервных клеток. Защищается организм. Постоянное, хроническое, запредельное торможение, с провалами сознания – вот зачем-то включила компьютер. Почти бессознательно. Какая-то мысль мелькала. Может быть, чтобы отвлечься. Нет, все-таки цель у неё была, только забыла... Но мысли бегут, сменяя друг друга, терзают. Заглянула в почту Павла – пусто, полковнику никто не пишет. Надо будет позвонить Надежде. А что сказать? Слов таких еще никто не придумал. Зашла к Иринке. Пубертатные страсти:

Народ привет..(странно, они обычно пишут на олбанском – превед) У меня можно сказать тупая проблема. Мне очень нравится парень из моей школы, нет, я по нему просто с ума схожу! Продолжается это уже почти 7 месяцев. Я учусь в 6 классе а он в 10. Да да да... смешно конечно, но вы не подумайте, что я таам малявка или ещё что то, я абсолютно нормальная, и уж темболее я должна по иде быть в 8 классе, но не сложилось... и вот я схожу по этому парню с ума и не знаю что делать. У него была девушка которая учится в его классе но он её бросил а она его до сих пор любит но он её можно сказать избегает... Она меня терпеть не может, просто такие взгляды кидает, её подруги тоже самое но а самое страшное, что он просто... Как мне поступить????? Я теряю разум... Help, help!!!

Нет, это не Иринка, это ей кто-то переслал. Френды серьёзно реагируют на крик о помощи. Почти нет юмористических замечаний. Юмористов, наверное, забанили – так они говорят. А вот и нет. Встречается юмор. Это уже на другую тему, да, но это пишет другая, постарше. Целый рассказик.

Дорогие френды, уважаемый Народ, со мной вчера произошло такое кино. Началось с того, что из метро я пошла на автобусную остановку, встала там, засунула в рот сигаретку, в уши наушники и стала ждать маршрутку. Приехала она минут через пятнадцать, почти пустая, только мама с сыном, сидят спиной к водителю. Сидят беседуют. А у меня музыка в ушах, но я все равно слышу, и слышу я, как этот самый сын, такой парень лет... гм... за 20? делает что-то неопикуемое. Он, сидя в маршрутке, рассказывает своей маме, что он гей. Вот именно. Тихо так, наклонившись к ней, вполголоса говорит, очень спокойно и убедительно: «Мама, ну я же знаю, что ты очень нервничаешь всегда. Ну согласись, мама, что ты где-то даже истеричка, вот я и подумал, что здесь, например, ты постесняешься, а дома - это же ужас что будет»... Мама поднимает на него стеклянные глаза и говорит: «Я правильно тебя поняла, Вова?» Вова кивает головой: «Да, мама, именно это я и хотел тебе сказать. Я больше не буду жить с тобой и с папой – я буду жить со своим парнем, он хороший, он тебе понравится, ты же всегда хотела, чтобы у тебя было два сына»... У мамы на лице написано просто какое-то вселенское охуение, она смотрит на него, и видно, что ни одной из своих мыслей озвучить просто не в силах. А маршрутка тем временем стоит на остановке, потому что людей мало – водитель не хочет ехать пустым. В маршрутку заходят люди, садятся, никто не обращает на них внимания, у большинства – наушники в ушах. И тут маму накрывает. Она вскидывается, и уже довольно громко: «Кааааааа? Воова!!! Ты это мне сейчас хочешь сказать, что у меня никогда не будет внуков?!! Как ты можешь, Вова?! Я, еще вполне молодая женщина, так хочу стать бабушкой, а ты вот прямо так щас сядишь и спокойно мне говоришь, что у меня не будет внуков???» Люди в маршрутке заинтересованно поворачиваются в сторону Вовы. Наступает тишина. Я сажу напротив и делаю вид, что ничего не слышу, у меня в ушах наушники, мне неловко. И смешно. Смешит меня именно мальчик Вова: у него вид человека, которому больше уже нечего терять. И он готов на любой прилюдный цирк, лишь бы не дома, за запертой дверью. Наверное, он хорошо знает свою маму. Вова слегка наклоняется к маме и так же ровно, спокойно и тихо говорит: «Ну мама, разве речь об этом? Я просто хочу тебе сказать»... – «Что ты голубооооооооо????» – взвывает мама на всю маршрутку. Вот это услышали даже те, у кого орет в наушниках. Обернулся даже водитель. Тем временем маршрутка уже проехала две остановки и снова встала, водитель опять ждет, пока соберется больше пассажиров. И тут начинается, собственно, кино. Я сажу напротив мамы. Ее вдруг осеняет, она смотрит на меня в упор и говорит: «Девушка, ну вот хоть вы мне скажите, раз уж так получилось, это нормаааально??» Вова говорит маме: «Мама, не надо у ЭТОЙ девушки ничего спрашивать». Мама отмахивается: может

быть, она видит во мне приличную тетку? И продолжает: «Нет, погоди, Вова, вот девушка, взрослая, спокойная такая, вот я хочу, чтобы она мне сказала: это нормально – то, что ты вот сейчас мне говоришь??» Я смотрю на нее в упор и говорю: «Да, это нормально». По лицу парня кажется, что он сейчас заржет в голос. «Как нормааально??» – выдыхает мама. Вова еще раз повторяет: «Мама, не надо ничего спрашивать у ЭТОЙ девушки! Она ничем тебе не поможет, спроси лучше вон у той», – и указывает на девушку рядом со мной. Та спит, запрокинув голову назад, в ушах у нее наушники. И вот в этом месте мама делает ход конем и спрашивает: «Девушка, у вас же, наверное, есть парень?!» Теперь Вова смотрит на меня в упор, я подавляю желание сказать «да». Вместо этого я говорю «нет» и понимаю, что шоу, сука, маст гоу он. Мама замолкает на 10 секунд, потом, еще не понимая, чем это закончится, спрашивает: «Почему?» Я глубоко вдыхаю и говорю в маршрутке, почти полной людей, совершенно незнакомой тетке: «Потому что я – лесбиянка». Мужик сзади подавился жвачкой. По боковому флангу заржали две девушки. Вова продемонстрировал ямочки на щеках и сказал мне: «ЗАЧОТ». Маме: «Я же говорил, мама, это не тот человек, который может тебе помочь...» Мама, видимо, поняла, что это есть всемирный заговор, и спросила у девушки рядом со мной: «А ВЫ? ВЫ ТОЖЕ ЛЕСБИЯНКА???» Девушка проснулась, встрепенулась, вынула из уха наушник и удивленно сказала: «Нет! Я – нет. А у вас какие-то проблемы?» Ржали все, даже почему-то мама Вовы. Но я думаю, это у нее нервное. В этом месте я гаркнула: «Остановите на светофоре!», – и вышла. Когда я закрывала дверь, Вова сказал одними губами: спа-си-бо. Думаю, ему еще будет весело, этому Вове. А я до сих пор чувствую себя замысловато.

Тина представляет, что переживает мама этого неизвестного Вовы, усмехается: мне бы ваши проблемы, если бы могла, сказала бы: это еще ничего, вот когда знакомый врач будет объяснять, как правильно нужно резать вены... чужую беду, как известно... Она снова просматривает почту Павла, по нескольку раз читает одни и те же письма, уже понимает, что ищет какое-нибудь письмо Николая Башутина, но не находит. Зачем им переписываться – они и так видятся каждый день, и всегда был молчун, а после гибели Лидуши вообще никуда не ходит, ни с кем не общается, говорит только о работе, а из Южной Кореи будет писать на институтский адрес. Но он еще не улетел, это точно. А когда он должен улететь? Хотелось бы знать. И если у него есть... он без звука выложит. На что ему теперь копить...

В этот момент взрывается телефончик – Андрей, ну конечно, это Андрей, а ничего она не может ему сказать, мелькает подлое желание не ответить, подождать, оттянуть мгновение, но все-таки включает зеленую кнопку. И сразу же узнает голос.

«Приезжайте скорее, – шмыгающий, плачущий голосок, – я не знаю, чё делать. Ильяс тоже в отключке. К нам Скорая не едет: говорят, нет такого адреса, и он тоже не велит, боится – убьют. Велел вам звонить. Он сам не может. Приезжайте, пожалуйста, приезжайте...»

«Что, что, что? Подождите, подождите... что с ним? Как это он сам не может? Почему?»

«Я не знаю, он иногда сознание теряет. Я боюсь, приезжайте...» Бессвязный бред, ничего не понятно. Гудки.

Старуха стучит палкой в дверь, встала все-таки: «Что, что случилось?» – «Отстаньте, уйдите, не мешайте». – «Я всем мешаю, да, я всем мешаю...» – «Идите к

себе Христа ради. Да, мешаете вы, давно всем мешаете, уйдите...» – «Тебя Бог накажет!» – «Уже, уже... опоздали со своими проклятиями».

Тина задыхается, хватается за ингалятор, потом за телефон, набирает Настю. Настя, узнав её голос, не слушает и агрессивно начинает:

«Мама, я тебя много раз просила на работу мне не звонить...»

Потом замолкает. «О Господи...» Молчит. Очень долго.

«Настя, Настя, ты слышишь меня?»

«Спускайся вниз, жди меня внизу, я за тобой заеду. Что? Минут пятнадцать».

Тина мечется по квартире, стонет, отталкивает Марину Сергеевну, собирает вещи: деньги, ключи, мобильник, ингалятор, натягивает сапоги, вдевает руку в рукав шубы, бросает её на пол – очень тяжелая, выхватывает из шкафа пальто, несется к лифту. В лифте, в зеркале, отражается её лицо с застывшими глазами. Аккуратно заправляет волосы под шапку, смотрит себе в глаза. Потом стоит у парадной. Похолодало. Медленные мелкие снежинки повисли в воздухе. Соседи проходят мимо, смотрят внимательно, слишком вежливо здороваются, как будто что-то знают, она кивает в ответ. Такси останавливается с резким визгом. Настя выскакивает, помогает ей забраться на переднее сиденье.

«Ты там уже была, покажешь, как проехать».

К счастью, таксист знает дорогу. «О! Богема и бомжатник в одном флаконе. Чё вы там потеряли...» Всю дорогу весело болтает, кокетничает с Настей посредством зеркальца, непрерывно его поправляет. Молчание Насти ему не мешает. Тина едет с закрытыми глазами. Запредельное торможение, отключение: животные отказываются выполнять простейшие команды и даже засыпают.

* * *

– Куда это? Чё такое? – спохватывается водитель, – он же в крови ... Вы чё, охуели совсем, мне ж людей потом возить. А ну вылазь! Вылазь, говорю. Не повезу, слышь? Всё равно не повезу. Скорую вызывайте.

– Третья Градская! – повелительно бросает Настя и, не обращая внимания на вопли водителя, продолжает заталкивать Андрея на заднее сиденье, подхватывает его ноги, сгибает, двигает, утрамбовывает в темную глубину машины, садится сама с краешку, оглядывается и кричит на Тину:

– Мама, ну что ты стоишь, садись вперёд.

Водитель матерится, крутит головой, злобно скалится, открывает свою дверцу, выпускает даже ногу наружу. Тина с ужасом представляет, как он сейчас начнёт вытаскивать Андрея на проезжую часть. Но он... медлит. Настя протягивает ему пятьдесят долларов. Он шумно вздыхает, успокаивается, но ворчит:

– Евриками надо

– Перебьешься. Мама, да садись же наконец. Третья Градская. Знаешь?

– Ну!? Как не знать, барыня, – другой голос, совсем другой, придурочный немного, но не злобный, – Третья *Истребительная*. Как не знать.

Тина вздрагивает. Точные, незатейливые слова находит народ, чтоб ему пусто. Городской фольклор – замена гражданскому обществу. Неумирающая и горькая российская шутка. Жить-то надо.

– Ладно тебе, не пугай людей, у нас там знакомый... профессор.

– Ну, ежели знакомый... профессор... тады ничаго. А это, что ль, мужик твой? Что-то уж больно молод для такой самостоятельной...

– Брат.

– Ух ты, была б у меня такая сеструха, я б и не женился никогда.

Андрей что-то невнятно бормочет, что-то протестующее, но говорить ему трудно, язык еле ворочается, он стонет. Рука его прижимает комок окровавленной

тряпки к губам. На голове самодельная расплывающаяся повязка (зеленоволосая соорудила) в темных, уже подсохших пятнах. Извилистая струйка крови, тоже уже засохшая, тянется из-под повязки, вокруг уха, по шее вниз, за воротник.

– Ну ладно, разговорчивый, трогай давай.

Тина тупо смотрит перед собой, но сквозь отупение привычно отмечает, как Настя быстро справилась с таксистом, как вообще легко управляет такими людьми, всей этой сферой обслуживания: непринуждённо переходит с ними на ты, как-то ловко у неё всегда получается – при этом понятно, что она барская дочка, а вот он нанят на время, и его «ты» – это знак мгновенной симпатии и подчинения. Тина сама всегда боялась парикмахерш, таксистов, официантов, не знала, как с ними разговаривать, сколько давать на чай – не переплатить бы, и они, словно чувствуя в ней бывшую свою, не скрывали пренебрежения – так ей казалось, за версту чуяли севшую не в свои сани, отбившуюся от их стаи, забывшую их язык. А вот Настя умеет «себя поставить». Пятьдесят долларов, конечно, аргумент... Но не только. А движение, каким деньги протягивают – такое небрежное, а лицо такое уверенное, а повелительный голос...

Машина медленно трогается по колдобинам в обратный путь. Зеленоволосая девушка смотрит им вслед растерянно, светлая куртка её измазана кровью Андрея. Хорошая девочка. Тина не успела её поблагодарить. Бледный и надолго перепуганный Ильяс едва шевельнул рукой на прощанье.

В приемном покое им сразу же указали в конец очереди. Нам срочно, срочно. Видите, он уже без сознания. Посмотрели на них презрительно: «Здесь все такие. Без сознания. Ждите. Куда вы рвётесь, женщина, вам говорят: ждите, видите, что сегодня творится». Отвернулись. Безразличные.

«Пьяная травма?» – вопросительно выкрикнул тощий в бывшем белом грязном халате, просквозил мимо, толкая перед собой каталку с недвижимым телом. Единственный, кто обратил на них внимание. «Нет, нет, не пьяная... его убивали...» – закричала Тина и бросилась за тощим. Но он затолкал каталку в открывшийся лифт и плавно поплыл наверх.

– Мама, перестань метаться. Несколько выбитых зубов еще не повод... Сейчас тебе скажут, что здесь всех убивали.

– Денег пожалела – проценты свои боялась упустить. На ваших глазах брата и сына убивали... вы и пальцем не двинули. Только о себе, о себе...

– Да-да, о себе и своих детях. Я должна думать о своих девочках. Больше никому о них думать. А он о ком? Он о ком-нибудь, кроме себя, когда-нибудь думал?

– Я бы потом тебе отдала...

– Мы это уже слышали. Я уже сказала... За ним еще старый должок... И вообще, это не связано, понимаешь ты, кредиторы теперь никого не убивают. Какой смысл... Так вообще ничего не получают. Это совершенно не связанные вещи. Просто у них внутренние разборки. Пойми ты, наконец.

– Сама ты ничего не понимаешь. Это предупреждение. Ты что думаешь: он ссуду в банке брал? Откуда тебе знать, кто у него кредиторы. У него голова пробита... черепно-мозговая травма... Чем это грозит, знаешь?... Отёк мозга.

– Только, пожалуйста, без этих твоих предварительных диагнозов.

– Позвони еще раз дяде Юре, позвони...

– Мама, успокойся, его пошли искать, мобильник не отвечает.

– Позвони еще раз отцу.

– Ну я же звонила только что. При тебе. Ты же слышала. Ты уже вообще ничего не понимаешь, у него же такой день...

– У каждого свой «такой день». У нас вот «такой день», уже час прошел, как ты звонила... Позвони, тебе говорят. Всё время звони.

– Хорошо, хорошо, – устало соглашается Настя, отводит глаза, роется в сумке, достаёт пачку сигарет и зажигалку, – через десять минут позвоню, хорошо? Я пойду покурю, тут на площадочке, я ненадолго, ладно?

Андрей вдруг открывает глаза и жалобно просит сигарету.

– Я с вами с ума сойду, – всхлипывает Тина, – ты что, Андрюшенька? Здесь нельзя. Ты же в больнице.

Вдруг Тина спохватывается, кричит в спину удаляющейся Насти:

– Подожди, подожди. Боже, я совсем забыла, а как же Сонечка? Кто же её накормит? Старуха сегодня совсем плохая. Поезжай домой, я теперь сама справлюсь.

Настя останавливается, раздраженно вздыхает:

– Ирка накормит. Там есть котлеты и винегрет остался.

– Ирочка сегодня с девочками отмечает что-то в этом их... чемодане... для каких-то шпионок. Она задержится. Я забыла тебе сказать...

– Та-а-к... Понятно. Снова в «Саквоаж»... Медом там намазано. На какие шиши? Ты опять дала ей деньги?

– Дай сигарету, сука, – шепчет Андрей.

Настя, не говоря ни слова, уходит. Андрей снова отключается, сползает по спинке хлипкого кресла, валится набок, ноги его скользят и шаркают по старому разодранному линолеуму. Тина с трудом удерживает Андрея, из последних сил, обнимает его.

– Сын?

Местная бабка самого низшего, нижайшего медицинского разряда, санитарка или уборщица, или, как раньше говорили, нянечка, остановилась перед ними, сцепила руки на животе, с любопытством разглядывает Андрея. Тина кивает. Бабка участливо вздыхает:

– Вот горе-то. Долго ждете-то? День такой. Не заладилась с утра: и везут, и везут. Каталки вот кончились. Каталки надо теперь ждать, когда освободятся. Бабка поясняюще указывает на объявление: «Подача больных только на каталках». Объявление висит над кабинетом дежурных врачей. Очередь к ним давно не двигается.

– Я заплачу, – говорит Тина.

– Охо-хо-хо, пойду поищу...

Бабка ковыляет в конец длинного коридора и через некоторое время возвращается, везёт довольно подозрительную каталку – доисторическое сооружение дребезжит, колёса вихляются, дерматиновое покрытие почему-то зверски изрезано, но зато брошено к изголовью серенькое унылое одеяльце.

– Только ложь его сама, – говорит бабка, пряча в карман фиолетовую бумажку, – не обижайся: мне спину надрывать нельзя. И туда, туда кати, к девкам, они примут...

Девки – это озверевшие, сорвавшие голос медсёстры, принимающие несчастных. Ну да, это же приёмный покой. «Да нет – это чистый ад», – могла бы подумать Тина, если бы оглядела взглядом постороннего человека это просторное дурно пахнущее помещение, наполненное стонами и болью. Но, увы, она здесь совсем не посторонняя и оглядывается вокруг с жалкой надеждой на помощь. Она не в состоянии уложить Андрея. Но никто не идёт на помощь. И Насти всё нет и нет. И мыслей никаких в голове нет. А в голове одно лишь страдание. Когда Настя была маленькая, Павел спрашивал, целуя её пушистую головенку: «Что у тебя в голове?» – и Настя гордо отвечала: «В голове у меня – ум». И начинались бурные объятия и восхищенные вопли: любимая, умная дочка, красивая девочка. Такая у них была игра. А Тина как-то сказала: «А вот у меня в голове – одно страдание». Семейная, часто пересказываемая шутка. Она сама улыбалась вместе со всеми, делала вид, что да, тогда вот вырвалось, в тот неудачный, в какой-то не самый счастливый момент, но вообще – ничего, нормальная жизнь, вполне терпимо,

как у всех и даже лучше, намного лучше, чем у всех. Семья, двое детей, муж, квартира в центре, дача, да еще какая дача! получше, получше, чем у разных прочих. Пусть видят, пусть знают, пусть завидуют – какое еще страдание. А вот ведь бьётся оно, не даёт дышать...

Тина одной рукой вцепилась в каталку: могут увести, такой народ кругом, нужен глаз да глаз – другой рукой обнимает Андрея, чувствует себя абсолютно беспомощной и незащищенной. Гипнотизирующим взглядом она смотрит на дверь и уже не замечает, что причитает в голос и зовёт: «Настя, Настя, Боже, сколько же можно...». Но дверь на площадку то и дело с жутким грохотом открывается и закрывается, как будто гвоздь вбивают ей в голову. Но появляются всё какие-то чужие. Озабоченные, бегущие, ковыляющие – ненужные. А Насти всё нет.

Так продолжается невыносимо долго. В прямом смысле. «Я больше не вынесу». Она понимает, что еще мгновение – и она сама соскользнет на этот грязный пол, где уже валяется её пальто, куртка Андрея, еще какие-то их вещи...

Настя врывается внезапно и бурно, как невысказанное чудо, с прижатым к уху телефончиком и радостным воплем: «Дядя Юра, Юрий Сергеевич, наконец-то! Мы здесь, здесь, в приёмном покое, напротив ...»

– Отключите немедленно мобильники, – орёт одна из «девок», приподнимается из-за стойки и тычет куда-то вверх – там тоже висит грозное запрещающее объявление. Медицина должна быть строгой.

Настя как будто не слышит эти крики и продолжает разговор спокойно и громко.

И вот он появляется, Юрий Сергеевич, – огромный, толстый, спокойный, спустился откуда-то сверху. Высшее существо – оно наверху существует, недоступное. Перед ним все расступаются и затихают. Орущая медсестра тоже видит его, перекошенное лицо её мгновенно застывает, с некоторым усилием она закрывает рот и недовольно опускается за свою стойку – торчит одна лишь накрахмаленная шапочка, – через секунду снова орет, но уже на кого-то другого.

– Ну, ваше семейство не оставляет меня своим вниманием, – говорит Юрий Сергеевич и склоняется над Андреем. – Ну давай, голубчик, поднимайся.

Андрей открывает глаза, смотрит вполне осмысленно, уголком рта обозначает виноватую улыбку. Пытается приподняться.

– А вот каталка... – лепечет Тина

– Зачем?

– Ну как же... – и Тина показывает на кабинет дежурных врачей: *подача больных только на каталках.*

– Вот идиоты. Это к нему не относится.

– Ну как же так, а я заплатила...

– Ты, Валька, как была душой, так и осталась, – наклоняется к её уху Юрий Сергеевич, слегка понижает голос, но так, совсем чуть-чуть, формально. Все слышат. И Андрей, и Настя. И даже посторонние слышат и оглядываются. Ты хам, хам, хочешь сказать Тина, при моих детях... совести у тебя нет, ты как был хамом, так и остался, но сдерживается. А можно было бы и не сдерживаться. Андрею это не повредило бы. Юрка всегда разделял Павла, детей и её – она для него навсегда осталась кухаркиной дочкой. Но все-таки Тина молчит, глотает обиду и почти словами думает про себя: они меня не уважают, они все меня не уважают, никогда не уважали... и не любили, ах это стало тебе понятно только сейчас? нет, всегда, всегда... понимала. «Перетерпи, – внушала мать, и сама боровшаяся за молодого отчима тихими деревенскими средствами, – перетерпи, и всё пройдет, а зато он останется с тобой, никуда не денется, вот увидишь, глупенькая, никуда он не денется, потерпи немного, у тебя дети...» Вот и привыкла терпеть и сдерживать себя.

Откуда-то появляется инвалидное кресло с огромными колёсами, сияющее дюралевыми трубками, с мягким сиденьем и удобной подножкой. «Вот, пожалуйста,

Юрий Владимирович». Кто-то молодой, учтивый и старательный ловко разворачивает кресло, услужливо подсовывает, сильные руки умелого Юркиного сотрудника подхватывают Андрея под колени и под мышки, без особого усилия, быстро, но осторожно, почти нежно, опускают его на мягкое сиденье, откуда-то взявшаяся третья рука поддерживает его голову, а четвертая рука устраивает его ноги на удобной подножке. Тина тянется к сыну, промокает ему салфеткой вспотевший серый лоб, на самом деле – просто хочет к нему прикоснуться, погладить. Юрка делает рукой отстраняющий жест, отодвигает Тину, ей кажется – просто отталкивает, и направляет кресло к лифту. И снова все расступаются, замолкают. Бледные, печальные, недобрые лица рефлекторно поворачиваются, провожают коммерческое кресло остановившимися глазами, смотрят без любопытства, без зависти, без надежды – к ним не спустится Высшее существо, они знают – и не ждут и не надеются. Надежды нет, но и смирения нет. Одно лишь беспомощное раздражение.

По дороге Юрий Сергеевич, свернув голову набок, уже начинает что-то выяснять и выспрашивать у Насти, что-то поучающее втолковывать – голос уверенный, лицо властное, – и Настя семенит рядом с ним, готова, как послушная, внимательная школьница, выполнить любое его приказание или просьбу. Лифт проглатывает их, смыкает челюсти и возносится.

Тина остаётся одна. Долго сидит в оцепенении. Через некоторое время на неё уже никто не смотрит. Все равнодушно отвернулись и погрузились в свои беды.

Она начинает собирать вещи, поднимает и отряхивает пальто, проверяет перчатки в карманах и шарф в рукаве, долго ищет завалившуюся в грязную темноту под креслом свою шапку, открывает и закрывает зачем-то сумку, бессмысленно щелкая и так слабым замком, наконец перекидывает пальто через руку, куртку Андрея прижимает к груди – воротник уже задубел, пропитался засохшей кровью. Куртка хранит запах Андрея. Она вдыхает этот запах, выпрямляется, взгляд обегает шумный и уже привычный ад, ищет медицинскую шуструю бабку. Но бабки нигде нет, и каталка тоже исчезла.

Слёзы вдруг неудержимо вырываются прямо из сердца.

И она плачет, плачет...

Окончание следует.

ТАКАЯ ШТОПАНАЯ ЖИЗНЬ

Весна

Эти голуби-орлы
с подоконника –
со своим курлы-мурлы,
и покойника
поутру в 5.50
воскресят.

Им плевать в конце-концов,
мамкам-папочкам,
что сейчас не до птенцов.
Брошу тапочком:
с подоконников и крыш
наших – кыш!

Завела весна опять
те концертники...
Не пора ли покупать
контрацептики?
Все же лучше прикупить,
чем топить...

* * *

Мне снилось: я – Илья Ефимыч Репин,
рисующий в манере Art Nuvo.
За то, что череп твой великолепен,
я восхвалял дантиста твоего.

Сверкая декольтированной шеей,
как говорится – сделав первый шаг
к взаимности грядущих отношений,
ты предлагала кофе, чай, мышьяк...

Тогда из глубины водоворота –
из самых подсознательных колец –
возникла мысль, что все мужского рода,
поскольку все имеет свой конец.

И я увидел Рай, который словно
Одесса – где платаны и причал...

Спросили:

– Вы из Ровно?

– Нет, из Ковно, –

я ангелам небесным отвечал.

Когда в окне реальность забелела,

я пробудился с криком: помоги!

Болела на заре нога, болела –

как будто оторвали полноги...

Уже взбиралось солнце по канатам,

чтобы окрасить небо цветом blue,

Я понял: я – патологоанатом,

и знаю, почему тебя люблю.

Лирика-3

1

Сокрушенный дневною мукою,

что утроена по ночам,

не хочу в колдовство с наукою –

по ведуньям и по врачам...

Ты не близкая и не дальняя –

и такую ты можешь быть.

Умоляю я: или дай ее –

или дай мне ее забыть...

2

Ты была бесшабашной, шумной...

Но словами, лицом, фигурой –

утверждаешь, что стала умной,

а вот раньше была ты душой...

Изводясь от любовной мании,

об одном постоянно думаю:

в твоём собственном понимании,

ты не раз ещё станешь душой.

3

Я тебе интересен, почти родной,

и любовь моя без эрзаца,

потому, что и ты – это три в одной,

от такого не отказаться.

Ты вернешься ко мне не любя? Любя!

Не сейчас – так немного позже...

Потому, что стихи рождены от тебя,

и они на тебя похожи.

* * *

Еще недавно говорил: «Виват,
моя любовь! Прорвемся мы, поверь мне –
сквозь многие года, по меньшей мере...»
И я был прав, но в чем-то – виноват...

Не из-за романтических утех
извелся, исстрадался, изнаосился?
Смешно, просил любви – и допросился...
И вот она не там, и не у тех.

Она меня убила. Много раз –
как поп собаку... Что сказать – сурово...
Спроси: хочу я возродиться снова?
Спрошу: а будет лучше, чем сейчас?

* * *

Мне главной роли не играть...
Уже страдал, уже лечился,
уже могу не умирать,
но жить – еще не научился.

Ведь ты – по сути, инженеру –
мне отвела такую нишу:
понадобисься, позвоню
(нашла по вызову парнишу).

Поверь, что это не по мне, –
но я согласен, как ни странно,
на этой сцене-простыне
исполнить роль второго плана.

Ты не звонишь, но, может быть
(а что с того – нормальный бартер),
вдруг разрешат тебе любить
юрист, психолог и бухгалтер.

И все-таки (на том стою),
факт неотзывчивости странен:
когда в любовь брала свою,
ты знала – я душевно ранен.

Проблемы есть – когда их нет?
Причины есть – всегда бывают...
Но ведь меня-то – убивают!
Кричу, а ты молчишь в ответ.

Некростишья

Чашка кокнулась,
завершив полет.

Кошка чокнулась
и вовсю орет.

Не поможет тут
антидепрессант:
быт – тяжелый труд,
а не детский сад.

Впрочем, этот быт –
далеко не все...
На стене висит
падло Пикассо.

Это кто б ее
резал на куски?
«Баба». Копия.
Рамка из доски.

Долго мучалась,
или вмиг – как тромб?
Жизнь закончилась –
поломался комп.

* * *

А доктор выписал таблетки
от бешенства – по штуке в день...
Держись вдали от табуретки,
чего не надо не надень.

Сам из себя не делай лоха,
несчастный случай – не успех,
о мертвых – хорошо и плохо,
и, в общем, так, как обо всех.

Смотри, как падают орехи –
и от паденья удержишься.
Стишок-стежок – и нет прорехи.
Такая штопаная жизнь.

* * *

Просто так сидим, куда-то едем,
празднуем, кого-нибудь хороним...
чувствую себя большим медведем,
неуклюжим, грубым, посторонним.

Но возникнет Саныч, словно Санта,
краснолицый, и развеет скуку,
с поллитровкой антидепрессанта
протянув мне дружескую руку.

Он-то знает все – про боль в затылке,
и куда деваются подруги,

про грядущий день и кто в округе
собирает марки и бутылки.

Сколько шума из-за этой жизни –
лучшие ученые в запарке...
А Сан Саныч – бог медведя гризли.
Он медведей кормит в зоопарке.

* * *

В нехорошую погоду
люди вышли на природу,
чтобы собирать грибы, –
так столкнулись две судьбы.

Я смотрел и думал: если
было б это – редколесье,
то судьба, судьбу не ждя
убежала б от дождя,

но в хорошую погоду
тут всегда полно народу,
и куда ни ткнешься, так
натолкнешься на бардак.

В жестком пластиковом кресле
я сидел и думал: если
был бы реже этот лес,
ни к кому б никто не лез.

* * *

Утро осеннее – иго монгольское.
Бродит собака-калека...
Муторно вдруг – на душе что-то скользкое:
я не люблю человека...

Время, по-своему, очень не своёское –
время хандры и потерь.
Я четверть века любил человека,
и не люблю вот – теперь.

Холодно-холодно – видишь дыхание? –
не середина июля...
Утро осеннее, утро нахальное,
да и собак не люблю я.

* * *

А если б я в то время был бы себя мудрей,
скорей всего не заводил бы людей, зверей,
обитателей, автомобилей, картин и книг –
чего сегодня нет любимей, к чему привык.

Бродил бы, разводя турусы и без забот,
перечисляя только плюсы своих свобод.
И говорил бы: вот мой выбор – и он таков,
возможно, я отсюда выбыл – но без оков.

А если бы я был серьезней, хватило б сил:
любви бы подлинной и поздней – не попросил.
Где раздавали эти доли – не наверху?
Не говоря уже о боли в душе, в паху...

АМУРСКИЕ ВОЛНЫ

Рассказ

Семьдесят лет тому назад я ехал в поезде из Ленинграда в Белоруссию на каникулы. По вагонам ходил пожилой лишенец и играл на скрипке старинные романсы и народные песни. В то время старинные и вообще всякие романсы не поощрялись, а вместо народных песен так и норовили населению втюхать советские марши типа «Нам нет преград на море и на суше», «Артиллеристы, Сталин дал приказ!», «Три танкиста» и тому подобный агитпроп. Из советских песен население пело только «Катюшу» и «Полюшко-поле», а в основном предпочитало «Шумел камыш, деревья гнулись» и «Из-за острова на стрежень». Поэтому когда скрипач начинал без особых изысков, но с большим чувством, наигрывать «Очи черные» или «Две гитары за стеной», пассажиры примолкали, потом подпевали и щедро одаривали музыканта кто куриной ножкой, кто бутербродом, а кто и рублем – знай наших!

Музыкант с благодарностью принимал все эти дары, складывал их в свою старомодную корзинку с крышкой и переходил в следующий вагон. А я подумал: «Вот состарюсь – тоже буду ходить по вагонам и играть задушевные мелодии. И все будут благодарить и делиться кто чем может». То, что музыкант – лишенец, было видно по его благородному лицу, грустным глазам и старой студенческой тужурке с форменными пуговицами.

У нас дома такая тужурка хранилась в шкафу, и отец не позволял сдавать ее в утиль, говорил: «Вот ребенок подрастет, ему пригодится». Но мечте моей – ходить в старости по людям и зарабатывать игрой на скрипке – суждено было осуществиться раньше. Гораздо раньше, чем я стал лишенцем, то есть российским пенсионером советского разлива.

Через три года поздней осенью 41-го к нам в интернатскую избу в деревне Степино Костромской области постучались незнакомый дед и зареванная молодуха. Дед вошел, снял шапку, осмотрел нас, сказал:

– Из Вередишина мы. Который из вас тут музыку играет?

Мы стояли и молчали. Уже наученный опытом, что никогда не надо высовываться раньше времени, я тоже стоял и молчал. Сыроежка ткнул меня острым локтем в бок и спросил:

– Ты чего молчишь? Не видишь, человек спрашивает!

И обращаясь к старику, пояснил, ткнув в меня уже пальцем:

– Вот, этот – на скрипке играет!

– На скрипке? – удивился дед. – Лучше бы на балалайке или на гармонии. На скрипке всегда чего-то непонятное играют, а у нас поминки. Вот, похоронку при-слали.

Тут молодуха в голос зарыдала. Дед на нее шикнул:

– Да погоди ты! Третьи сутки в себя прийти не может. А ты понятное что-нибудь можешь?

Кроме менуэта Боккерини и гавота Люлли я ничего внятного до сих пор не играл. Но для поминок в деревне Вередишино этот репертуар вряд ли годился. И тут я вспомнил лишенца со скрипкой в поезде Ленинград – Витебск и сказал:

– Можно попробовать. Но мне надо пару дней, чтобы подобрать мелодии.

Тут дед говорит:

– Нам завтра нужно, на сороковые.

Он помолчал немного и добавил:

– Поехали сейчас с нами: у нас в избе зало пустое – там и будешь подбирать свои мелодии. А потом мы тебя привезем обратно. Ты чего-нибудь божественное знаешь:

– Нет, – признался я честно. – Только «Боже, царя храни».

Тут лицо у деда сморщилось. Из единственного глаза выкатилась слеза, он отвернулся, сказав:

– Ну, собирайся, что ли. Мы тебя на улице ждем.

На улице стояла справная бричка, запряженная молодой лошадкой. Видать, дед был не из простых колхозников. И сено в бричке у него было не жесткое из прошлогодней осоки, а шелковое, луговое, с чудным запахом. Я плюхнулся в бричку со своей маленькой скрипкой и большими сомнениями насчет завтрашних поминок, вернее, своего в них участия.

Изда у деда в Вередишине была побольше нашей трехкомнатной итээрвской квартиры в Ленинграде. Почему ее у него не отобрали, я так и не понял. На деревенского коммуниста он был не похож. Все те, которых я видел до тех пор, были какие-то заполошные, крикливые и бестолковые. А у деда все было в полном порядке, как будто советская власть была сама по себе, а он сам по себе. Но вот похоронкой в доме и его она не обошла.

– Стало быть, ты интернатский, – сказал он, когда мы взошли в дом, – значит голодный. Раздевайся, садись на лавку к столу – сейчас похлебаем шти, а потом иди в зало и занимайся сколько хошь. Я уж приду послушаю. Люди ведь будут, неудобно, если вдруг чего как не так. Понимаешь?

Я кивнул головой – чего тут не понимать. У нас в музыкальной школе завуч Генриетта Иосифовна тоже перед концертом приходила в классы всех слушать.

«Зало» была большая комната в пятистенке со своей печкой и нарядной иконой в углу, перед которой теплилась лампада. В комнате стоял длинный стол и крепкие стулья собственной выделки – видать, дедовой работы. Я вынул скрипку из футляра, подтянул смычок, поканифолил его сухой живицей. Стал скрипку настраивать. В моем случае это была нелегкая задача, так как одна струна – «ля» – была порвана, другой струны на замену не было, и я использовал рыболовную леску-жилку, купленную в сельпо. Из мотка лески я вырезал куски на струну, осторожно натягивал, и так как леска была не бог весть какого качества, она часто рвалась на подходе к звуку «ля» – и все начиналось сначала. Постепенно, методом проб и ошибок, скрипка настраивалась, и я начал потихоньку разыгрываться.

Тут-то и дало себя знать недавнее теребление льна. Норма на каждого была один трудодень: три сотки льна вытерebить, перевязать в снопы и сложить в стожки. Лен бывает долгунец и кудряш. Обычно сеют отдельно, но у нас было все вперемежку – полоска долгунца, полоска кудряша. У долгунца стебель тонкий, прямой и скользкий. Двумя руками ухватишь сколько можешь стеблей, сжимаешь их в пучок, скручиваешь и выдергиваешь из земли. Чтобы стебли не выскользнули, сжимать их надо крепко, особенно если земля сухая и они прочно сидят в почве. А если земля сырая, то стебли идут легко, но несут на корнях комья, которые тоже надо отбить и стряхнуть, на что уходит половина времени и, соответственно, выработываешь полтрудодня. Лен-кудряш на то и кудряш, что он такой ветвистый, развесистый, веселый, но в нем обычно прячутся репейники и другие колючки. К концу дня все руки в крови, ночью они распухают и нарываюют. В медпункте наскоро помажут зеленкой, перебинтуют и – снова в поле. Говорят, где-то есть теребильные машины, но это было для нас из области фантазии, а не в нашей Костромской области. Где-то, может, и пахали на лошадях, а не на бабах и коровах, где-то, мо-

жет, и писали в школе в тетрадях, а не между строк на старых газетах. Читать между строк я еще до войны научился, но писать – это вам не языком чесать.

Я размотал левую руку. Слава богу, подушечки пальцев были целы, и промежуток между большим и указательным пальцем тоже не сильно саднил. По крайней мере рука по грифу скользила, но распухшие пальцы слушались плохо и просто мешали друг другу, если надо было взять две ноты рядом. Но терпение и труд все перетрут. И постепенно из-под пальцев стало выходить что-то осмысленное. Как-то сами собой заигрались «Амурские волны», потом «Хасбулат удалой», потом покатили ямщики – один «помирать в степи», другой – «не гонять лошадей». Само собой «раскинулось море широко», и оно пошло уже с таким надрывом, особенно когда «напрасно старушка ждет сына домой», что самого слеза прошибла. Тут дверь скрипнула, вошел дед. «Волна на волну набежала» в последний раз, я опустил скрипку. Дед прокашлялся и спросил:

– А ты верно можешь «Боже, царя»?

– Мелодию помню, а сам не играл. Сейчас попробую.

– Попробуй, попробуй, – сказал дед ласково, – пока никто не слышит. При людях ведь нельзя. И я, представив себе картинку из журнала «Нива» 1898 года «Бракосочетание Их Величеств в Успенском соборе Московского Кремля», которую видел у деда Тупицына, торжественно заиграл «Боже, царя храни». В пустом «зале» звук был сильный и уверенный, я даже рискнул взять несколько двойных нот и аккордов. Дед повернулся к иконе и начал креститься.

– Прости, Господи! Не сохранили тебя, батюшка, погубили окаянные, – просипел он, когда я тянул последнюю ноту. – Это завтра не играй, – сказал он неожиданно строго, – это ты для меня сыграл, но и тебе польза тоже, чтобы не забывал. Пошли, место тебе спать покажу на полатах. Скрипку с собой возьмешь?

– Нет, ей вредно перемена температуры. Пусть здесь лежит.

– Ну, пусть здесь отдыхает, – согласился дед, как будто говоря о существе одушевленном.

– А чего, – подумал я, – может, она еще больше меня одушевленная – вон как разыгралась. Чего это я раньше все какие экосесезы и лендлеры пилил? Ни уму ни сердцу!

Перед сном дали неснятой простокваши от пуза и лепешки из дуранды. Кто не знает, это измельченный льняной жмых. Если добавить ржаной муки, очень даже неслабо получается.

Назавтра утром им всем уже было не до меня. Старуха и молодуха суетились у печки, дед управлял лампы керосином и вешал их в зало, подтопил печь. Я пошел болтаться по Вередишину. На меня с интересом глазели местные сверстники. Они ходили не в нашу школу, интернатских не знали, поэтому мой мышинный бушлат, кирзовые ботинки Г. Д. и забинтованные руки вызывали интерес. Сами они были одеты по-разному, но все тепло и складно.

После работы стал собираться народ. Два инвалида прошлых войн, бабы и девицы разных возрастов и еще не забранные пацаны. Кого-то ждали. Потом подъехала бричка, приехал председатель райисполкома. Оказывается, поминки были по председателю колхоза, и не какого-нибудь захудалого, а передового, гордости сельсовета и даже района. Это все я узнал из речи председателя исполкома. Потом старуха и молодуха стали вносить бутылки с мутноватой жидкостью, расставили стаканы, тарелки с овсяным киселем, картофельные пироги с намазкой, соленые грузди и еще чего-то. И все стали пить и есть, помянув по первой раба божьего Алексея. Дед подтолкнул меня: давай, мол, начинай. Я положил скрипку на плечо и начал «Амурские волны». Народ сначала замолк, потом стал подпевать, потом стал требовать: давай еще, и я стал давать все подряд. На «раскинулось море», когда я добрался до старушки, все бабы рыдали, а молодуха выскочила вон. Народ выпивал, пытались и мне налить, чтобы я тоже с ними помянул. Я

осторожно пригубил и обжегся. Как они это пили стаканами – ума не приложу. Потом они меня научили, как играть «Семеновну» и «Семизарядную». Потом лампы начали коптить и народ стал расходиться. Все важно прощались со мной за руку, а один дед брякнул.

– Ну, теперь, коли так и дальше война пойдет, то тебе отбою от приглашений не будет.

– Типун тебе на язык, – заорали на него бабы.

Но дед оказался прав. Когда потом мы возвращались с работы или из школы домой и видели у крыльца телегу или кошевку, то так и знали – это за мной приехали на поминках играть.

Отпускали меня охотно, так как с пустыми руками я не возвращался. Сыроежка следил, чтобы я левую руку не испортил и орал на меня, когда я хватался за что-нибудь тяжелое или корявое:

– Убери грабки, хочешь нас без картошки оставить. – А ты чего смотришь, – накидывался он на ближайшего трудника. – Как варежку раззявить, так каждый горазд, а как добытчику подсобить, так у их бельма не смотрят!

Сыроежка был суров, но справедлив, и требовал, чтобы от каждого по способностям и каждому по потребностям, которые он сам и устанавливал. Вот так мы и прожили два года без всякой демократии, и не было у нас ни ссор, ни обид, ни зависти. А вечерами, когда все собирались у печки, начинали печь картошку и обжаривать сохранные ломтики пайки, Сыроежка говорил:

– А теперь концерт по заявкам. Слушаем старинный вальс «Амурские волны».

ЖЁЛТОЕ НА ЧЁРНОМ

Рассказ

Жёлтое на чёрном

Тетя Шпринца любит танцевать на столе.

На щеках ее трогательные ямочки, розовый кончик языка между коралловыми губами – и смешной рыжий завиток на затылке.

На лбу – жемчужные бисеринки влаги, тетя Шпринца движением локтя смахивает упавший на глаза локон, – уперев крепкие руки в бедра, она выкидывает колени, задорно поглядывая на гостей, – мужчины краснеют и дружно отбивают ладони, притопывая и подталкивая один другого локтями, – Шпринца танцует на столе, и оттого всем видны кружачки на ее панталонах и перетянутая резинкой алебастровая кожа рыжей и веселой женщины, которая до смерти любит танцевать.

Тетя Шпринца смеется, откидывая голову назад, – шея ее выгибается, горлышко трепещет – от ямочек ее сходят с ума взрослые женатые мужи в шютруках и шляпах, с крепкими животиками и совершенно живыми глазами, – их жены, широкобедрые, плодородные, похожие на больших носатых птиц, передвигающихся грациозно и вальяжно в сопровождении бледных отпрысков, – чахлогрудые, тонкорукые девушки, вздрагивающие от стука в дверь и зычного мужского окрика, – они любят Шпринцу с плохо скрываемым недовольством, от них разит прошлогодними духами и нафталином, поры на бледной мучнистой коже забиты пудрой: они мало бывают на воздухе – только пугливо пробегают вдоль стен, пропитанных страхом и сыростью, – солнечный луч робко скользит по задвинутым ставням, но никогда не проникает внутрь.

Когда евреям весело – они танцуют на столах со сдвинутыми напрочь скатертями и посудой; Шпринца щелкает пудреницей: помада у молодой девушки должна быть алого цвета – ни в коем случае не бордо и не роза, особенно если у девушки этой дымчато-серые, подведенные черным, глаза, безупречная линия рта, чуть капризного, со вздернутой верхней губкой – и кожа такой ангельской чистоты, на вид прохладная; когда Шпринца рядом, мне хочется дотронуться до ее щеки ладонью, но я только смотрю на нее, и язык прилипает к небу; в глазах ее прыгают шальные зайчики, своей маленькой властной пятерней она треплет меня по затылку и вдруг порывисто прижимает к груди и шепчет что-то, ох, матка боска, какой у меня племянничек, – круглая брошь царапает мне подбородок, я краснею, вырываясь из цепких рук.

Маневичи жили на Налевках – а мы на Маршалковской, недалеко от Венского вокзала, не так уж далеко, но виделись редко – только на свадьбах, годовщинах и юбилеях, наша семья всегда придерживалась традиций, а вот Шпринца и Шимек Маневичи, одинаково рыжие, одним своим резким смехом и солеными шуточками нарушали стройность и упорядоченность вечерних трапез Гофманов, семьи моего отца.

С Маневичами мы сблизились уже здесь, в Налевках; пока отец мой оплакивал библиотеку и оставшийся в доме рояль покойной матери, Шимек вносил в комнату промасленные свертки и, пошептавшись о чем-то с мамой, исчезал надолго, на всю ночь, а то и несколько дней, и возвращался, опасно сверкая глазами, и пахло от него сигарами, музыкой, вином – запах этот казался запахом жизни, – отец кашлял и неодобрительно морщился, но не выдерживал – и ел, ломая худыми пальцами хлеб, и несмело захватывал ножом кусочек масла, мама все чаще вытаскивала продолговатую шкатулку из слоновой кости, а Шимек хлопал себя по карману и щелкал каблуками, и опять уходил в ночь – теперь уже не один, а под руку с Шпринцей: в комнату врывалось облако терпких духов, Шпринца долго вертелась на каблук у скрипучего комода, в ушах ее блестели прозрачные сережки – откуда сережки, зачем сережки, – отец с упреком смотрел на свояченицу, а мама обнимала ее плечи, и тут я замечал, как они похожи, моя мама и Шпринца, только Шпринца рыжая и веселая, а мама – темно-каштановая и печальная.

Ровно в семь запирались ворота, но счастливицам удавалось выскользнуть из душного мирка растрепанных старух, не приспособленных к новой жизни растерянных женщин и их мужей; проще было тем, кто в праздничные дни накрывал столы сбереженными скатертями, желтеющими на сгибах, с запахом чистого белья и достатка, – на них ставились подсвечники, за ними нараспев читались молитвы, и жалкие трапезы превращались в вечера: борода профессора Малиновского светилась благообразной сединой – за субботним столом он мало чем отличался от скобара Шульмана, во всяком случае, бороды их были совершенно одинаковыми, хотя известный профессор-уролог даже вареный картофель разрезал тонким ножом, а легко краснеющий вертлявый Шульман елозил вилкой по тарелке, обильно посыпая картофелину солью и отправлял ее в рот.

И запивал сладким вином.

Лехаим!

Возвращается Шпринца под утро, крадучись, прижимая лаковые туфельки к груди, повернувшись спиной к сопящей носами малышне – Елке и Роману, – как змеиную шкуру скатывает платье к бедрам, переступает через него стройными ногами, я вижу ее гибкую спину – в темноте не видны веснушки на плечах, – от волнения я крепко зажмуриваю глаза – не спишь, Аншел? – горячее дыхание щекочет лоб, сердце мое бьется гулко, на всю комнату – еще чуть-чуть, и родители проснутся, – Шпринца кладет руку мне на грудь и улыбается, я почти не вижу ее лица, а улыбку – вижу, – спи, курче... спи...

Курче – это я, Аншел Гофман, воспитанный мальчик в прошлогоднем гимназическом пиджачке, пальцы мои истосковались по чёрным и белым клавишам, а нёбо – по вкусу эклеров в маленьком венском кафе, каждый день я проигрываю гаммы и даже этюды по крытому клеенкой кухонному столу – там, в доме на Маршалковской, остался рояль моей бабушки, а на пюпитре – раскрытые ноты, это фуги Баха – интересно, кто касается сейчас отполированных временем клавиш, кто вытирает пыль; наш дом остался где-то там, в другой жизни, а в этой – есть эта маленькая комната и осунувшиеся лица родителей, и позорное чувство голода, и чужие, абсолютно чужие люди вокруг – даже не родственники, и спертый воздух уборной, и эта ночная улыбка моей – смешно сказать – тети Шпринцы, и терпкий запах ее духов, и желтая звезда на маленьком черном платье.

Когда евреям весело, они танцуют на столах, а лучше всех танцует моя тетя Шпринца – в последний раз она танцевала на свадьбе Юлека и Златы, а усталые небритые мужчины хлопали в ладоши; поздней ночью Юлека и Злату увезли, и

вместе с ними еще человек двадцать; на следующий день Шимек заперся с мамой и отцом в комнате – они долго спорили, и до меня долетали обрывки фраз: «проститутка – нет – уцелеть – рояль – убирайся – успокойся – ни за что», – а еще через два дня я вдыхал воздух ночной Варшавы – мы ехали минут двадцать, даже меньше, – Шпринца крепко держала мою руку в своей, и я почти не волновался.

Удачный день Зямы Гринблата

Зяма Гринблат делает гешефт.

Летом – на жаре, зимой – на дровах; Зяма Гринблат, маленький человечек в кашне и штиблетах на босу ногу, – человек дела.

Зяму знают все.

Здесь, за кирпичной стеной, оплетенной колючей проволокой, – желтокожие старухи с дрожащей пленкой век, бормочущие что-то безнадежное, кутающие немые шеи в разодранные шали; им нечем платить за хлеб и дрова, что толку – они умеют стряпать чолнт, кугл и гефилте фиш – что толку, – длинные столы остались далеко, а от подола несет плесенью, за пазухой вши; где горячая ванна, где субботняя курочка, жирненькая, с хрустящим крылышком; где зятя и дочери, где заботливые мужья, под крылами – пусто; дряхлое тело еще отбрасывает бесполезную тень, вскидывающую локти привычным движением, накрывающую голову ладонями; оно не держит тепла, но цепляется за жизнь скрюченными пальцами – право, смешные эти еврейские старухи; им не повезло, на них жалко пули, от сквозняка у них останавливается сердце – медленно ползут они вдоль стен, и видит Б-г, только Зяме Гринблату до всего есть дело, он всюду сует свой нос, дай Б-г ему здоровья, маленькому Зяме с бегающими глазками и распухшими суставами рук;

ему бы сидеть в тепле, так нет: он носится по слякоти, по своим неотложным делам, а когда Зяма делает удачный ход, то кому от этого плохо, я вас спрашиваю, кому, если парочка-другая старух заснут если не сытыми, то хотя бы не плачущими от голода;

коротенькими ножками Зяма перескакивает лужи, кучи гниющего мусора – вот свинство, куда смотрит еврейская полиция, эти охламоны в щеголеватых фуражках и повязках, эти мерзавцы, лижущие зад Юзефу Шеринському, этому поганому выкресту, а то и самому Чернякову; им понравилось размахивать дубинками и делать важные лица, хватать зазевавшихся дурачков и отчитываться перед юденратом о проделанной работе.

Во все времена люди остаются людьми, они хотят кушать с тарелок и спать на перинах, мужчины остаются мужчинами, а женщины – женщинами;

жены продолжают изменять мужьям, мужья – заводить любовниц; скажите, пожалуйста, Рейзл, эта маленькая дрянь, – она прячет виноватые непросыхающие от распутства глаза, она тянет его за рукав – скажите, пожалуйста, – ее волнуют помада, румяна и новый лифчик, не может она ходить в старье;

Зяма все понимает, у Зямы нет вопросов, для чего Рейзл новый лифчик, – Зяма знает жизнь, всю жизнь он носит яички, пару теплых яичек для своей старухи, для Голды, а еще кусочек вареной курочки: пока Зяма жив, Голда будет кушать, а у Рейзл будет лиф и помада; пусть они все передерутся и перестреляют друг друга – шмальцовники и жандармы, синие и желтые, поляки и евреи, Ауэрсвальд с Ганцвайхом, молодчики из гестапо и brave ребята с Лешно, 13 – пусть все они сожрут друг друга и перестреляются из-за еврейского золота, белья, мебели, фарфора, хрусталя, пусть они сдохнут, перетаскивая мешки с зерном и сахаром, хлебом и свечами, – но прежде чем они сдохнут, они успеют накормить маленького Зяму Гринблата с его старухой, и дадут заработать на новый лифчик этой

девочке с беспутным чревом, ненасытной Рейзл, этой маленькой блуднице с горящим взором и адовым пеклом между ног.

Идет война, но люди остаются людьми: немые руки попрошаек – и Сенная с ее добротными домами, театрами и ресторанами, с разодетыми дамами и их мужьями, не утратившими живости взгляда, – они ходят в театры и кушают с золота, и дают на чай, они оглаживают холеные бороды и бритые щеки, они целуют дамам ручки и приподымают котелки в поклоне – они еще не отвыкли от хороших манер, они бранят детей за невыученный французский и расстегнутый воротничок, они покупают спокойствие и платят звонкой монетой; польские жандармы еще лебезят и кланяются, но уже подсчитывают и делят, а жизнь идет, и шьются новые платья, под оглушительные звуки музыки из «Эльдорадо» или «Фемины», – и вежливы официанты, а кто не любит идиш, для того спектакли по-польски – в «Одеоне» и конкурс на самые изящные ножи – в «Мелоди-палас»...

Война идет, но люди остаются людьми – немец тоже живой человек: его душа жаждет праздника, он слушает оперетту и плачет от скрипки, ему надоели серые безучастные лица и детские ручонки над головами, ему надоели разборки между поляками и литовцами, он тоскует по фатерлянду и рождественским подаркам, по немецкой матери и своей белокурой фрау – он пишет письма, напивается вдрызг и становится особенно опасным, – и тогда маленький Зяма Гринблат, бегущий вдоль кирпичной стены, такой нелепый в штиблетах на босу ногу, с оттопыренными карманами и заросшим седой щетиной лицом, может стать удобной мишенью и небольшим развлечением для тоскующего по родине Курта, Ханса или Фридриха.

Птица Боаз играет в войну

(Под люлькой моего малыша стоит золотая козочка, эта козочка отправилась торговать изюмом и миндалем. Колыбельная.)

Эля Шварц – счастливая мать.

Переле родилась красавицей. Иудейской принцессой. Откуда, скажите на милость, у Шварцев из Юзефова оливковая кожа и прикрытые тяжёлыми веками чернослиловые глаза? И ресницы – отбрасывающие густую тень на атласные щёчки?

И захваченные в кулачок пальчики: указательный, маленький, средний, безымянный...

Эля смеётся и пытается ухватить губами мизинчик на ножке Перл...

Перл¹ – Переле – жемчужинка. Втихомолку сидела себе в животе и вышла как положено, головкой, – точно в срок; когда старая Нехамма приложила её к Элькиной груди – только для виду покрутила кнопкой носа и вцепилась дёснами, будто кто-то её этому учил...

Способный ребёнок – носатая тень старой Нехаммы смешила Эльку, старуха суетилась и ворчала – для виду, конечно, – поправляя съехавший платок и улыбаясь в сторону: тыфу-тыфу, не сглазить бы, – печально вздыхала и кивала головой, ей всё казалось, что судьба одной рукой даёт, другой – отнимает, девка совсем спятила: с утра до поздней ночи воркует и стонет, как голубка, ай, наши ножки, ай, наши ручки, ай, какие мы важные, ай какая у Переле грудка, ай, какая пися – тыфу, вот дура, – Нехамма сердито громыхала ведром, кряхтя, носила воду и, подоткнув юбку, мыла пол: в еврейском доме должно быть чисто, ни паутинки тебе, ни

¹ Жемчужина (идиш).

пылинки – раскоряченные ноги в лиловых венах ещё больше смешили глупенькую Элю, облокотясь на подушки, придерживая ладонью грудь – не навредить бы малышке, она проводила языком по воспалённым губам: всё время хотелось пить, и молоко всё прибывало, сладкими ручейками стекало и разбегалось дорожками – приходилось пихать в лифчик тряпки и, бог ты мой, ссезживаться в баночку, свежив спутанные иссиня-чёрные косы, – старуха проворно подставляла другую и уносила тут же соседке – прикармливать семимесячного недоношенного мальчика.

Эля Шварц – счастливая мать. Тёплые ручейки растекаются по телу, оставляя липкие белёсые следы: молоко всё прибывает, и конца этому нет, а Перл-жемчужинка дремлет на подушке, глаза закрываются – чёрт бы побрал Нехаму с её ведром, – Элькина щека касается подушки, ей снятся молочные реки и кисельные берега.

* * *

(...Была когда-то история, совсем-совсем невесёлая, эта история начинается с еврейского короля... Уличная песенка.)

Ой, я таки не выдержу, – Сима Чижик была темпераментной женщиной, с овечьим вытянутым профилем и рыжеватыми колечками на висках и подбородке, – у неё не хватало переднего зуба, и время от времени, спохватившись, она плотно припечатывала ладонью рот – ой, держите меня, у Симы Чижик было больное сердце и длинный язык, от её бесконечных стенаний и упрёков муж, лежебока и бездельник, лишь выразительно крутил пальцем у виска и сплёвывал под ноги: давно прошли те золотые денёчки, когда миловидная языкатая Симочка, потупившись, отводила еще нежные свои ладошки от полудетской груди, и от вида торчащих розовых сосцов у Абрашки Чижика темнело в глазах и мутился рассудок – маленькая Сима стиснула в кулачке его упрямое сердце, и овладела его душой, один за другим в душной спальне зачинались их дети: Рохл, Эстерка, Давид, Шейндл – ну и, конечно, младшенький, мизинчик, ясноглазый мальчик с двумя макушечками, счастливчик Боаз, – ой, он таки загонит меня в гроб, – никто уже не упомнит, когда вырос этот мерзавец, чтоб он был мне здоров, когда этот ангелочек, яростно рвущий материнскую грудь пухлой ручонкой, обратился таким шельмецом с приклеенной к нижней губе папироской, он таки пошёл в отца, этого засранца и бездельника, говорила мне мама, это дурная семья, дурная кровь: сначала он ободрал все штаны о соседские заборы, и оборвал все яблоки и сливы в соседских садах, а потом – потом он перетискал всех соседских девчонок – гвалт, люди, столько позора на мою голову, а теперь он торгует палёным товаром, он связался с этой нечистью, он водит в дом этих шикс – его не волнует суббота, его не волнует шабес, в доме пахнет разорением и стыдом, а его папаша, старый идиот, целые дни сидит на лавочке, чешет языком и греет старые кости...

Бедная Сима и не подозревала, как далеко зашло её сокровище, её ненаглядное золото: если с Анелей, горничной Кислевских, его не раз видели и на Слизкой, и на Хмельной, и даже, Б-г простит, на еврейском кладбище – то ни одна живая душа не держала свечку в роскошной спальне вдовы зубного техника Перчика Мирьям Перчик, полногрудой, волоокой, слегка перезревшей дамы с явственным пушком над хищно вздёрнутой верхней губой, и никто не видел, как лёгкая тень Птицы промелькнула в окошке одной почтенной женщины из набожной семьи, такой домоседки и скромницы, тссс... – Сима с тревогой вслушивалась в ночные шорохи и облегчённо вздыхала, когда, наконец, хлопала входная дверь, и от шлёпанья босых ног по полу долгожданный покой овладевал её измученным сердцем

– после ночных сражений мальчик возвращался голодным, и потому на обеденном столе его всегда ждала тарелка с ужином, целый день без горячего, так и до язвы недалеко, типун мне на язык – Сима со вздохом переворачивалась на другой бок, – утром мальчишка наскоро выдувал полную кринку молока и опять уносился по своим неотложным делам..

* * *

Боаз Птица играет в войну.

Там утро, здесь ночь, здесь – свои, там – чужие, сегодня так, завтра – только Б-г знает, впрочем, знает ли?

Что ты понимаешь, философ, своим кошачьим умом, за накрытым столом – бородатые евреи, знаешь ли, о чём думает ребе, когда остаётся один, – за минуту он улетает на небо и там вкушает вечернюю субботнюю трапезу...

угостить караул папироской, хлопнуть по медвежьему плечу туповатого Стася или Войтека, или законопослушного исполнительного Гребке – Стась топчется у ворот, ожидая смены, а жрать-пить охота, а еще девку, горячую такую оторву, и чтоб всё было при ней, – пятернёй Боаз отбрасывает непокорную волну цвета мокрой пшеницы, взлетая, она пружинит и распадается на пряди, а на губах вечно налипшая соломинка, и взгляд из-под торчащих стрелами ресниц – нагловатый, самоуверенный, такому невозможно отказать;

пусть ребе бормочет свои молитвы и раскачивается из стороны в сторону – пока он поверяет свои торопливые просьбы Господу, Боаз угощает охранника, и его сменщика, и сменщика его сменщика – он не скупится на хлопки и папироски, и в карманах у него не только пачка сигарет – разве можно отказать Боазу Птице, косящему отчаянным серым глазом.

(Была у меня мамочка, она меня учила: будь лишь хорошим и набожным, и не мудрствуй лукаво, дождик-дождик, а я маленький еврей, и я промок под дождём, – не мудрствуй лукаво...)

* * *

И влажной раной была её улыбка, а в зубах она сжимала алый цветок, и уже не Шпринца звали её, а Джин Харлоу или Марика Рёкк, – и где-то там, в освещённых софитами залах платиновой волной блистала Марлен Дитрих, а здесь, на пыльных подмостках, под свист и улюлюканье, улыбаясь пьяным полицаям, упирала маленькие белые кулачки в стянутые жгучим шёлком бёдра моя тётя Шпринца, и пальцы мои не попадали по клавишам, потому что господа немецкие офицеры, панове, польские полицаи, ребята из юденрата, пьяные в дым, вдруг цепенели и напряжёнными мутными зрачками водили по молочно светящимся икрам с высоким подъёмом, – Дина Дурбин отводила золотую прядь со лба и улыбка её, дьявольски непереносимая, поджигала огрубевшие мужские сердца и раздувала в них пламя – и краешек платья полз вверх, обнажая точеное колено, и округлую ляжку – а я видел позвонки на её напудренной спине и родинку на затылке – Боаз Птица набрасывал шаль на покатые белоснежные плечи Дины Дурбин, Боаз смотрел на Шпринцу, а Шпринца смотрела на Боаза, и длилось это мгновенье, бокал вина она прикладывала к пересохшим губам и, пританцовывая, шла в зал, не переставая сверкать глазами и раздавать воздушные поцелуи, – в залитых шнапсом и зубровкой глазах господ офицеров и нижних чинов отражались сотни маленьких лукавых Дин, – как ты, курче, влоборота, едва слышно произносила она, – и даже не слова, а так, дуновение, – и пальцы мои разбегались по клавишам, а моя тётя Шпринца – нет, уже не тётя, а блистающая Надя Шторм – пробиралась к столику и, подхватив подол платья, садилась, высоко закинув ногу в прозрачном

чулке, и тут же с десяток зажигалок – о, прошу, пани, – колечки дыма из густо закрашенных губ и трепещущих ноздрей, а Боаз Птица, темнея серым глазом, кивал расторопному официанту, худому носатому сербу, – еще... Мирко... еще...

* * *

Девочки, танцующие на идиш, – вертлявый человечек, прижимая пухлые руки к груди, пятится задом, мне видна его круглая спина и потный гладковыбритый затылок.

Девочки, танцующие на идиш, повторяет он растерянно по-немецки, а потом – по-польски, в зале становится совсем тихо, слава Б-гу, никто не заметил оплошности: взвизгнула скрипка, а я всё медлю – плечи мои сотрясаются от идиотского смеха, наконец, прыгающими пальцами я ударяю по клавишам: стайка девочек с ярко накрашенными ртами на бледных лицах, в трико телесного цвета, рельефно обозначающем каждую впадинку и складку, – смешинка попала мне в глаз, я слепну и плачу... и смеюсь... маленькие девочки поют свои сладкие песенки, смешно двигая ручками и худыми ногами, – Боаз Птица стоит у стены – и смотрит на сцену невидящими глазами, а известная каждому дураку в Варшаве Надя Шторм медленно подымается по крутой лесенке, а за ней, пошатываясь и хватаясь за поручень, придерживая кобуру на бедре, тащится вислозадый Гребке.

Смешинка попала мне в глаз – пальцы беспорядочно ударяют по клавишам, пока девочки, умилительно отставляя крошечные задки, поют свои глупые песенки на идиш, плечи мои вздрагивают и трясутся – я не думаю, совсем не думаю о том, что меж раскинутых белых ног моей тёти Шпринцы бьётся будто припадочный Фридрих Гребке, а у стены стоит мрачный Птица, усмехаясь кому-то свинцовым глазом из-под чёлки, – плечи мои подрагивают от беззвучного смеха, ведь я еще не знаю, что в этот самый момент в окнах дома номер семь на Налевках зажигаются огни, мои родители спускаются по полутёмной лестнице во двор, и мама кутается в шерстяной платок, а папа, покашливая, придерживает её под локоть, – ничего, Эсти, тихо произносит он, ничего, – папа крепко сжимает в руке маленький чемоданчик, а у стены дома уже стоят притихшие соседи, папа растерянно кивает почтенному профессору Малиновскому, ему неловко мятой сорочки, – я ведь еще не знаю, что в этот самый момент крепкие руки Шимека спускают в открытый канализационный люк Романа и Ёлку, а за ними – еще пятерых девчонок глухого Зисла, а после Шимек спускается сам, а на руках его дышит сладким молоком маленькая Перл, иудейская принцесса; она не заплачет ни разу, до самого конца, а по другую сторону тоннеля – её примут руки голубоглазой Анели из Жолибоба.

Смешинка попала мне в глаз, но я продолжаю играть – слащавые песенки и мазурки, а Боаз Птица улыбается мне из зала, держись, мол, малыш, где наша не пропадала, – ведь он не знает, что в эту самую минуту ворчливая Сима Чижик, всплеснув истёртыми многолетней стиркой руками и коротко вскрикнув, шагнёт в вечность, чтоб быть поближе к своему своенравному и непримиримому Б-гу, а вслед за нею, сжимая ладонями переполненную грудь и улыбаясь безумной улыбкой, туда же взлетит счастливая Элька Шварц...

Смешинка попала мне в глаз...

ДВА РАССКАЗА

УРАЛ-КАВКАЗ

Через неделю после окончания Пятидневной войны пришла Сусанна.

Мы не виделись лет тридцать – с тех пор, как со своим вторым мужем она уехала в Норильск. Но после перевала жизни ведь все сползаются. Правда, оказалось, что одни подались в дворяне, а другие – в монастырь. Однако в гости к нам все приходят и вино полусладкое приносят, а мы дарим свои книжки.

Из-за большого слоя воли некогда пластичное лицо Сусанны теперь казалось почти мужским. Прорубая воздух прекрасной скалой носа, она подошла к столу и метнула на его середину два пирога: с брусникой и сёмгой.

– Тетя навалилась с кулинарным обучением, когда я вернулась в пермское гнездо. – В груди у нее словно разговаривала посуда из толстого цветного стекла. – Слав, помнишь нашу встречу в кассах?

– Такие незабвенные встречи меняют всю жизнь...

– Слава, больше не пей, а то... опять будут белые столбы в глазах.

– Жена не понимает, что белые столбы – они потому, что не каждый день выпиваю...

Сусанну было не сбить:

– В самом деле, тогда все и началось. В кассах. Я тете покупала билет на самолет. В очереди зевала, листала ее паспорт, смотрю: место рождения – Новосибирск. В шутку подумала, даже про себя озираясь: с Колчаком, наверно, отступали наши, в окружении загадочных красавцев-офицеров.

Сусанна не скрывала, что любит красавцев. А кто их не любит. Их, правда, раскаленно ненавидят – но только потом, когда уже они сбегут из объятий.

Сусанна нарубила пироги, осмотрела доньшки тарелки и чайной чашки и сказала, драгоценно блестя соболями усами:

– Так и знала, что у вас «кузнецов». Я хорошую посуду чую сразу.

А мы сами не знали, что «кузнецов». Друзья дарят, дарят, и в толпе фарфоровой черни вдруг попадаются какие-то аристократы.

– По первенькой! За судьбу! Внутри! – и Сусанна выпила залпом.

Она играла роль гостьи с блеском. Любим мы таких людей! По сусекам души наскребут остатки оптимизма и в гостях его излучают якобы с неиссякаемой мощью.

– Сначала тетя, а потом дядя, – продолжала Сусанна. – Он пришел к нам первого мая после демонстрации со всем этим веселым мусором: шариками, флажками, искусственной веткой цветущей яблони. Уже подшофе, и говорит мне: «Сусанка, Сусанка, а ведь из-за твоего папки я чуть семью не потерял. Ему было два года, а мне семь... я выскочил из вагона – купил молока для него. А поезд пошел! Ладно, мужики затащили меня на ходу». Я спрашиваю вроде безразлично: «С Колчаком, что ли, отступали?» Он сразу протрезвел. Оглянулся. Мы стояли посреди советской власти, поэтому он тему быстро сменил. Была у него такая приговорка: «Не за это девки любят – не за гладкое лицо». Когда надо было сменить тему, он

всегда так начинал... но я-то примерно поняла: поезд – это они уже возвращались из Новосибирска. Белые разбиты, а надо было как-то жить дальше. Нин, я читала, что твоего деда раскулачили?

Тут вдруг она захотела ласково выжать из нас хвалы своим пирогам, но увидела, что лучшим комплиментом было наше молчание с набитыми ртами.

Сусанна продолжала:

– Нам всем история семей открылась только во время перестройки. Хотя – один раз папа проговорился еще раньше. Я как-то спросила: «Тебя строго воспитывали?» А он заклеивал мне сапоги, весь контроль был направлен на стык подошвы и каблука, и он не задумываясь брякнул: «Если расшались и лестница скрипит, знаем: тятя идет – и все, тихо!» – «Что за лестница?» – «На второй этаж». – «Дом был у вас двухэтажный?» Отец будто протрезвел, и больше ни слова я из него не вытрясла.

И она потрясла белыми округлыми руками. При взгляде на них думается: странно, что не вытрясла. Заметив наши взгляды, Сусанна заметила:

– Как мне доставалось от папы за эти руки! Он брал их, рассматривал и сокрушался: «Разве это руки? Мало работаешь! Мать, почему наша дочь мало работает?» Ах, какой у меня был папа! Даже его фронтовые друзья говорили маме: «А мы думали, что он не будет счастливым». – «Почему вы так думали?» – «Уж очень он хороший»...

И она громко всхлинула. Она вообще вся была как немного чрезмерная драгоценность – яркая, шумящая. Что-то в этом роде мы ей выразили.

– Да что вы! Уши, как два рояля – так говорила обо мне первая свекровь... ну, недолго она была моей свекровью.

Далее Сусанна высыпала историю своих раскулаченных предков.

Да, дед по отцу уходил с Колчаком, когда бабушка была беременна этой самой тетей. А вернулись в Ильинское – дом разорен. Бабушка умерла от горя. Родня решила деда женить: девять детей, нужна женская рука. Сосватали ему тридцатилетнюю хозяйственную девушку из соседней деревни – старшую дочь в семье. Приехали сватать – она в это время убирала у свиней, а на сундуке сидит ее ленивенькая младшая сестра, очень красивая.

– Будем сватать эту, – решил дед.

Страстно ее любил. Она родила ему двух детей. Бывало она повздорит с дедом, не выходит к обеду, капризничает – он ее на руках выносит к столу. Звал ее за кудрявую голову «Ягненок». Старшие дети мачеху за это ненавидели, дразнили за глаза: «Ме-е-е-е!»

Пришел тридцатый год. У деда одиннадцать детей. Началось раскулачивание. Им кто-то подсказал уйти самим из Ильинского. Ну, бросили дом, все – пошли в Пермь. Сняли комнату, вскоре деда посадили по уголовному делу – за разбазаривание соцсобственности. Сопровождал он подводы с зерном из деревни до завода, в лесу мужики с вилами напали на обоз и все отняли. Просидел два года.

А младшего брата деда сослали как кулака на север области. Но его жену не тронули: была медсестрой, и к ней отнесли не как к кулаку. Потом еще сослали младшую сестру – лет двадцати шести. И вот на барже, куда сгрузили несколько конвоев, она увидела, как охрана хохочет-заливается. Это ее брат смешил их какими-то скоморошинами. Она к нему подошла, он сказал: «Это моя сестра, переведите ее ко мне». А ночью ей шепчет:

– Придумывай какие-нибудь прибаутки, у меня уже сил нет их смешить.

Их высадили на полянке. Они стали строить дома сначала охранникам, потом себе. Жена-медсестра приехала. Она не только лечила охрану, но женам охранников шила все. Вязала какие-то необыкновенные салфетки.

Придумали, как сестре сбежать. Жена-медсестра якобы потеряла паспорт, ей выдали новый. Сестра через полгода скрылась со старым документом. Бежало из ссылки очень много людей, но местное население не выдавало только своих, а украинцев выдавало. Украинцам только потому надо было отделиться от России, говорила Сусанна, что теперь их не сошлют в Чердынь ни при какой погоде... Брат деда ушел из ссылки на войну и погиб. Их сын, который там вырос, помнит, что последние, которые приподнимали шляпы при встрече друг с другом, были эти ссыльные. Почти все они погибли на фронте.

Этот сын ходит каждый год в бывшее поселение с двумя своими детьми. Там пустой берег, но какая-то сила памяти тянет туда, где мучились родители.

– А в Ильинское твои родители ездили после раскулачивания?

– Один раз к ним приезжала дальняя родственница, девушка, – ее оставили во флигеле жить. Она привыкла, что каждую весну все окна в доме и на веранде моются, занавески крахмалятся – и дом стоит, как невеста. Когда поселились двадцатипятидесятники, эта девушка по-прежнему каждую весну брала ведро и тряпку, мыла окна на двух этажах, крахмалила занавески, хотя дом уже был чужой. Но каждую весну он снова сиял, как невеста... Нин, я тебе вышивки принесу – покажу, какие занавески бабушка умела вышить, только они и сохранились.

– Сусанночка, от моих и этого не осталось! Бабушка сразу умерла от разрыва сердца, как их раскулачили, деда в Сибирь увезли, и папа его всю жизнь искал, но не нашел – его же, двухлетнего, сдали в детдом... Какие жизни прожили наши предки!

– Нин, слушай! При этом папа вспоминал всегда только самое веселое... Пришел с фронта, жил в общежитии. После какой-то вечеринки обнаружили узенькую рюмочку ликера. Поняли, что разлить не смогут и придумали макать по очереди пальцем и облизывать. Так вымакали всю рюмочку.

– Прямо Гоголь! Вымакать рюмочку ликеру...

Мы были так потрясены силой ее переживаний и тонкостью, приобретенной за эти годы, что замолчали на некоторое время.

Затем пунктиром Сусанна поведала о своей личной жизни. Впрочем, до тридцати лет мы все знали (учились на одном курсе). В университете у нее была первая неземная любовь. Потом грянула вторая неземная любовь, но пора было выбегать уж замуж.

У своего мужа-доцента она была третьей женой – видимо, он захватил ее мимоходом, за ее античную красоту. Прожила в этом браке Сусанна года два, ну, два с половиной. Однажды зашла за мужем на кафедру не вовремя и услышала, как он говорил кому-то по телефону:

– Что, понравились эти витамины? Они мне здорово помогают: за эту неделю всех своих баб вы.б. Купи у меня дачу. Знаешь, какая у меня дача? Я там всех своих баб вы.б.

Вскоре после развода Сусанна ехала в автобусе, автобус резко затормозил, она – здоровенная валькирия – обрушилась всей своей статью на старичка – маленького, сухонького, лет восьмидесяти. Стала испуганно извиняться. А он, как француз какой-нибудь, ответил: «Что вы, мадам! Мог ли я об этом мечтать в мои годы!»

Эти его слова произвели впечатление на соседа – мужчину лет сорока. Он протянул ей руку и представился:

– Евге-Евгенич.

У него была шестиугольная физиономия, и на ней – итальянской небесной синевы глаза. Сусанна любила прямых людей, думала: они, как отец ее, добры и

так далее. Эти глаза цвета итальянского неба и увезли ее в Норильск на тридцать лет.

Впрочем, с ним она прожила только десять. Сначала он после тяжелого рабочего дня выпивал немного, называя это «боевые сто грамм», а потом доза все росла и росла...

– Ты меня не заинтересовала, поэтому я пью, – говорил Евгенич.

И однажды Сусанна проснулась от того, что мышь кусала ее палец! Такими двойными кусаниями. Кусь-кусь (и так три раза по кусь-кусь). Пожаловала на несчастье. После этого Сусанна поняла, что нужно что-то делать. «Вот уже мыши меня дегустируют»!

Они развелись.

Он потом приходил пару раз после белой горячки, жаловался, давясь безумною улыбкой:

– Сначала было светло и никого нет, а потом темно и кто-то разговаривает.

Сусанна только повторяла бесконечно мантру: «Ни о чем не нужно говорить – ничему не следует учить».

От каждого брака осталось по дочери – мы их никогда не видели, но знаем, что обе вышли замуж в Германию.

А задолго еще до этих удачных замужеств дочерей Сусанна сошлась с одним талантливым художником, имя его она нам так и не сообщила, а выразилась как автор рассказа: «Назовем его В.».

В. тогда болел, потерял работу и квартиру. Ходил с трудом, с кривой палкой. Денег на трость у него не было. Обреченно мог сказать про себя:

– Я так же могу забраться на второй этаж, как корова на баню.

А мог предсказывать по кошке Сусанны будущее, даже необыкновенное богатство их общее: как кошка выходила – робко или нагло, как принохивалась...

Сусанна прописала его в общежитии (она работала завклубом), помогла с работой, заставила сделать операцию на колене. С хирургом подружилась даже, запомнила его на всю жизнь. У него всегда словно шторка угрюмости была опущена на лицо. Оживлялся лишь в миг разговора о женщинах. Спрашивал больного: «О жене думаете? Значит процесс выздоровления пошел». И снова шторка угрюмости опустилась на лицо...

В. создал малое предприятие, организовал все удачно, деньги пошли. Коммерческий дар у него был! Но с появлением денег начал выпивать. Она шла домой и боялась, не идет ли дым, не горит ли все: он запросто мог заснуть с сигаретой. Дочери младшей – Беате – тогда было двенадцать, а он, выпив, мог привести любого постороннего человека.

Это все при том, что В. носил бутоньерки, ей покупал австрийские туфли.

– В общем, я катилась в пропасть с огромной скоростью, но этого не осознавала. Ведь все окружение меня хвалило: декабристка, героиня, спасаешь человека. И вдруг батюшка сказал: «Я не могу вас допустить к причастию, вы живете в грехе – вы можете потерять дочерей».

А как раз Беату пришлось забрать из музыкалки. Учительница сказала: «Не волнуйтесь на сцене, по домре можете сразу не ударять, только делайте рукой поверх, а потом присоединяйтесь к оркестру». Так до чего дошло: дочь никогда уже не играла – только имитировала. Учительница рассердилась: «Забирайте ее».

Сусанна пришла домой в полной уверенности, что В. будет рад предложению пожениться, а он сказал: «Этого не будет никогда: деньги мои, делить их не собираюсь».

Они расстались, и он покатился. Работники фирмы перерегистрировали ее на другое название и не взяли его. Но это уже не волновало Сусанну.

Ведь Беата, которая не хотела учиться, читать, играть на домре, которая ненавидела картину В., где голова росла у человека прямо из колена... вдруг ожила, поступила в художественную школу...

– С тех пор я уже решила никого никогда не искать... Цветаева говорила, что ей не нужно много природы. Три дерева чересчур – достаточно одного. Там так много веток. Листьев, птиц, муравьев и прочего. А я нечто подобное к религии испытываю. От одной строки молитвы целый день могу быть в тихой благодати, много мне не нужно.

Сусанна это произносила, но было видно, что появишься тут свободный мужчина – и ...

Но появился не мужчина, а наша новая френдесса из Живого Журнала. Мы ее звали «княжна Мэри». Были грузинские корни из княжеского рода по отцу. И фамилия грузинская. И веки отливали драгоценной кофейностью.

Раньше она приходила к нам всегда веселая: словно в детстве съела какую-то волшебную ягоду и с тех пор как в сказке живет.

Но война на Кавказе за пять дней превратила Мэри в молчаливую и даже вообще аутичную почти старуху. А ведь ей не было тридцати лет! В то время как до Пятидневной войны Мэри приходила к нам в голубовато-белой блузке фарфорового оттенка и казалась вообще подростком.

– Мэри, смотри: эта картина называется «Я ранена Пятидневной войной». Но так тяжело мне видеть кровь в ране... что хочу замазать... какая я слабая.

– А меня обокрали. Взяли фотоаппарат – и больше ничего.

– Когда?

– Вчера. Я сидела на грузинском сайте, в это время отключился Интернет. Я пошла к знакомым. Еще им сказала: вот будет интересно, если и у вас отключат... И точно! Я только зашла на грузинский сайт – отключился. Пришла домой – дверь открыта.

– Чтоб страны меж собой не воевали – друг друга не хватайте за Цхинвали, – процитировали мы фразу из Живого Журнала.

– Спецрепы снимать не дают.

– Что?

– Специальные репортажи... Но это не самое страшное. Техник – он русский, мы сидим в одной комнате – прислал письмо по электронке: не выключила комп, в следующий раз – штраф...

– Не хочет с грузинкой разговаривать?

– Ну пусть, я все равно хотела уйти с такого телевидения. Задаю депутату вопрос, а он читает по бумажке ответ на другой вопрос. Я чувствую себя подставкой микрофона. А это вам подарок – для какого-нибудь рассказа, – Мэри протянула медицинский плакат с упражнениями, где у каждого физкультурника был пририсован член. – Снимала больницу и для вас сняла...

Вскоре Мэри ушла, а мы стали вспоминать всех грузин, с которыми сидели за одной партой в школе и в вузе, дружили десятилетиями – как они там сейчас, когда российские самолеты бомбят Гори и другие города...

Лицо у Сусанны в это время изменилось, как у алеутского шамана, – без всякой косметики. Только что цвело – и вдруг стало будто из глубины океана всплыло что-то не наше... Я вспомнила, что в детстве она играла с сестрой в больницу и хотела циркулем из готовальни отца поставить укол младшей сестре... благо та решила «спросить у мамочки»...

– Слушайте, зачем вы жалеете грузин! Это ужасные люди! Помните: они торговали фруктами на рынке – на нас наживались?! Потом шили подпольно джинсы и этим развалили Союз!

– Сусанна, неужели за фрукты и джинсы нужно бомбить детей и женщин, стариков и больницы? Ты сама только что говорила: украинцы должны были отделиться, чтоб не быть сосланными в Чердынь!

– Так украинцы не начали, а грузины первые начали войну! – Ум, как угодливый слуга, подносил ей те аргументы, которых душа ее жаждала. – А теперь, видите ли, Данелия заявляет: «Я жалею, что дожился до этих дней!»

– Грузины начали – спрос с того, кто отдал приказ. А мы переживаем за честь нашей страны. Ведь грабят и насилуют наши солдаты!.. Ой, сейчас внуки приедут, Сусанна, извини, нам нужно полежать десять минут перед внуками, чтоб набраться сил.

Она ушла, а мы потерянно убрали со стола, бормотали что-то про то, как трудно выносить-родить-вырастить ребенка, но так легко его убить – за одну секунду... мы не хотели осуждать Сусанну, потому что слаб человек, а по первому каналу сами знаете что... и вообще, россияне на первое место ставят Сталина в историческом ряду... в общем, пришла милая гостья, а ушла бедная-бедная... вот такая рокировка.

На другой день рано утром раздался звонок. Это была Сусанна.

– Нина, ты прости меня за вчерашнее: я не разбираюсь в политике, а вечером дочь из Германии позвонила и сказала: «Что Россия с ума сошла, что ли?!» Я всю ночь не спала... всю ночь! Прости. Помнишь, меня наша грузинка, как ее... в группе «Б»... называла меня «Сусико»? Как прекрасно звучит, да? Помнишь?

– Помню. Я все помню...

19 августа 2008 года, г. Пермь

ТОБАГО (ГОНКИ КРАБОВ)

Афоня (Афонин) разглядывал маски в гостиной у Сергея Сергунова. Слева столик резной, справа – этажерка, инкрустированная фигой. На ней – клетка с озаченным попугаем. Впрочем, еще в десятом классе Серегу прозвали орнитологом, потому что он говорил девушкам: «Послушай, птичка моя»...

Две маски были знакомы еще со школьных времен.

– По-прежнему любишь колониальный стиль?

– Летом предстоит ремонт... в основу пространства я положу тему овала.

Это показалось чересчур: будто он хотел перепланировать все какое ни есть пространство...

Афоня, направляясь сюда, надеялся, что не будет завидовать счастливцу-однокласснику. Сначала даже хотел надеть рваные джинсы, в которых иногда ходил в издательство. В писательской среде одеваются или очень хорошо, или очень плохо – чтобы видели, что это прикол.

Сейчас Афоня почти успокоился, когда вспомнил Музу. Взяв тайм-аут на секунду, прогнал перед собой маленький мемуар.

В десятом классе была у них компания: пять парней и одна Муза. Но она не барражировала над ними с лавровыми ветвями – просто так ее на самом деле звали. Все рвали деву друг у друга из рук, то есть звали в кино, на каток, пластинки послушать – с тайной надеждой на что-нибудь другое, – но это не то, что вы подумали, а за руку взять или отважно поворошить ее волосы и сказать: «Не прическа, а осень». Завораживающего в этом было – в шестнадцать лет – до хрена.

У Сереги тогда как-то промелькнуло:

– Все смотрят как до, а Муза – как после.

- После чего именно?
- Циник! Я имел в виду па-ца-луйчик.

А в другой раз он обмолвился в том смысле, что – мол – она рассмеялась *русалочьим* смехом. Ну подумайте, кто знает, что это такое, кто слышал смех русалки, в каком пруду, полном тины и кувшинок...

Сергея – единственный из класса – фарцевал и пару раз водил Музу в ресторан. Там он написал на ее тарелке горчицей: «Люблю». Музу якобы смутило, что горчицей. А ведь у него старший брат был приглашен врачом в Республику Тринидад и Тобаго, приезжал в отпуск, привозил шмотки штатовские...

Как же так вышло, что Муза перелетела к Афонину? Ведь у него – если и приглашали родню куда-нибудь работать, так это в село Караштан. Ну, правда, Афонин говорил афонизмами:

– Не надо сдаваться, пока не пришел полный три-целых-четырнадцать-сотых-здец.

За них – афонизмы или еще за что, неизвестно, – достались ему три с половиной прогулки с Музой, из которых две – в кино.

Потом начались вступительные экзамены, во время которых еще были звонки по телефону и думалось: ну, теперь со мной навсегда. Она!

Но в сентябре уже все закончилось. Компания тогда разбежалась по вузам: Афоня поступил на филфак универа, Серега – в политех, Муза всегда мечтала стать психиатром, а здоровенные близнецы Мака и Витуся осели на спортивном факультете в педу. С ними и Паша хотел прорваться к спокойному месту физрука, но провалил сочинение. С тех пор Паша пашет. На заводе. Да, вы заметили, что это очередной афонизм?

Время было советско-картофельное, студентов в сентябре резко развезли по колхозам – убирать урожай. А в октябре Муза сказала:

– Столько костей, столько костей у нас! А мышц – в два раза больше! Какие тут встречи.

Изобилие костей и мышц, правда, не помешало ей к Новому году выйти замуж за пятикурсника. Видел его Афонин: глаза совершенно без чувства юмора... Но Муза утверждала: так нужна опора – психиатры должны быть сильными. Никто в это не верил. Они все чувствовали, что Муза – не женщина-вамп, что здесь кроется некая тайна, но пока не понимали, в чем дело...

А теперь внимание!

Опять пошла сцена на квартире у миллионера Сергея Васильевича Сергунова. Он стал похож на всех русских актеров, играющих породистых эсэсовцев. Вот вызвал охранника:

– Эти конфеты – консьержке, скажи, в честь Рождества.

И лицо у него немного смягчилось при этих словах, как у Мюллера при вербовке агента.

Афоня подумал про охранника: как можно такого на работу брать: у него нос с несколькими перехватами – видимо, часто ломал на тренировках.

Охранник ушел, а Сергей вдруг стал надевать рукавицы. Попугай встрепнулся и закричал:

– Утопить кровопийцу!

А куда он... мой труп? – подумал Афонин. – Да и кто мстит через столько лет? Сергей вышел и тут же вернулся. В руках у него был... ежик.

– Как ты думаешь, что он ест?

Афоня отдышался от паранойи и сказал:

– Давай посмотрим на «Яндексе». Наверно, грибы-яблоки.

У ежика был вид типа дел навалилось, надо мне еще норку рыть, ведь зима уже кругом, пацаны!

– Ежик – плотоядное животное. Видел бы ты, как он вчера селедку трескал! Мне его замминистра подарил. У нас дачи рядом.

Не надо падать раньше выстрела, вспомнил Афонин свой же афонизм, глядя на ежовые рукавицы. И вдруг решительно спросил:

– Слушай, скажи честно: почему ты мне эту рекламу заказал?

– Сон приснился. Будто бы я лечу на собственном самолете. Смотрю: приборы испарились, крылья начали отваливаться... Думаю, ничего страшного, я и без самолета летать умею. Но вдруг умение летать, это умение покинуло меня. Как человек находчивый, я нашел выход – проснулся. Мой психоаналитик сказал: надо восстановить общение то ли с друзьями по школе, то ли по вузу.

– И ты полез в «Одноклассников»? – Афоня уже с нетерпением ждал, когда ему заплатят за его рекламные сочинения.

У Сергея недавно жена повезла тещу в кардиологический санаторий. Вот так, все время думаешь, да и не только о теще, а в первую очередь о себе, что в груди трудится какое-то неутомимое существо, скромное такое, самоотверженное. И вдруг оно растопырилось между ребрами, сосуды веером: меня гложет холестерин, ах, я заболело!

Вошли дочери в дубленках, как румяные вазы: ваза побольше и ваза поменьше.

– Папа, мы на конный завод.

– С кем?

– С Большовыми, – сказала Анчик, ваза повыше.

– Не волнуйся о бабушке, – добавила Сончик, – она должна досмотреть до конца «Бордель-два». А это шоу лет так на дцать.

Дочери ускакали, охранник вернулся. Сергей отправил его на кухню: выпей, типа, кофе.

Афоня протянул ему распечатку из пяти листов. Три дня он гнал заказанную рекламу на автомобили, и это было муторно: у самого машины нет и вряд ли будет. Приходилось ударяться в формальные приемы и лирику: «Осень. Япония. Большой урожай Хонд»...

– Как у тебя – все получилось? – спросил Сергей.

– Дело Тобаго – сделал только половину, дальше не пошло.

Свой дружеский кружок в школе они называли «Тайное общество любителей Тринидада и Тобаго».

Эта волшебная страна в Карибском море их заинтересовала, когда старший брат Сергея уехал туда преподавать в медицинском колледже анатомию. Близнецы еще предположили, что братец-то у Сереги резидент.

– А вот это не наше дело, – прошептал Сергей.

Тогда – внутри совка – от мечтаний о карнавале, о гонках крабов в Тобаго холодела спина и английский бешено учился.

После окончания школы каждое восьмое марта встречались у Классной, которая совсем не походила на математичку, а походила на Джейн Фонду – но почему-то математика напрямую шла от ее пухлых губ в головы подростков, пробиваясь через девятый вал гормонов.

Муза приходила среди первых и делала пушистые бутерброды: сыр терла на крупной терке, затем бутерброд с маслом в него окунала. Эта хозяйственность почему-то шла к ее бледному средневековому лицу, будто изможденному монастырскими бдениями. Афоня женился в двадцать и, подчеркивая свою освобожденность от Музы, всегда говорил, уходя в туалет, нарочито громко: «Обмен веществ». И все принимали это за очередной афонизм и веселились.

Что мог противопоставить этому Сергей? Этим косым афонинским глазам, рождающим эротический шквал у разных дурочек. Этой каше во рту, которая вызывает

содрогание повсюду – опять-таки у дурочек. Пришлось шлифоваться в другом направлении. Например, он стал говорить Музе на этих встречах:

– Баронесса, могу я предложить вам салат? Ах, какая у вас помада, баронесса.

Когда началась перестройка, пару раз еще пытались встретиться. Но все превращалось в митинг в четырех стенах: кто за Ельцина трепетал, а кто за Горбачева. Муза взяла нейтральный тон:

– Парочка Ельциных и один Горбы уже есть в нашем психиатрическом отделении.

– А Наполеон?

– Наполеона ни одного не встретила.

– Неужели ни одного Сталина нет? – ревниво спросил Паша.

Муза делала сложный рельеф губ, словно хотела улыбнуться, но тут же раздумала:

– Открою вам великую тайну: сумасшедшие не до конца больны. Сталиным никто никогда себя не чувствовал.

Году в восемьдесят шестом Сергей, сильно выпив, сказал близнецам, а они потом передали Афоне, по-свойски так, его слова: «Десять лет я жевал этот кактус неразделенной любви. Все, женюсь. Хватит неразделенки».

Это было после второго замужества Музы. Когда этот второй заехал на вечеринку за Музой, Афоня разглядел его лицо, как будто состоящее сплошь из кривых ухмылок, но в сумме почему-то приятное. Впрочем, второй муж Музы был диссидент, а в начале перестройки к таковым относились уже с симпатией...

А в восемьдесят седьмом – на вечеринке – Муза рассказала Афоне, когда уже мыли посуду, что ее отец на фронте потерял глаз, попал в плен, а после войны за плен полгода просидел в фильтрационном лагере! И так это было горько!! Свои посадили, гады!!! Жить не хотел... Он потом частенько, напившись, хныкал по-бабьи:

– Зачем только я глаз потерял! Да пусть бы лучше фашисты победили!

Афоня вдруг прямо спросил: чем другие подошли в мужья лучше, чем он – Афонин?

– Помнишь, ты оставил на почте перчатки и, вернувшись, стеснялся их взять: что подумают? А какой-то мужик не постеснялся, схватил и убежал. Ты бы стеснялся моего отца.

– Допустим. А чем Серега не пара тебе?

– Ну, иногда мне казалось, что у него под кожей лица дракон спрятан. Вот-вот лицо треснет – дракон полезет...

До утра они сидели у Классной, наслаждаясь привычными тостами:

– Ну, давайте по энной вздернем, то есть, воздернем.

– А теперь по эн плюс первой.

И вдруг в семь часов Афоне стало плохо, и Муза отпоила его смектой.

Или это было в другой раз? Когда в России смекта-то появилась? Афоня не помнит уже. Помнит зато, как жена Паши – Зинчик – шептала:

– Паше не говорите! Так-то он долго хворает и не пьет. А со смектой короткие перерывы будут.

Паша на диване делал вид, что спит, а сам накрепко запоминал вождьделенное услышанное...

Конечно, Афоня удивился, когда три дня назад, 2 января 2008 года, Сергей позвонил – заказать рекламу – и собственными барскими ручками скинул на «мыло» список авто, которые надо было воспеть.

Вот Сергей надевает очки, проговаривает вслух: «Пишем Лексус, читаем – Люксус», – делает паузу, чтобы обдумать. Попугай шелестит крыльями и тихо говорит что-то в свой кривой нос, словно напоминая: я-то не автомобиль – выпусти-те полетать. Сергей открывает клетку. И тут раздаются крики на лестнице:

– Убили! Милиция! Помогите скорее! – И вроде бы кого-то рвет.

Сергей посмотрел на охранника.

– Не выйду, – ответил тот. – Вдруг это специально, чтобы выманить...

Тогда вызвонили консьержку. Она сразу завывала:

– Они сказали: экспресс-почта! Похожи на гусаров. Сели в лифт с Шутовой.

Никаких выстрелов не слышно. Сразу они вышли, я думала: вручили.

Вручить-то вручили... между глаз, поняли одноклассники.

Афонин стиснул все зубные пломбы и вышел, спустился на один марш... и пожалел.

– Лужа крови, кусочек черепа, – вернувшись, сообщил он.

Это уже невозможно было пережить насухую, и Сергунов повел его куда-то через арку вглубь квартиры. Там на стене Афонин увидел две иконы: Нины Грузинской и Сергия Радонежского.

– У тебя жену Нина зовут?

– Да, Нина, – говорит Сергунов и достает из шкафчика красного дерева коньяк «Ной». – Она выделялась еще в песочнице своей смуглотой – я знаю ее с детского сада.

Выпили по первой.

– Любую позу жены сразу можно на коробку конфет. – Говорит это Сергунов, а про себя прокачивает: «Кто заказал? Конкуренты Валентина? Родственники? Или за обиду кто завалил? С Афониним перетирать бесполезно: у него ничего нет, поэтому не поймет».

– В этот детсад сейчас ходит мой внучатый племянник, – говорил он параллельно, – я им спонсировал юбилей заведующей. Отгадай, куда они пустили мои кровные? Ну. Я понимаю: подарок, выпить-закусить – пусть. Так они, эти тетки, стриптизера молодого оплатили!

– Стриптизер нынче что-то вроде Деда Мороза, – заметил Афонин.

– Все-таки это детский сад! Куда катимся, старичок?

Опрокинули по второй – тут звонок в дверь.

– Капитан Трекозов, – показал корочки маленький, щупленький в потрепанном анорাকে. – Много не пейте: вам предстоит давать показания.

И тут же капитан выронил удостоверение. Неделя праздников сказывается, подумал Афонин.

– А мы ничего не слышали – только крики.

– Вот это и запишем в протокол. А то слабый нынче свидетель пошел, соседку вашу, Шутову, сейчас увезут на «скорой». Говорит, ничего не помнит. М-да, тяжело день начинается.

Афонин недавно редактировал мусорный какой-то детектив. Там киллеры были с приклеенными носами-усами и даже с толщинками в нужных местах. И он подумал: капитан, это тебе не один бомж замочил другого – ищи, кому выгодно, сии, в общем, prodest.

Капитану предложили рюмку. Он отказался:

– После шести дней праздника уже не могу.

Афонин посмотрел в окно: снег, как тухлый сыр, покрывал все.

Коньяк, выпитый ими без закуски, незаметно как-то стусевал все вокруг и унес капитана. Вдруг суровый повар принес им телятину и лимон. И вот Афонин сидит в кабинете Сергея и говорит:

– Хорошо, что дочери твои ушли.

Сергунов откликнулся:

– Анчика исключили из хоряги. Приговор вынесен: выросла большая грудь.
– Слушай, они там озверели. Моего Алика тоже исключили... только давно – девять... нет, одиннадцать лет назад. Голова, говорят, большая выросла. Его звали в училище «головастик». Ну, все равно он левша, а для балета левша-мужчина не очень подходит.

Сергей не знал, как приступить к этой фразе: людей убивают направо-налево, а мы столько лет не виделись. После третьей стопки он все-таки решительно начал:

– Мой брат недавно вернулся с Тобаго.

«Наверное, все задание уже выполнил», – подумал Афонин, но вслух ничего не сказал, хотя коньяк так и подмывал.

– Самое время, – продолжал звучно Сергунов, – теперь нам съездить на Тобаго. Денежек у меня немножко есть, наш кружок могу свозить.

– А Классную? – пыхнул парами «Ноя» Афонин (они вообще сейчас друг на друга пыхали, как два коньякодышащих существа).

Сергей решил, что не скажет про квартиру, которую купил Классной, – двухкомнатную. Еще год назад. А свою однушку она сдает, чтобы жить. Он спросил:

– Ты помнишь девиз Государства Тринидад и Тобаго?

– Together we aspire, together we achieve («Вместе стремимся, вместе добьемся»), – выпалил Афонин.

И напомнил, как на сайте «Одноклассники» близнецы стремятся и добиваются... истины. Один пишет: Тунгусский метеорит был огромным скопищем комаров, которое взорвалось, достигнув критической массы. Другой парирует: как это может быть, если туча комаров – это коллективный разум.

– Представляю: на Карибщине они будут нас баловать интеллектом...

Попугай заорал:

– Хочу чикен!

Серегин крикнул:

– Молчи, а то чахохбили из тебя сделаю!

– Чахохбили. – Попка мрачно процитировал проект приговора.

Серега вдруг усох и превратился в хитрого гнома, который шлифует сокровища будущих впечатлений:

– Ну представь: там гонки крабов, упругие мулатки! Да Мака и Витуся утонут во всем этом!

– Ты, наверно, давно не видел клон наших физкультурных красавцев. Они имидж сменили, чтобы не походить друг на друга. Мака сейчас полуприкрывает рот усами. А Витуся стал брови подбривать. И представь, их стали еще больше путать!

Тут их беседа опять была разорвана оперативником. На ходу истаивающий Трекозов приглашал их в понятые, бросив пару завистливых взглядов на их крепкие красные морды.

– Вы здесь бывали частенько, господин Сергунов, посмотрите, все ли на месте.

Говоря это, капитан хотел подвинуть колоду карт, лежащую на краю. Но вместо этого размашисто рассеял карты по коврику. Серегин понял, что убийство никогда не будет раскрыто.

– Ничего не трогайте руками, – вдруг вспомнил Трекозов.

– Тут мои отпечатки все равно есть. Я часто к нему заходил.

Афонин увидел Джоконду с третьим глазом: о! Это стоит гору баксов вообще.

– На первый взгляд, все на месте, – сказал Сергунов. – Но лучше спросить у домработницы. Ах да, она на днях уволилась.

И тут что-то налетело, понесло, ударило и пробило: что мы тут стоим, пьяные идиоты, в пустой квартире, как в чистом поле. Надо трезветь, бежать, звонить, назначить месяц август! В Тобаго! В Тобаго!

Афоня ехал домой и думал: «А я вообще миллиардер. Мой миллиард – жена. В какой валюте миллиард? Неважно. Я ведь не собираюсь его тратить. А если она меня бросит? Но и миллиардер может разориться». Конечно, его жена немного внешне была похожа на Музу, но совсем другой тип женского характера. Муза и любила, и стеснялась своего отца (и боялась за него и за себя – если бы слова некоторые его просочились, то могли посадить всех). А жена Афонии – Лика – выросла в разведенной семье и так старалась упрочить свой очаг, что могла сделать обед из блюд, которые встречаются в романах Толстого. А когда Афоня вернулся от Серёги, Лика с порога зачастила:

- Им тоже плохо, богатым. Ты же знаешь.
- Знаю! От пятой жены тошнит, любовница хочет стать шестой.

Через час Сергей позвонил:

– Афоня, я не смог остановиться и перебрал...
– Да нет, успокойся, ты дал мне за рекламу ровно пятнадцать тысяч. Ходасевич нашелся.

– Кто?

– Я котенку. Он интересуется скляночкой с йодом – грызет пробку. Марсик, известный в узких кругах под кличкой «Ходасевич»...

Сергунов после паузы:

– Я про Классную. Не разъяснил. Она – да, луч чего-то там... но испортит нам всю карибскую малину.

– Ну чем она испортит?

– У нее сейчас два пункта: ЕГЭ как воплощенный ужас и любимый ученик Самсон Джоджуа, который профессорствует в политехе и жалуется, что на третьем курсе не знают таблицу умножения.

Афонин с пьяной нежностью:

– Так мы привыкли к ее пунктикам. «В одной семье высшую математику звали "вышка", а в другой – "возвышенная математика". Но плохо знали там и там. Хорошо знали в семье, где эту дисциплину так и называли: высшая математика»... Я вот боюсь, что Паша нам все испортит.

– Ты с ним часто видишься?

– Конечно. Мы с ним по-прежнему живем в том же доме. Пашка жалуется, что дочери мечтают об аллигаторах – так он зовет олигархов... Цитирую: «Это все, бл.дь, от бездуховности».

Все получилось иначе. Паша вообще отказался лететь с ними во второй половине августа в Тобаго!

Зато Муза сразу начала готовиться к поездке – буквально за полгода.

Она села на диету.

Взяла абонемент в спортзал.

Купила прозрачную сумку.

Раз в неделю стала наведываться в косметический салон. Когда шла туда в очередной раз, продавщица бутика «Лора» выглянула:

– Звезды, заходим, заходим!

Прохожие девушки откликнулись на приглашение, а Муза с ними! Купила две блузки и в придачу услышала рецепт, как покрасить волосы с помощью кофе.

Недавно Муза была на юбилее подруги, и там жена коллеги ее высокомерно спросила: «Дома стрижешься? Сразу видно». Во-первых, Муза стриглась в парикмахерской. Во-вторых, она не растерялась:

– Да, дома стригусь, сейчас в Париже это последний крик моды. А ты разве не знала? Отстаешь от мировых тенденций...

А теперь вот – для поездки на Тобаго – решила узнать, какие есть знаменитые парикмахеры в городе...

И для чего? – спрашивала она себя. Для того, чтоб – вернувшись – сказать подруге, что мальчики выглядят хуже, чем ее муж? Что – будучи ее мужьями – они бы сохранились лучше? Так примерно выразилась подруга Музы, побывавшая на встрече со своими одноклассниками...

Весной 2008 года Паша стоял на автобусной остановке – с лицом, гневным на человечество. Он так долго работал в цехе, что лицо его походило на какой-то пожилой станок. Лес наш, привычно думал Паша, уголь наш, нефть наша, почему же все отдали единицам... Справедливости хотелось, как хочется сладкого – все время, и он все время забывал, что раньше тоже не было справедливости.

Летел клин журавлей. Вдруг они снизились и перестроились крестом. Паша понял, что его ожидает испытание, но не знал, что предпринять, и продолжал стоять.

Тут кто-то ударил его по голове (так он рассказывает), и у него почти полностью пропало зрение. Но он крестоходец, и летом все-таки снова пошел в Крестный ход, хотя жена говорила, что это были не журавли, а микроинсульт, – а журавлиный крест померещился ему в измененном сознании...

Мака и Витуся пришли за билетами на Тобаго в одинаковых футболках, а на них спереди – герб Советского Союза. Сергей осмелился в конце спросить:

– Скучаете по СССР?

– Нет, просто нравится, что «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» находится на интересном месте, – сказал Мака.

Близнецы сели слишком прямо, будто по палке проглотили, и Сергей все думал-думал, как сделать так, чтоб все чувствовали себя в поездке свободно.

– Говорят, ваши жены – прям голливудские блондинки? – спросил он. – А у моей не нос, а архитектура: две горбинки, а на конце бульба... Но не за это мы ее любим! Ну что вы мнетесь? Говорите.

Они протянули плакат, который прислал Паша:

«Живи быстро – умри молодым. Пенсионный фонд России».

– Ну, он меня уже достал. В детстве он думал, что если ходит в резиновых сапогах, то имеет право меня бить.

– «Чья печаль не рвется в печать?» Кто же это сказал? – спросил Витуся.

Но все повернулось иначе. Восьмого августа началась война в Южной Осетии, и Сергей позвонил Афоне:

– Слушай, я не смогу полететь с вами, так что можете без меня, а можете сдать билеты и деньги взять себе. Близнецы успеют на слет близнецов в Германию, например...

– Сейчас я слышал по «Эху», что в Грузию ввели столько танков, сколько было на Курской дуге...

– В пятидневной войне?

– А в какой еще?

– Да я политикой не интересуюсь... для бизнеса это вредно.

Очень даже интересуюсь, подумал Афоня, но боишься, что в поездке начнутся разговоры, а кричать «Танки на Тбилиси!» рядом с Музой... не пройдет. Сомневаться же в гениальности властей – нельзя. Бизнес отнимут...

– Серега! Ты думаешь, кто-то донесет? Даже Паша бы не стал... его лозунг мы знаем: «Никакой войны, кроме классовой». Но он и не летит.

– Говорю тебе – дела срочные навалились. Ты понимаешь?

Афоня понимал: Серега готов делиться, но не готов потерять все.

«Ну а разве я бы на его месте вел себя иначе? Но, к счастью, я на своем месте».

– Что? – спросила жена. – Сергей отказался лететь?

Все предсказала еще в первый день войны. Афоня набрал на «Яндексе» «Тобаго». Высыпались те же гонки крабов.

– Лика, – позвал он. – Знаешь, крабы как ходят? Не вперед, не назад, а вбок...

А Музе он решил сказать тоже что-то «вбок»: мол, через пятьдесят лет после войны с немцами ведь наладились отношения, а с чехами – через сорок... и с грузинами наши правнуки помирятся.

– Немцы, чехи – северные народы. А грузины – горячий южный народ, – ответила Муза.

– Да и наши погорячиться умеют. Вот книги Данелии уже успели уценить... Прости, тут полка книжная упала. Жена зовет меня.

«Наверное, жена его пинает эти книжные полки, чтоб падали», – подумала Муза и улыбнулась слабой средневековой улыбкой.

3 сентября 2008 года, г. Пермь

ВОЙНА

Рассказ

НОВЫЙ ГОД

Бутхуз отстрелял последнюю ленту и отложил пулемёт на спинку втиснутой в тело баррикады садовой скамейки. Вороватый порыв запоздалого декабрьского ветра, встрепав волосы убитого утром ополченца, умчался в сторону Эриваньской площади, перекаывая по пути пустые гильзы. От ступеней парламента ползком пробирался седой горожанин. Лавируя между скелетами сгоревших автомобилей, пластун забирал в сторону ближайшего переулка.

– Бывший гимнаст, – решил Бутхуз, – вон как отжимается.

С противоположной стороны пошла длинная очередь. Стрелок палил наугад, и пули, срезав ветки с платана, под которым залёг Бутхуз, улетели в сторону старого арсенала – где, собственно, и положено быть пулям, – но на середине пути пули устали и, потеряв силу, упали в мутную воду Куры.

– Пойду я домой, ноги замёрзли.

– Чёрна! – заорал пулемётчик, махнув рукой в сторону командира. Командир постреливал из калашникова, пригнувшись за бетонным парашетом церковного двора. Заметив суету Бутхуза, вопросительно вывернул ладонь. Бутхуз указал в сторону проспекта, стукнул по наручным часам и задрал два пальца, Чёрна кивнул. Взвалив на плечо пулемёт, Бутхуз обогнул баррикаду и направился к дому.

У здания старого телеграфа проспект перегораживала толпа болельщиков. В эту сторону не стреляли – тут была зона наблюдения и обсуждения войны. Раздвигая прикладом спорщиков, Бутхуз пробрался к замызганному подъезду, поднялся на третий этаж и толкнул сохранившую остатки резных завитушек дверь.

В коридоре вкусно пахло. Бутхуз пристроил пулемёт за вешалкой и стянул грязный бушлат. Из-за кухонной двери, отряхивая с ладоней муку, выплыла тётя Верико:

– Вахтанги, пришёл, сынок, – а что, этот кретин ещё в подвале сидит?

– Сидит, тётя Верико, сидит, куда он денется.

Следом из кухни вылетела недавно вселившаяся провинциальная шлюшка:

– Не смейте грязными своими языками пачкать имя святого человека...

Прежде чем патриотка шмыгнула за свою дверь, Бутхуз успел поддать ботинком в обтянутый чёрной юбкой зад. После Бутхуз протопал в ванную, понаслаждался, намыливаясь, растёрся чьим-то полотенцем и пошёл к себе. Проходя мимо двери шлюшки, ткнул кулаком :

– Последний раз предупреждаю: будут к тебе звядисты шастать – всех перестреляю...

В комнате Бутхуз стащил ботинки и повалился на диван. Старый друг ласково прогнулся под хозяином, приспособив провалы набивки под Бутхузовы выпуклости. В комнате было тепло.

– Верико натопила... а вот и она, – дверь скрипнула, необъятная тётя Верико появилась с тарелкой в руках:

– Вахтанги, сынок, я хачапури испекла, тебе на войне голодно – поешь. Да, а Розыного Мишку сегодня ранили – час назад привезли, он возле телестудии воевал. Ты к нему пока не ходи – ему морфий сделали, он спит. В плечо и ногу ранили, там вся комната кровью залита. Сурен Варганович смотрел, сказал, жить будет, главные органы не задеты – только рука не поправится, сустав разбит. Роза на кухне сидит, плачет, я к ней пойду, поесть отнесу.

– Будет плакать, тетя Верико: у неё, кроме Мишки, никого нет. А что Малхазовича не видно? Куда делся?

– А-а, этот старый дурак никогда ума не наберётся. С утра заладил: «Плевал я на войну: коммунистам не верю, звиадистам не верю, демократы сволочи, один, говорит, у меня праздник – Новый год, буду встречать как человек». Завёл свой драндулет и уехал.

– Куда уехал?

– Куда он мог уехать, чтоб его ненасытный живот лопнул: вино, наверное, поехал добывать. Вахтанги, может, сегодня воевать больше не пойдёшь? Новый год встретим, а этот дегенерат пусть сидит пока в подвале: я маме твоей, покойнице, слово дала, беречь тебя обещала, оставайся сегодня дома...

– Тётя Верико, как войну закончим, я с моим пулемётом избирательную кампанию тебе устрою и президентом посажу...

– Чтоб ты пропал, болтун, – Верико двинулась из комнаты.

Не вставая с дивана, Бутхуз потянулся к оставленной на затёртом письменном столе тарелке, отломил ломоть, сглотнул, облизал пальцы и, удобнее пристроив голову на валике, поднял с полу томик Рильке:

Господь! Большие города
Обречены небесным карам.
Куда бежать перед пожаром?
Разрушенный одним ударом
Исчезнет город навсегда...

Отложив книгу, Бутхуз встал с дивана и вышел на балкон. Справа ухнуло – в окно старого «Интуриста» влетел снаряд, занялось рыжее пламя, толпа заволновалась, отхлынула. Из проулка выползла пожарная машина. По выдвинувшейся лестнице взобрался мальчуган в каске, открыл кран на конце брезентовой кишки и стал поливать огонь. Справа снова ухнуло – новый снаряд впечатал пожарника в горящее.

– А ведь говорят, дважды в одно место не попадает. – Бутхуз перегнулся через парапет. Внизу суетились, пытались отнять у машины искорёженную лестницу. Стрельба участилась, сквозь треск автоматов пощёлкивали одиночные выстрелы.

– Снайперы хреновы. Всё, хватит с меня этого бардака, уеду. Чингачгук в Таганрог зовёт, там наших полно, одними арбузами прокормлюсь. Тепло, море и никакой войны. В задницу их демократию – пусть без меня разбираются. Арам на книги глаз положил – баксов пятьсот сдеру с этого клопа за всё. Сегодня же отдам – и вперёд, на Азов, а там как Бог решит.

Бутхуз вернулся в комнату, выдирал из-под стола цинку с боезапасом, откинул крышку и заглянул внутрь: патронов оставалось на две серьёзные очереди.

– Ну и тем более – воевать нечем, и хватит...

Натянув ботинки, Бутхуз двинулся в коридор, обдумывая на ходу вероятное местопребывание Арама. Приоткрылась входная дверь, в образовавшуюся щель протиснулся Малхазович:

– Ва, Вахтанг, ты куда? Я приехал, индюка привёз. – Малхазович воздел руку с ощипанной птицей, вторая рука сжимала тесёмки туго набитой авоськи. – К такой матери вашу войну. Я вот в Кахетию смотался – ветчину добыл, сыр. Новый год не каждый день бывает. Ты далеко не ходи. Ребята придут – встретим праздник, как предки наказали.

– А кто будет? – заинтересовался Бутхуз.

– Все будут, – заверил Малхазович. – Арчил сказал: «Пешком приду».

– Не дойдёт, далеко.

– Кто не дойдет – Арчил не дойдёт? Арчил доползёт, коли идти не сможет. Вы, сопляки, нас вашей войной не пугайте. Город, сынок, есть город. Война войной, а традицию соблюдать надо, иначе города не станет.

Малхазович поволок трофеи в сторону кухни, приостановился и обернулся к Бутхузу:

– А что, эта новая, – и кивком указал на дверь, – совсем безнадёжная? Может, ей просто нормального мужика надо – забудет свой большой патриотизм, а?

– Вот ты её и полечи, – хмыкнул Бутхуз, после задумался и позвал:

– Малхазович, а ты вино привёз?

– В машине, я же не сторукий – всё сразу тащить.

– А где вино брал?

– Карденахское.

– Поклянись...

– Ва, я что тебе, сопляк – врать, говорю: чистое Карденахи.

Бутхуз надел бушлат, вернулся в комнату, забрал цинку с патронами. Проходя мимо кухни, крикнул Малхазовичу:

– Я к девяти вернусь, без меня не садитесь.

Спускаясь по лестнице, приостановился поправить врезавшийся в плечо пулемёт: «Если экономно, растяну патроны часа на два, и бегом к Малхазовичу – Карденахи сегодня на улице не валяется...»

СОЛНЦЕ

«Солнце ночью опускается в море. Морем же плывёт оно на восток, а утром поднимается на небо. Вечером, опускаясь в море, солнце рассыпает вокруг золоти...»¹

Бутхуз привалился спиной к стене кладбищенской молельни. Неподалеку лежали тела расстрелянных:

– Как тихо, даже птиц не слышно. Природа после стрельбы замирает – скорбит по убитым. А солнцу все равно. Катится себе к морю. Нет ему дела до нас.

Из-за окраинного дома появились люди. Впереди, со связанными руками, шли двое.

– Командир, этих живьём взяли.

– Сажайте их рядом, побеседуем...

Бутхуз повернулся к соседу:

– Ополченец?

– Да.

– Откуда?

– Из ущелья.

– Там две деревни.

– С ближней, что у реки...

– Ну и зачем ты здесь?

¹ Грузинские народные предания и легенды.

– Я свою землю защищаю...
 – От кого? От них? – Бутхуз указал на мёртвых. – Что молчишь? Не отворачивайся. Их-то за что убивал?

– Я их не убивал: я солдат, я не убийца.

– Щенок ты, а не солдат. Там твои соседи лежат. Ты смотри, смотри, не отворачивайся. Покажи руки. – Бутхуз развернул сидящего. – Грязные, в копоти – стрелял, значит.

– Я в ваших солдат стрелял, я не палач...

Бутхуз поднялся с земли, встал против второго пленного:

– Ты когда шёл, носок тянул, как на параде. Кадровый? Что молчишь? Борода не поможет, по выправке вижу – офицер.

– Я ополченец, местный.

– Врёшь, у тебя говор гортанный, здесь так не говорят. Покажи руки. Чистые. Командовал, значит, приказывал, а твои люди расстреливали.

– Я офицер по связи...

– Не верю – у тебя глаза убийцы. – Бутхуз повернулся к солдатам. – Приведите мальчика. Ты допустил промашку, офицер по связи. Когда убиваешь, свидетелей оставлять не надо.

Из молельни вышел взводный с подростком. Мальчик обхватил руками Бутхуза и спрятал лицо у него на груди.

– Всё кончилось, малыш, не бойся ничего... Посмотри сюда: этот убивал?

– Нет. Он стоял вон там и плакал, потом кулак вверх поднял и смотрел на небо, что-то кричал. Я не слышал, что – выстрелы мешали.

– Ты его знаешь?

– Да, он из верхней деревни, дружил с моим братом.

– А этот?

– Этот командовал теми, которых вы убили, потом из пистолета стрелял в подранков.

– Ты сын Миндия?

– Да.

– Отец скоро придёт, мы по радиации с ним связались. Там, – Бутхуз указал на убитых, – из твоей родни есть кто?

– Сестра...

– Не плачь, сынок, не плачь... Взводный, раненых где устроили?

– В школе.

– Отведи мальчика туда, дайте ему таблеток каких – может, уснёт.

– А с этими что делать, расстрелять?

– Этому сопляку сломайте указательные пальцы и отпустите. Проведите его до реки – наши подстрелить могут. А этого привяжите к тому каштану. Пусть ждёт. Миндия скоро будет, с ним остальные мужчины идут.

Бутхуз повернулся в сторону моря. Солнце уже уходило – над водой оставалась половинка золотого диска.

Солнцу нет до нас дела. А у луны одна сторона чёрная – дабы не видеть, что мы тут творим. Луна смотрит на землю светлой стороной ночью, когда мы скрыты во тьме...

ВЕТЕР

Бутхуз проснулся от боли. Болела нога:

– Как это наши эскулапы называют, фантомные боли? Ветер поднимается – декабрь.

Перегнувшись с дивана, Бутхуз подобрал протез:

- С добрым утром, деревяшка, отдохнул?
На кухне бывшая патриотка варила кофе:
– Вахтанг, налить чашку?
– Да, выпью одну – замёрз ночью.
– Нога болит?
– Ноет: погода портится.
– Вахтанг, я твой бушлат почистила – грязный был... и медаль надраила – сверкает, как золотая.
– Спасибо, родная, пойду я на вахту.
В коридоре Бутхуз столкнулся с Малхазовичем:
– Как ты?
– Вот, Микел-Габриэла жду².
– Прекрати эти глупости.
– Почему же глупости? Пора уже, кому я здесь нужен?
– Мне нужен, ей вон, – Бутхуз кивнул в сторону кухни, – нужен.
– Ночью Верико приснилась. Говорит: «Засиделся ты там, старый дурак, давай к нам. От Розы привет передала...»
– Хватит хандрить. Сегодня пятница, хороший день: наскребу к вечеру на пару бутылок – зальём тоску.
Бутхуз надел бушлат, поднял свёрнутый в рулон коврик и вышел. По тротуару, разбрасывая окурки, прошелестел первый порыв ветра:
– Чёрт, холодно, мало прохожих будет...
Цепляясь за ступеньки протезом, Бутхуз спустился в проём перехода. Из-за витрины парикмахерской выбежала девчушка с венником:
– Батоно Вахтанг, подождите, я замету – мусор набросали на ваше место.
Бутхуз расстелил коврик, опираясь о стену, уселся и пристроил рядом с протезом жестяную миску.
В форточке напротив появилась физиономия часовщика:
– Вахтанг, кофе горячий, только закипел.
– Спасибо, Рубик, я уже выпил.
– Как замёрзнешь, позови: я мигом сварю...
По лестнице спустилась девушка с футляром, отведя глаза, бросила в миску монетку.
– В консерваторию идёт, скрипачка-скрипичница, – а может, просто хорошая девочка.
Бутхуз натянул поглубже вязаную шапочку и вытащил из кармана потрёпанную книгу:

...Живущие в ночлежках ради бога –
Не мельницы, а только жернова,
Но смеют и они муки немного.
Один лишь ты живёшь едва-едва...³

² В грузинском фольклоре ангел смерти, который приходит за душами умерших.

³ Р.-М. Рильке, «О бедности и смерти».

СЛОВ СЛУЧАЙНЫХ ГОРЕЧЬ

НАЧАЛО ОСЕНИ

Я проснулся около трех и сказал тебе: осень.
Что-то в шуршанье листвы серебряно стихло.
Русло ручья покрыла зеленая плесень,
и между рам замурованы летние мухи.

В этих краях бесконечных лес – словно море,
дым – как дыханье судьбы, а вода из-под крана
чище источника света, но в последнее время
тянет ложиться читать до поры, слишком рано.

По вечерам стало как-то безмерно спокойно
и отдаленно от суеты старосветской.
Только немного по-прежнему медленно больно
от отлетевшей струны в дальнем отзвуке детском.

Мне никогда не дойти до той мертвенной сути –
строки мои застревают под кожей коряво:
Это – с похмелья питье занавесистым утром,
крепкая вещь, шебутная, – но не отравя.

Плыть по течению в осиротевшую осень,
с чайным припасом, но без капусты с брусникой.
Речь обернется отказом, осколком, порезом,
арникой в давнем лесу, первоптиц вереницей.

Так и войдет – незаметно, но неумолимо,
яблоком хрустнет с ветвей arbor vitae.
В этих местах купина была неопалима.
Пар изо рта замерзал, летя без ответа.

НА ПУТИ ОБРАТНО

Как линзы Спинозы
заточены точно
и галька чиста
в потоке прозрачном!
Но крошится глина,
засохшая ломко, –

по формуле времени
великозначной.

Сквозь линзу ландшафт
полуденный чуден –
судьбы перелетной
случайное фото.
По-прежнему ярко,
по-прежнему лётно
в замедленных бликах
последнего света.

К безлюдной Канаде
от бездны бездонной
на вечный огонь
летят самолеты.

* * *

Э. Палвановой

Детство за 101-м километром,
где вольнонаемные леса
учтены железным геометром.
Там озер бездонные глаза

отражают в небе тройку ЯК'ов,
канувших в разрывы облаков.
В ваших взглядах догорают знаки
трудо-исправительных веков.

На Левант уходят наши души,
в тихую тревогу тех холмов,
где сирены зов далекий слышен
и дымится вечно черный ров.

Временно твое отдохновение
среди пылью дышащих оливок:
в улочках крутых, кривоколенных,
незаметно созревает взрыв.

Только небо отразит спокойно
мертвость моря, темный лед озер.
Понимаешь, так прожить небожно –
и в пути, среди родных сестер.

ИЗ ГРУЗИНСКОГО ЦИКЛА

АВГУСТ 1968-2008 гг.

Преображение. Осень не настала.
Пьянящий дух от яблок, крови, водки.

Я помню паровоз «Иосиф Сталин»
и у Джанкоя ржавую подложку.

Свободный мир за пару километров:
Комфорт Москвы с ее теплом утробным,
с загробной выюгой, поземельным ветром.
Родной брусчатки хруст на месте Лобном.

За сорок лет уж все давно забыли
цветы на танках, как навис Смрковский
над площадью, где Кафка в черной пыли
писал письмо Милене, ставшей дымом.

Броня крепка и танки наши быстры
по Приднестровью, по пустыне Гори.
Мы – по долинам и по дальним взгорьям,
от тихой Истры до бурлящей Мктвари.

За сорок лет ракеты заржавели,
сотрудники попали в президенты.
Все так же Мавзолея сизы ели,
хотя и потускнели позументы.

Но черная река все льет на запад,
и шоферюга ищет монтировку.
Над Третьим Римом хмарь и гари запах
и ВВС на рекогносцировке.

ГОРИ. ИЮЛЬ 2008 ГОДА

Жарко и пусто в садах супостата.
Бесполезная жизнь элементов:
вот горящее сердце солдата,
там – циррозный любитель абсента.

В беспределе зомбических статуй
умирают три времени года.
И никто не сидит за растрату,
и молчит изваянье уroda.

Так живет Валаам пораженных
среди винных холмов вдохновенных.
Для истории – два-три ожога,
до глубоких костей сокровенных.

* * *

Она говорит: куда ты, куда?
Я говорю: далеко, на запах
дыма и камня, туда, где вода
нас от безумья спасает обоих.

Сколько на жизни келоидных мет,
эта – фантомом физической боли.

Ты понимаешь: ответа тут нет,
нету на вход в этот сад пароля.

Мыслящий вслух опадающий сад,
полуживые, шевелятся угли.
Мертвая пыль по музеям усадеб,
сад до осенней поры не порублен.

Мы, отщепенцы, видны по глазам –
Щепки еще со времен Халхин-Гола.
Пишут: сжигают в Боржоме леса,
с ними сгорают мои глаголы.

* * *

Длится слов случайных горечь.
Тени мечутся во тьме.
Перед сном гуляет горе,
на носу его пенсне.

Лучше выпьем чаю вместе,
будем дома: сломан лифт –
Все равно доходят вести
и душа во сне болит.

Разговаривайте, души:
все же легче говорить.
Ночью ты меня послушай,
утром кашу мне свари.

* * *

Не берегись, коли выйдешь на эту тоску,
ближе к черте на прибрежном песке
одиночества. Вести – как отсыревших поленьев треск.
Надо б додумать, но мысль повисает на волоске.

Кто-то там прав: судьба коротка и стрёмна,
боль хоть сильна, но завянет гвоздикой без солнца.
Я полюблю, хоть неровно, но, верно, надолго.
Но уходить навсегда жизнь научит переселенца.

Я эту боль изучил по складам в пятом классе.
Наглухо двери закрыты во всем околотке:
ни отголоска, ни эха, и вешние страсти –
словно байки взхлеб в одночасье
с дымом на выдохе рядом соседу по койке.

* * *

Вот и все. Вторая дверь закрыта
в преисподнюю, в приемную – куда угодно.

Выйди, вольнонаемный, просто в исподнем,
на свиданье последнее,
на легкий снег: наследить,
уйти невыслеженным.

В назидание молодым следопытам:
в конце концов остаешься наедине
с лесом выжженным,
чаем испитым, диском в окне.

Жалей себя, не жалей – неважно.
Просто послушай: сердце бьется,
оно само все решит, разберется,
и в событий коросте
найдет каплю крови.

Вот это и есть, что остается.
Не осушай, не наклеивай пластыря,
не показывай посторонним,
посторонись при встрече –
и когда-нибудь в будущем, утром ранним,
опять поймешь, что еще не вечер,

не все кошки серы, сестры не идентичны,
и зал ожидания, тот зал просторный,
где хоронят прошлое, ждет в тумане,
за рекой, за всеми мостами
с твоим похороненным делом личным.

Пройди через турникет к полосе отчуждения,
на встречу с собой, посмотри приветливо.
Ты там один, и навстречу судьбе
Скользит по жизни, вслед за метами,
линия жизни – она безответная.

РАССКАЗЫ

ВСЁ ЯСНО

В последнее время борьба молодёжи и старшего поколения утихла. Мне так показалось. Сужу по личным наблюдениям: тридцать лет езжу на работу на общественном транспорте с тремя пересадками. Ошибка. С недавних пор слово «общественный» не употребляется – теперь это социальный транспорт. Для бюджетников. Недочеловеков.

В 90-х годах как час пик, так в автобусе перепалка.

– Куда ты, старая, прёшь?

– Народ на работу едет, и она тут! Сидела бы дома, отдыхала.

– Чего, дед, толкаешься? Куда спешишь? В крематорий?

Старики тоже взрывались.

– Я сорок лет на одном предприятии отработал, инвалид первой группы! Освободи место, сукин сын!

– Я блокадница! Ты, дрянь расфуфыренная, ещё в пелёнки срала, когда я Ленинград защищала.

Нет, былые подвиги не находили отклика, молодое поколение не знало жалости.

– Какая ты блокадница? Все блокадники на Пискаревском кладбище лежат.

– Не фиг было Ленинград защищать. Сдали бы город – мы бы сейчас как в Германии жили.

Наверно, те инвалиды и блокадники, кто штурмовал наземный транспорт в перестроечные годы, вымерли или уже не выходят из дома. К тому же питерские трамваи практически ликвидированы, автобусы ходят раз в час. Остались маршрутки да метро. На маршрутках много не наездишься, а в метро старики нынче сидят или стоят тихо, смиренно, на места для лиц пожилого возраста не претендуют. Замечаний не делают и ничему не удивляются. Вот в вагон вошёл панк с петушиным гребнем – ноль внимания. Вот молодая цыганка катит на доске с колёсиками инвалида-десантника. У парня нет ни рук, ни ног, а на груди боевые ордена плюс звезда Героя. Никаких комментариев.

Если незнакомые и вступают в беседу, то это всегда женщины за пятьдесят, и обсуждают они вполголоса мелкие бытовые нужды. Громко говорить в транспорте стало неприлично. Как на Западе.

– Смешно сказать: нигде не могу купить резинку для трусов. Исчезла, прямо беда.

– Я вас научу. Мне тоже подсказали, на работе. Садитесь на электричку на Сестрорецкое направление. В Разливе садится продавец, парень. Он этими резинками торгует. Моток – двадцать рублей. Возьмёте три мотка – отдаст за пятьдесят.

– Вот спасибо! Надо невестке сказать, пусть съездит. Самой тяжело стало.

И опять тишина в вагоне. В Питере от былых времён осталась разве что традиция охотно объяснять, как проехать, как пройти. Не то в Москве... Спросишь где-

нибудь на Новослободской: «Вы не знаете...» – «Не знаю!», «Вы не подскажете...» – «Нет!»

Ну что сказать вам, москвичи, на прощанье? А может, это и не москвичи вовсе?

Про очереди в советских магазинах написано много, но тема неисчерпаема.

Ведь у многих вся жизнь уместилась в эти семьдесят коммунистических лет.

1975-й год. Перед Новым годом в магазинах появлялись не только мандарины, но и другие полезные вещи. Туалетная бумага, например. Давали восемь рулонов в руки (почему не десять? уже не узнать). Продавцы продевали через рулоны бечёвку – и неси свою гилянду домой, хочешь – волоком по земле, хочешь – надень на шею, как папуас. Метёт метель, задувает под пальто, но я решила стоять до упора: так хочется принести домой европейскую вещь!

Мимо шёл занесённый снегом мужчина.

– За чем стоите?

– За туалетной бумагой.

– Вот засранцы!

С тех пор прошло тридцать лет, но недоумение осталось. Где логика? Почему засранцы? Казалось бы, наоборот...

Вчера ходила в «О'КЕЙ» за киви. По дороге к отделу фруктов тянутся ряды туалетной бумаги: упаковки по две, четыре, шесть, двадцать штук. Россыпью, наконец. Производство: посёлок Сясьстрой Ленинградской области, Венгрия, Франция, Объединённая Арабская Республика.

У меня слабость: с молодости люблю хороший чай. Что значит «хороший чай» в 1980 году? Конечно, индийский, со слонем. Февраль. Чай продают во втором дворе огромного дома на Кировском проспекте. Стоять во дворе ещё хуже, чем на улице: холод пробирает до костей. За мной стоит мама с маленькой девочкой. Девочка капризничает и тянет маму домой. Старуха поворачивается к девочке: «Привыкай! всю жизнь по очередям стоять будешь». Другая старуха, добрая, дёрнула девочку за рукав: «Не плачь, скоро весна придёт». «А что, – спросила я, – весной очередей не будет?» – «Почему не будет? Весной тепло, стоять веселей».

А ещё ушедшая эпоха унесла с собой тот трепет, который охватывал советского человека при виде импортных вещей. Как о них мечтали... Я была в восьмом классе, сестра – в десятом, когда к нам стала приходиться тётка с сумкой, полной импорта: кофточки, майки, шарфики... Как её зовут, никто не знал. «Мама, когда спекулянтка придёт?» – «Девочки, имейте терпение. Спекулянтка придёт завтра вечером».

Звонок. Сердце забилось в груди. Идёт! Радость от югославской кофточки в полосу, купленной в 1958 году, была, пожалуй, острее, чем первое свидание или поступление в университет.

Господи, какими простодушными мы тогда были. Когда сын учился в школе (сейчас это дядька сорока лет), к нам приходил Алексей Васильевич, настройщик. Приходил раз в год, в конце декабря. Настроив пианино, он предьявлял работу – играл Шопена. Алексей Васильевич давным давно окончил консерваторию, успел до войны посидеть в тюрьме, потом пять лет воевал, был ранен и теперь с женой и дочкой мирно живёт у чёрта на рогах, но в своей, однокомнатной, квартире. Каждый раз я дарила моему настройщику какой-нибудь подарок к Новому году. Он, как и все, любил заграничное. В тот год ничего заграничного у меня не было, кроме целлофанового мешка для жарки куриц. Пачку таких мешков я получила в подарок от одного шведского туриста и девять штук успела израсходовать, остался один. Делаете так: берёте мешок (он прозрачный), суете туда курицу, завязываете мешок специальной жаропрочной тесёмкой, делаете в мешке дырочку и кладёте в духовку дыркой вверх. Через полтора часа чудесный запах разливается по квартире. Квартиросъёмщики бросают все дела и кидаются на кухню. Ножницами разрезают мешок и выбрасывают его. Кушать подано.

Я вручила Алексею Васильевичу импортный сувенир и объяснила технологию приготовления: проще пареной репы. Старый настройщик присел к столу, аккуратно всё законспектировал и ушёл.

Прошёл год. Опять настало время настраивать пианино. Я не смогла удержаться и спросила, понравилась ли Алексею Васильевичу курица в мешке. Он смутился. «Ничего не получилось. Я сделал всё как вы велели: завязал мешок тесёмкой, проделал дырочку и положил в духовку, на средний огонь. Скоро курантам бить, а никакого запаха нет. Сидим, ждём... Жена говорит: «Может, надо было туда курицу положить?» Я ей отвечаю: «Это же шведская вещь! Понимаешь? Курица там сама появится. Помнишь, нам достали польский грибной суп? На вид порошок, а начнёшь варить – грибы откуда-то берутся. Подождём ещё». Так они и просидели перед духовкой, старые, образованные люди, любящие домашнее музицирование и свято верящие в западный прогресс.

Пришлось мне на днях простоять в очереди шесть часов. В аптеке, за бесплатным и очень дорогим лекарством.

Очередь начинается на улице, затем, по стеночке, поднимается на второй этаж. Там, на площадке, стоит пять стульев, шестой сломан. Через три часа подошла и моя очередь посидеть на стуле, отдохнуть. Потом перемещаешься в аптечный зал, где опять стоишь час-полтора. За эти шесть часов никто не упомянул имя министра Зурабова, никто не пожаловался на маленькую пенсию или на пьющего сына. Гробовая тишина: или сил нет, или и так всё ясно.

Наконец я подошла к окну «Льготники». Моё лекарство закончилось. Одно утешение: поставили на «лист ожидания». Спускаясь по лестнице, я думала: «Какое поэтическое название – "лист ожидания"! Так можно назвать книгу стихов или повесть о поздней любви».

НА РОДИНЕ

На днях я случайно стала свидетельницей драмы, воспоминание о которой сохранию в файле «Пришла беда – отворяй ворота».

Полгода назад скончался мой сосед по дому, народный артист Д. Этого актера театра и кино в Ленинграде любили. Талантливый, красивый, остроумный, образованный. Часто играл аристократов, как наших, так и европейских, свободно говорил по-французски. Сильно отличался от актерской братии – людей малообразованных и не стыдящихся своего невежества. Народный артист был богат, собирал иконы и иной антиквариат, и при этом жил один. Его единственный сын Игорь давно переехал в Америку и редко приезжал к отцу: давным-давно произошла тяжелая ссора, и ни тот, ни другой не хотели сделать шаг навстречу. Но приехать пришлось: четырехкомнатная квартира опустела, надо было вступать в права наследства. Игорь взял месячный отпуск и прилетел в Питер.

Дел было невпроворот. Собрать кучу справок, продать антикварную мебель, распахать по знакомым то, что не успел продать. И сдать пустую квартиру. Игорь уже забыл, как тут у нас делаются дела, при каждом посещении госучреждения впадал в ступор. Взятки давать боялся: отвык. Ему казалось, что за ним следят. Боялся неосвещенных дворов, темных подъездов, работников ОВИРа. Наконец все документы были собраны, сложены в папку. Билет в США куплен, вылет в понедельник утром. Когда вечером в пятницу Игорь прибежал ко мне, на нем лица не было: пропала папка со всеми документами.

– Папка лежала дома на холодильнике! Кто-то проник в квартиру и выкрал все документы. Я не могу сидеть тут полгода, чтобы снова собирать бумаги!

– Что-нибудь еще пропало?

– Больше ничего. Это почерк КГБ.

– Вспоминай, где ты мог забыть папку?

Игорь вспомнил, что накануне он был в сбербанке – платил по коммунальным счетам, папка была при нем. Помчался в банк, но тот уже закрылся, огни погашены. Он стучал, звонил. Вышел охранник и сказал, что сейчас вызовет милицию. Делать нечего – надо ждать до утра понедельника. Пришлось сдать билет.

Игорь не находил себе места, сон не шел, поднялась температура. Выпил полбутылки водки – не помогло. Решил спуститься в метро, снять деньги в банкомате – ведь неизвестно, сколько придется торчать в Питере. Дома, в Америке, рассказывали, что в России вор на воре, нельзя шагу ступить, чтобы не столкнуться с бандитом, поэтому идя к метро, молодой человек захватил с собой газовый баллончик и электрошокер.

Банкомат стоял в вестибюле, за газетным киоском. На карточке у Игоря было двадцать тысяч рублей, он решил снять половину. Подошел к банкомату и сразу почувствовал тревогу: за его спиной возникла женщина. «Начинается. Внимание!» Игорь получил свои деньги и отошел в сторону – пересчитать. И тут он обнаружил, что забыл вынуть карточку из банкомата, а женщина-аферистка уже получает деньги! В ярости он кинулся к наглой бабе.

– Отдайте мою карточку!

– Мужчина, что с вами?

– Вы воспользовались тем, что я не вынул карточку! А ПИН-код подсмотрели, мне эти трюки знакомы. Карточку сюда!

Видя, что женщина не собирается расставаться с добычей, Игорь схватил карточку и попытался вырвать ее из цепких рук аферистки. После короткой борьбы VISA треснула, а Игорь вошел в раж. Он выхватил у женщины кошелек, который она не успела спрятать в сумочку.

– Вы сняли мои деньги! Я их реквизирую.

– Милиция! На помощь!

Когда милиционер Хрюничев вел их в комнату охраны общественного порядка при метрополитене, женщина орала благим матом, а Игорь был спокоен: он чувствовал свою правоту.

– Ваши документы, гражданин!

Игорь полез в карман за паспортом и похолодел: он нащупал в кармане свою пластиковую карточку VISA.

– Простите меня! Я ошибся, я все возьму.

Хрюничев повеселел.

– Так это же разбой! Документы давай.

Увидев паспорт гражданина США, милиционер присвистнул.

– Ну и дела! Сколько времени пробыли в Российской Федерации? Больше месяца? А регистрация где?

Регистрации у Игоря не было, думал: обойдется.

– Виноват, не успел, закрутился. В понедельник обязательно пройду регистрацию. Отпустите меня, я сын народного артиста Д.

– А мне по барабану, чей ты сын. Тебе, брат, статья светит. Да у тебя тут целый арсенал – электрошокер, баллончик.

Женщина заплакала.

– Сын такого замечательного человека – и такая сволочь. Я опоздала на важную встречу из-за этого ублюдка. Испортил мне документ, вырвал кошелек!

«Простите меня, отпустите меня». Засадить его по полной программе! Сейчас заявление напишу.

Игорь понял, что это конец.

– Хотите, я встану перед вами на колени?

Хрюничев почесал в затылке.

– Сколько у тебя с собой денег?

– Десять тысяч я снял, и еще десять осталось на карточке.

– Сиди тут, мы сейчас придем.

Через минуту пострадавшая и Хрюничев вернулись в комнату милиции.

– Значит, так. Заплати гражданке двадцать тысяч, тогда она заберет назад заявление.

Милиционер сопроводил Игоря до банкомата, пересчитал деньги, улыбнулся – дежурство прошло успешно.

– Ну, черт с тобой. Иди давай.

Пострадавшая и милиционер остались улаживать финансовый вопрос, а Игорь побежал домой, не чуя под собой ног.

Утром в понедельник папка с документами нашлась в сбербанке, а во вторник Игорь вылетел в США. Но на работу не вышел: помещен в психиатрическую лечебницу в штате Огайо.

С НЕМЦАМИ НА СЕВЕРО-ЗАПАД

Прошлым летом я взяла халтуру: поездку с немецкими туристами. Сели в автобус в центре Петербурга и в хорошем настроении, с ветерком покатали по маршруту Питер – Новгород – Псков – Питер. Гид-переводчик смотрит на родную природу, на города и села, на жителей по-другому, их, иностранцев, глазами.

Мои немцы успели провести в Питере три дня. Как и все, кто не слепой, они были потрясены красотой города. Кто восхищался ампиром, кто югенд-стилем. Их восторги я принимала как должное. Сама обмираю каждый раз, как из-за поворота с Невского открывается Дворцовая площадь.

В Новгород выехали рано. Пока ехали по Московскому проспекту, я рассказывала туристам про сталинские дома: кто в них живет и почему. Проехали парк Победы, монумент защитникам города. Я оглянулась. Почти все туристы спали, только один старик проверял меня по путеводителю. На выезде из города, как всегда, огромная пробка. Пока доехали до Ям-Ижоры, народ проснулся. Но лучше бы они не просыпались. Здесь по программе первая остановка – размять ноги.

Туристы вышли из автобуса. Непролазная грязь. В лужах плавают арбузные корки и давленные помидоры. Мазут, нечистоты лежат прямо на шоссе. Хотя вдали угадывается нужник-скворечник. Но кто же туда пойдет? Тот, у кого развито воображение, туда не сунется.

Сели в автобус и начали обсуждать увиденное.

– Почему такая грязь?

– Где урны для мусора?

– Неужели в Ям-Ижоре нет движения «зеленых»?

– Нету, – говорю, – тут «зеленых». Может быть, встретим их дальше по маршруту.

Дорога до Новгорода унылая, не на что смотреть. Вот прошла старуха с ведрами на коромыслах.

– А что, тут нет водопровода?

– Почему? Есть. Эта женщина – участница фольклорного ансамбля, репетирует сценку «У колодца».

– Почему не видно машин у домов? Как же крестьяне добираются до магазинов, театров?

– У них подземные гаражи. Прямо под избами.

– Расскажи про сельское хозяйство. Что тут выращивают?

Перед поездкой я читала в энциклопедии про Новгородскую область: «Поверхность равнинная. Мясо-молочное производство». (Святые угодники! На всем пути

нам встретились три коровы и десяток разрушенных скотных дворов: стекла выбиты, двери унесены, и давно обвалилась крыша.)

«Новгородская область в 1964 году награждена орденом Ленина».

Дорога Новгород – Псков всего-то двести километров. Но мы добирались до Пскова пять часов. Выбоины, ухабы, а то и вовсе – асфальт кончился и началась проселочная дорога. И машин почти нет. Глубинка.

– А когда будет «остановка для посещения туалета»?

В автобусе туалет, само собой, не работает. Пришлось сказать правду: туалетов по пути не будет. Остановимся, где лес погуще, и ... Но леса по пути так и не встретилось. Одни болота. Ничего, дело житейское. Приспособились, отринув стыд.

Сверкнула на солнце река Шелонь. И мы увидели на берегу большую деревню.

– Давайте остановимся! Русская деревня! Сколько читали о ней...

Въехали в деревню. Из окошек на нас смотрели лица кавказской национальности, но никто не вышел на крыльцо. Вдруг будто из-под земли появился мужчина. Лет сорока – сорока пяти, русский, мятый, с добродушной улыбкой. Немцы уставились на мужчину.

– Дайте что-нибудь, а? Соберите мне денег. Выпить надо, поправиться.

Я подошла к гражданину.

– Товарищ, не надо попрошайничать. Некрасиво. Вы – молодой, крепкий. Не инвалид... Иностранцы ни с того ни с сего денег не дают. Не позорьтесь, пожалуйста.

Мужчина сел на землю прямо перед автобусом. Мы решили не обращать на него внимания. Немцы вынули пакеты с едой и баночное пиво «Невское» – это был сухой паек, который нам утром выдали в гостинице.

Став в кружок и греясь на солнышке, туристы принялись завтракать. Мужчина встал и протянул грязную руку.

– Если денег жалко, так угостите. Вон и пиво у вас есть.

Не отстанет, подумала я.

– Значит, так. Если вы, товарищ, исчезнете, то вот вам мое пиво и мои бутерброды. Договорились?

Мужчина взял мой паек, отошел в сторону и опять сел на землю.

– Через четверть часа отъезжаем! – объявила я.

На другой стороне дороги обнаружилось кладбище и часовня со сбитым крестом. Из окна часовни вылетела ворона и села на дерево. Все могилы заросли высокой травой. На могильных камнях – битое стекло.

«Заслуженный учитель Никитин Ю. А. Род. 1900, умер 1959.»

«Юный партизан Коля Клименко. Геройски погиб в 1942 г.»

Я повернулась и пошла прочь. Гражданин-попрошайка опять кланчил деньги у немцев. Когда мы тронулись в путь, он разъярился, метнул кирпичом в автобус и крикнул:

– Фашисты недобитые!

Среди туристов была компания любителей русской старины. Когда мы приехали в Псков, они стали меня просить:

– Давайте пойдём в Мирожский монастырь – там уникальный, древнейший собор.

Посещения Мирожского монастыря в программе не было. Туристов туда не водят. Я, признаться, и не слыхала про этот монастырь. За небольшую плату ворота древнейшего монастыря нам открыли. Боже мой, Спасо-Преображенский собор основан в двенадцатом веке! И почти все фрески сохранились. Собор не отапливается – денег нет. Тишина и безмолвие. Три монаха прошли мимо, не глядя на нас. Главная аллея привела к одноэтажному голубому домику. Мы уже

знали, что тут живет и работает отец Иосиф. Его предупредили, чтобы он нас принял.

– Проходите, пожалуйста. Вот тут я сплю, а тут пишу иконы.

В спальне стояла выдавшая виды железная кровать, на ней подушка без наволочки и одеяло с большой дырой. На столике у окна – полбуханки черного хлеба, кружка с водой и луковица.

– Скоро обедать буду, – улыбнулся отец Иосиф.

В мастерской мы увидели доски, заготовки икон, лаки, бутылки с олифой. Иосиф копировал Владимирскую Богоматерь, уже были готовы наследник Алексей с нимбом и саблей в руке, ветхозаветная Троица. Копии были, прямо скажем, плоховаты. Немцев растрогала аскетическая обстановка и благородный труд старика.

– Спросите господина монаха, не продаст ли он нам иконы? Две, три, десять. Мы купим – на память.

– Отец Иосиф, – я почему-то понизила голос, – не продадите ли нашим гостям иконы? А вы новые нарисуете.

– Что вы, нам это запрещено.

Я продолжала искушать старика.

– Никто ведь не узнает. Мы сейчас уедем, а вы заработаете.

Монах заколебался. Но дьявол на этот раз победил.

– Ладно, продам.

– А сколько вы хотите за икону? Вот за эту, маленькую.

Иосиф пожевал губами.

– Пятьсот евро – нормально будет?

Я обомлела.

– Отец Иосиф, что вы! Таких и цен не бывает. Максимум, что дадут, это долларов десять-пятнадцать.

Старик вздохнул.

– Нет – так нет. Тут торг неуместен.

– Что он говорит? – дергали меня немцы.

– Он говорит, что торговать начальство не разрешает. Они ведь живут по уставу.

– А можно просто оставить ему деньги – на краски, кисти?

– Конечно, оставьте. Вот тут у него тазик пустой стоит. Кладите сюда.

Мы попрощались и ушли. Тихий молодой монах выпустил нас обратно, в мирскую жизнь, и тяжелые ворота закрылись за нами на большой засов.

Вернувшись домой, я снова раскрыла Большой Энциклопедический Словарь.

«Псковская обл. Поверхность равнинная. Молочно-мясное жив-ство. Выращивают картофель и овощи. Награждена орд. Ленина в 1967 г.»

СТАРО, КАК МИР

Тридцать лет назад, после унижений, слёз и взяток, мы купили, наконец, кооперативную квартиру на окраине Ленинграда (сейчас это почти центр). Помню, как первый раз, дрожа от радости, вошла в свою новую, блочную, трёхкомнатную. Голубой (вырви глаз) линолеум во всех комнатах – ничего, сменим! В ванне – на-срано, и не один раз (в школе учили: гордое имя – строитель!). Вымоем. На стене в большой комнате написано огромными буквами: «Магадан». Закрасим.

Скоро возбуждение улеглось – лифт не подключен, газа пока нет, с потолка капает прямо в тарелку с супом. Помните, что получали в ответ? «Строители обещали устранить выявленные недостатки». Пока не устранили. Жду.

Я играла сама с собой в такую игру: представляла, какие соседи мне попадутся. Пусть бы в квартире напротив жила старая интеллигентная дама, бывшая актриса

или библиотекарь. Чтобы было с кем поговорить о высоком. В квартире справа хочу тоже пожить, но крепкую, простую женщину. Без склеротических бляшек и честную, чтобы посидела с детьми, пока я на службе. А если повезёт, то, может, и квартиру возьмётся убрать, и суп сварить... Вдруг она любит печь пироги с яблоками соседям по лестничной площадке. В квартире слева был необходим молодой мужчина, мастер на все руки: починить проводку, врезать замок. Кто же мне приберёт полки? В семье одни филологи.

Туда, куда я поселила актрису, въехала семья шофёра Феде. Федя водил грузовик, а когда не водил, то пил. Он повадился приходить к нам по пятницам и заниматься полтинник. Поначалу я давала ради добрососедских отношений, но потом он начал приходить через день, и я попросила оставить меня в покое. Но он упорствовал. Колотил в дверь: «Соседка, купи картошку! Не надо? Сало купи, с Украины прислали. Да открой же ты дверь, блядь!»

Я попросила жену Федора Лену, чтобы она его урезонила. Лена ответила с классовой ненавистью: «Нечего было ему деньги давать!».

Вместо честной и здоровой бабушки въехал татарин с русской женой и тремя мальчиками. Татарин пил не просыхая и бил жену смертным боем. Мальчики росли сами по себе. Их мама часто отсиживалась у нас, когда татарин буйствовал, презрев Коран.

Однажды я возвращалась домой из магазина и на нашей площадке увидела человека, лежащего в крови, лицом вниз. Я перепугалась и вызвала милицию. Милиция (я видела из окна) ездила по двору туда-сюда полчаса: подъезд не могли найти... Наконец я услышала возню на площадке и крики жены, вернувшейся с работы. Потом всё стихло. Вечером к нам пришла Валя, которая столько раз спасалась у нас от своего татарина, и стала орать: «Зачем вы вызвали милицию?! Ну выпил человек с получки, споткнулся на ступеньке, поцарапал голову. Проспался бы! А милиция всю зарплату выгатила, часы сняли. Чего вы лезете не в своё дело?» И тут дружба врозь...

Третьим соседом оказался, как мечталось, парень на все руки. Руки, правда, были крюки. Брался Георгий за всё, и всё делал плохо. У него была двухкомнатная квартира. В одной комнате жила его тихая, больная мать. В другую он водил девиц, с ними и пил. У нас за стеной грохот и звон разбитых стёкол не утихал всю ночь. Георгий тоже просил денег в долг, а отдавать норовил вещами. Приносил рабочую одежду с неснятыми ценниками, брезентовые рукавицы, резиновые сапоги: крал с какого-то склада. Мы краденого не брали, так что и с этим соседом дружбы не получилось.

И ведь все мои соседи-пьяницы каким-то образом нашли деньги на кооперативную квартиру... Экономическое чудо.

Сейчас нет уже ни шофёра Феде, ни татарина, ни Георгия с руками, растущими не из того места. Все умерли: спились. Но никогда и никому это не служит уроком.

Подруга-художница жила с родителями и мужем в ленинградской коммуналке. Потом дела пошли в гору, картины стали покупать, и они уехали в новую квартиру, а мастерская осталась на старом месте. В старых коммуналках по-своему даже уютно: из окон видна Фонтанка, мосты, крыши. Хорошо. Если, конечно, тебе здесь не приходится жить. Я посидела у художницы в мастерской и собралась уходить. «Иди сюда, чего покажу», – сказала подруга. На одной двери в конце коридора замок был врезан на высоте десяти сантиметров от пола. «Догадалась? Иван Палыч, хозяин, смастерил. Он с работы всегда приползает – ему на ноги не встать, дверь не открыть. А тут не спеша, из положения лёжа, не сразу, но попадает ключом в замок. Утром сходит за пивом – и опять молодец. На заводе его ценят, потому что на работе капли в рот не берёт».

Вспоминаю середину 60-х. Нарастал вал иностранных туристов, и стало не хватать переводчиков. Особенно с редкими языками. Пригласили и меня, студент-

ку, поехать с делегацией шведских лесопромышленников в Сибирь. Братск, Иркутск, Шелехов. Я до этого никогда не работала с иностранцами и не ведала, что меня ждёт... Попробуйте переведите без подготовки: лес крепёжный, окорённый, мачтовый. Лесопроводный жёлоб, наконец. Но самое страшное было не это.

В каждом сибирском городе нас принимало советское и партийное начальство. Делегацию закармливали черной и красной икрой, омулем, осетриной на вертеле. В леспрохозах сгоняли народ из окрестных деревень – приветствовать зарубежных гостей. Молодежь кричала: «Мир! Дружба!» Старики с посохами кланялись в пояс. Нас заваливали подарками: неподъемными альбомами «Сибирь советская», кедровыми шишками, поделками из корня. Водку наливали и в обед, и в ужин. Пить надо было до дна – «у нас так принято».

Апофеоз наступил в Братске. В полдень мы на вездеходе поехали на обед, как оказалось, в тайгу. Кроме нас, шестерых бизнесменов и меня, загрузили ещё ящик коньяка, ящик водки, тёплую одежду, корзинки с посудой и семь кресел. Через два часа мы очутились в лесной чаще. На гостей надели валенки, ушанки, и мы гуськом пошли на поляну. Там горел костёр и кипел чан с ухой: челядь с вечера наловила рыбу. Кресла поставили в глубокий снег. Лесопромышленники смотрели затравленно, но не сопротивлялись: бесполезно. Картина незабываема. Секретарь горкома зачерпывал деревянной ложкой уху, подносил шведам и вливал в рот. Военком, держа в одной руке кусок хлеба, в другой стопку водки, смотрел, чтобы никто из иностранцев не манкировал: после каждой ложки ухи – незамедлительно выпить. Деваться некуда: кругом тайга. Лесопромышленники сидят в креслах, греют руки в рукавах, по команде открывают рты и глотают. Один заплакал и попросил отвести его в гостиницу. Кошмар продолжался два часа. Мои просьбы пожалеть нас успеха не имели. Кто я такая? Никто.

Наконец настал день отъезда. После завтрака – самолёт в Москву. Смотрю – официантка опять ставит перед каждым фужер. Водка, на завтрак. Я накрыла свой фужер ладонью: нет! Из-за спины вырос председатель горисполкома и нагнулся с моему уху: «Русское теряешь...»

Неделю назад я видела перед собой весёлых спортивных джентльменов, а назад я везла зелёных несчастных стариков. Одному в самолёте стало плохо, он всё стряхивал с рукава пауков. В Домодедове нам вызвали скорую помощь.

Зачем всё это было? Что они про нас дома рассказывали? А как сами-то горком с обкомом выдерживали эту дикую жизнь?

Я рассказывала про свои сибирские приключения и дома, и на работе. Прошло много лет, и я забыла про тех, первых иностранцев, но мне напомнили. Недавно собрались в тридцатый раз одноклассники. Фима Либерман, золотой медалист, быстро напился, но требовал продолжения и рвался в магазин за добавкой.

«Фима, – спросила я, – зачем так много пьёшь?» – «А ты не знаешь? Чтобы русское не потерять».

ВИТЯЗЬ

Повесть

Не сват и не брат никому Игнашка Саломатов, никому не родня. Сам себе веет, сам себе сеет, сам жнет, сам жует – судьбе себя под ноги валит и нетоптанным жить измудряется. Был друг Сёма, но затерялся в были, словно в небыли, – то ли холост, то ли женат, то ли брат кому, то ли дядя. Нет его, да и ладно. Игнашка и один жить управится.

От кого Игнашка отродился, откуда родом – темное дело. Но в Москву он явился из армии. С вокзала в магазин пошел, штатское купил, а военное в чемодан бросил. Стал спрашивать про квартиру, а продавщица:

– Что ж, солдат, и жить негде?

– Негде, мать. Может, к себе возьмешь?

– С матерью ты зря вылез. Я еще ничего. И взять бы тебя взяла, да тебе Москва нужна.

– А ты, что ль, не Москва?

– Нет. Я – загород.

– Можно и на загород поглядеть, – размечтался Игнашка и стал затылок чесать.

Она глянула: парень – звончей монеты. С лица – орел, со спины – решка, с гурта ребрышки проступают. Дорогая деньжина. Глянула и предложила:

– Может, в складе подождешь? Помощь, понимаешь, нужна. Ящики там подвигать...

– Почему бы и не подвигать? – ей в тон – Игнашка.

Пригляделся к ней: рыжая. Друг Сёма уверял: кто рыжа, как ржа, – в любви раж.

– Ну, иди из магазина к черному ходу. Я подбегу.

Пошел Игнашка к черному ходу, а бабы так и висят на нем взглядами. Одет дешево, а кажется дорог.

Обошел магазин, а продавщица уже стоит, щекой рдеет, в лицо не смотрит. Повела перед собой, рукой трогает, дорогу показывает. Да вдруг в кабинет втолкула.

– Ты чего? – не ожидал Игнашка.

– У меня тут сестра – директор.

– Какая сестра? На двери написано: Псков.

– Тебе не все равно – Псков или Новгород? Тоже мне географ.

Сестра так сестра. Вошел Игнашка, а она – трык-щелк – дверь на замок закрыла.

– Такое дело, солдатик, выручай! У нас проверка сейчас ожидается, вот бы и помог – унес кое-что. Ты в солдатское-то переоденься, в свое. Я тебе в чемодан другое обмундирование суну, и в скверик иди, тут напротив магазина. Подождешься меня, и поедем за город.

Щурится, рыжая. Смотрит ласково, а сама чемодан из руки хват, открыла и на диван форму вытряхнула.

– Раздевайся, не жди. Солдату-то ничего не будет. Кто его будет смотреть?

Игнашка думать не стал. Стянул с себя брюки, сорочку снял, а она и не глядит на него. Шкаф открыла и свертки в чемодан укладывает.

– Эх, – думает Игнашка, – была не была.

Схватил солдатский ремень, подошел со спины, юбку ей на голову вместе с халатом задрал да ременной петлей прихватил вместе с руками над головой. Ловко так вышло. Она и «ах» сказать не успела. Он сам ахнул: такая красота точеная бабья!

– Ну что? Бить тебя, воровка, или любить?

– Кричать буду, – рыпалась она в юбке, словно в мешке.

– Давно бы орала, коли б могла.

– Ну, делай что хошь, только скорей.

– Нет, такая любовь мне не нужна.

– Да какая же любовь, если руки связаны?

– Дрянь ты, преступница, а хорошо говоришь.

– Развяжи, – скулеж из мешка,

Распутал ремень, но одернуться не дал. Юбку, кофту, халат и бюстгальтер вверх через голову разом содрал, а через ноги надетое сорвал вниз. Растащил одежду от пояса и вынул тетеньку, голенькую, как из футляра – гитару.

– Не спешил бы, милоч. Дома бы... Ведь застукают, – уговаривала, груди зажав руками.

Но тут Игнашка голову потерял и ей голову закружил. Как было дело, сказали бы, да приличия надо блюсти.

Рухнули на диван. Игнашка с непривычки замаялся – такой рукопашной в армии не учили. А она полежала миг и поднялась через силу.

– Иди, милоч, иди в сквер, ведь тюрьма мне, иди! Пропади они пропадом, эти тряпки! Если не посадят за них, то убьют.

Игнашка оделся по-солдатски – раз-два, захлопнул чемодан и пошел.

– Жди меня, золотой!

Ах как сладко сказала! Под чудной грудью на горячем сердце обнежился голосок.

Топают Игнашка по коридору направо к выходу. Только ногу занес на порог – вот он и страж порядка: черно-серые пятна и автомат, а в зеркале души главный интерес отразился: в каждом глазике его – по игнашкину чемодану.

– Ты чего, солдат?

– Да туалет искал. Невтерпеж.

– Задержаться придется, парень. Не вовремя тебе приспичило. Надо чемодан показать. Пошли, покажешь, – и стал заталкивать парня внутрь.

Но разве даст себя Игнашка толкать? Ногу подставил вояке, он и повалился в дверной проем вместе со своим автоматом. Игнашка дверь захлопнул и в ручку железку воткнул – валялась тут на земле скоба. Вояка за дверью – в свист, а Игнашка вдоль улицы – в ноги. Такого дал драпана петлястого по дворам, что и заблудился. Вышел на боковую улицу, глядь – троллейбус останавливается. Игнашка сел да поехал. Сколько ехал, не помнил, потому что сердце колотилось громко. Потом в автобус пересел, а на номера и не глядел. Откуда ему, нестоличному человеку, знать, что надо на номера глядеть?

Когда успокоился, вышел из автобуса, опустил на лавку. Местность совсем не знакомая. Город. А в чемодане – ворованное тряпье. Отдать бы надо, а где ее теперь, эту продавщицу, искать? Да вдруг на засаду напорешься? Задумался Игнашка. А тут глядь: на столбе бумажка, на пальчики порезанная, и на каждом пальчике – телефон: «Сдам комнату одинокому неженатому».

Сорвал Игнашка пальчик: надо бы позвонить, а как?

Огляделся вокруг – мужичок идет.

– Мобильника нет? Позвонить очень надо.

Мужичок засмеялся:

– Ты чего, брат, чудишь? Зачем мне мобильник? Я ж с завода. Мне звонить некому. У меня все свои рядом. Под нос прогундишь – без мобильника слышат.

– И как же тогда позвонить?

– Пошли в проходную!

Перешли они через дорогу и зашли в проходную. Заводик тут какой-то прятался за бетонной стенкой.

У вертушки стоит дородная женщина – центнера этак на полтора, – оценил Игнашка.

– Аннетка, привет! – сказал мужичок.

– Володь, ты куда? Ты ж выходной.

– Я – никуда. Солдату вот позвонить надо. Комнату хочет снять, а мобильника нет. Дашь ему позвонить?

– Легко, – сказала Аннетка и выставила телефон из окошка на подоконник.

Игнашка позвонил. Женский голос сообщил адрес и стал объяснять, как добраться. Игнашка достал из кармана ручку с записной книжкой, переспрашивать начал, но Аннетка не дала ничего записывать.

– Это рядом. Володь, ты бы служивого проводил – все равно делать нечего.

– Да и провожу. Пошли, солдат. Бери свой чемодан. Я бы тебя к себе пустил. И работал бы ты со мной на заводе. Да у меня, понимаешь, даже на балконе – и там остеклил – собака живет и мальчишка уроки делает.

Когда вышли из проходной, Игнашка сказал:

– Такая солидная женщина, а Аннеткой зовут. Чудно.

– Замуж вышла – в танк переменялась, – согласился Володя. – А была – в спичечном коробке просторно. Но тогда ее Анькой звали. Про эту перемену целый рассказ можно рассказать. Хочешь – слушай.

– Давай, – согласился Игнашка. – Надо же о чем-то говорить по дороге. Вот что рассказал Игнашке Володя.

БАРД

Когда Альбин безнадежно влюбился в Аньку, он купил себе гитару и стал петь песни. Слушать его было противно, потому что Альбин шепелявил. Мы говорили ему: завязывай, а он все равно пел. Анька глазами постреливала, но ни с кем не гуляла – то ли рано ей было, то ли вообще сухой человек. Альбин даже спал на лавке под ее окнами – она же только губу выпятит и плечами пожмет: чего, дурак, добивается? Видно было, что никакого, даже самого простенького, девичьего самодовольства в ней этот факт не возбуждает. Ходит в окружении шепелявых песен и приговаривает:

– Выключил бы ты, Альбин, свое радио!

Альбин замолчит на пять минут, а потом опять: то Окуджавой завоет, то под Высоцкого захрипит.

Раз послали нас по осени на картошку. Анька в автобусе впереди сидела, средне девчонок, а мы – на заднем сиденье Альбина уговаривали:

– Уломай ты ее! Чего мучаешься? Все равно никому, кроме тебя, она не нужна,

– Пошли вы в жаднишу, – отмахивался Альбин.

И Аньку девки уговаривали поддаться, и так же были отсылаемы в то же теплое место.

Махнули мы на это дело рукой, а через пару дней увидели, что Анька всю крутит с технологом Маньковым из третьего цеха. Он ей врет, а она аж назад заваливается – зубы скалит.

Технолог Маньков – человек разведенный, среди нашей братии как бы старший, и Анька при нем тоже вроде как командир.

Альбин, как увидел такое дело, аж взвыл:

– Пьёпадай моя тейега, вше шетыйе коеша!

Схватил свою гитару и убежал в рощу.

Покричали мы ему вслед, покричали – да пошли на поле картошку собирать. Вечером возвращаемся в свой барак, а на столе – бутылка, картошка сварена, и Альбин сидит, гитару настраивает.

– Я не шашкавал, я пешню шошынил.

Поужинали мы, и он нам спел свою песню. Анька в ней для ладу называлась Аннет, а технолог Маньков выступал в роли «ошенного ветра». Смех – смехом, а песня оказалась хорошая. Осенний ветер закружит Аннет, и она завянет, засохнет и будет брошена в грязь. Такое тут было уважаемое сильное чувство, что и шепелявость почти не смешила.

– Ты бы к врачу ходил, Альбин, может, избавиться можно от шепелявости. А то, понимаешь, пропадет твое сочинение. Ведь ты теперь настоящий бард.

В тот вечер Альбин спел свою песню раз двадцать, потом мы все ее пели, и Альбин смотрел на нас страдающим петухом: гордый, а в то же время боль не дает дышать.

До Анькиной души мы в тот вечер не докричались. Девонька с Маньковым по кустам шастала.

На обратном пути мы всем автобусом пели про Аньку, а ее держал за руку технолог Маньков.

Вскоре Анька замуж вышла за Манькова, а Альбин вылечился от шепелявости – то ли ему кусок языка отрезали, то ли подрезали что во рту... Только песен он больше не сочиняет и вообще не поет.

Вот такой был Володин рассказ.

– И где теперь этот Альбин?

– Да тут он. На заводе электрик. Женился на Верке-крановщице. Цветы ей носил, а на проходной Аньке всегда выделял из букета цветок. Вот такие у нас чуткие люди. Давай, солдат, устраивайся да к нам прибивайся. Платят мало, но народ, как видишь, хороший.

– Увидим, – сказал Игнашка.

Сказал – и дружка Сёму вспомнил, как тот твердил: среди хороших помирать да отдыхать хорошо, а жить надо среди плохих, чтоб было кому в глаз дать, а то сопьешься среди хороших.

Привел Володя Игнашку к нужному дому, попрощался и ушел не оглядываясь. Его, оказывается, за углом у палатки ждали чуткие добрые хорошие люди.

Поднялся Игнашка на этаж и позвонил в дверь. Открыла зубастая длинноголовая дама.

– Комната моя, солдат, дорогая. Мне, понимаешь, выплачивать надо (ссуду или залог – сказала неясно – сбилась, сказавши). Ты ведь и не работаешь еще. А у меня порядок: деньги вперед.

Игнашка говорит:

– Можно посмотреть, что сдаете? Комнату то есть.

– Проходи.

Прошел. Комната светлая. Чисто.

– Кроме вас тут никто не живет?

– Я мужа прогнала. Поругалась. Уже неделю одна. С дочкой живу. В третьем классе девочка, но она сейчас у его родителей. Старшая дочь – замужем. Мой муж – официант, а я в прачечной работаю. Мне жилье сдавать выгодно – белье не стираю. Из прачечной натаскаю чистого да нового, и порядок. Ну что, будешь платить за месяц вперед?

Заплатил Игнашка за месяц вперед и закрылся в комнате. Только хотел в чемодан заглянуть – хозяйка стучится.

– Иди чай пить, да и покормлю.

Пошел на кухню. Кухня тесная. Куда ни повернись – на нее натыкаешься. А страшна: приземиста, ушастая, как телефон. Сидит на табуретке и зубищами скалится.

– А ты, видать, до жизни солоший, солдат. О себе бы порассказал. Где работать будешь, как жить?

– Как-нибудь проживу.

– Ты вот что, ты только женщин сюда не води. Я этого не люблю.

– А как же?

– А вот и так же, – сказала и посмотрела значительно. – А нет – так выматывайся.

– Это же, выходит, прямое предложение, – удивился Игнашка.

– Хошь прямое, хошь кривое, – сказала, как отрезала. – Ешь и иди в ванну мыться.

Но тут Игнашка голову потерял и ей голову закружил. Как было дело, сказали бы, да приличия надо блюсти.

Скоро приморился Игнашка, подвалился под теплый бок и задремал.

Замерла она с Игнашкой в обнимку. Сон – не сон, смерть – не смерть. Старая, дохлая, ноги синие, а такую любовь отхватила, какую в молодости не хватывала.

Долго Игнашка спал. Не слышал, как она гладила его, целовала, слезами умывала, волосами утирала.

– Как бревно пилили меня всю жизнь... – шептала она Игнашке.

А Игнашка спит и не спит: в голове, как весной на полях, пахота. Мысли пашут. Глаза открывать не хочется, как подумает, какую красоту загубила жизнь. Лежит рядом человек. А это его остаток. Сёма говорил: глянешь на кожу-рожу – вещь, а вспомнишь про молодость-старость – время. Время человека на теле видно, как в телевизоре: каких ему недодано ананасов, какими черными хлебами добирал свое человек. Жила-была девочка, чуткая веточка, а отросла – жердина корявая: цвет увял, лист упал и в землю втолчен. Жила-была дамочка – не ушастая, не зубастая, а потом ушки гадкое слово слушали, зубки разную гадость кушали, муж бил – кожу дубил, друг бил – зубы дробил. Что тут делать и кто виноват? Друг Сёма говорил: «У живых вина у всех одна: кому казнить, тому и виниться. А хочешь человека сохранить – душу его найди, отмой, полюби, а там и тело полюбишь. Засияет перед тобой человек, и любовь будет множиться».

Женщина целует его под сердце, и на душе сладко, ласку слизывает.

Однако вставать пора женщине, в прачечную на службу бежать. Собралась было, а как пойдешь? Как квартиру оставишь на незнакомого человека? Деньги отдал, а тут у нее добра-то не на такие деньги. Стала дочке звонить – дом рядом.

– Дочка, жилец у меня новый. Чужой человек. Мне идти надо, а дом как оставить? Ты б пришла да посидела, пока вернусь. Только осторожней, смотри. Не связывайся с ним. Ты ж мне дочь.

Продрал Игнашка глаза, а глазам не верит. Сидит в комнате хозяйка, а сама лет на двадцать моложе. И в глазах у ней черти скачут.

«Вот на что способна любовь!» – зыграло в душе Игнашки.

– Молоднуть изволили?

– Чего?

– Молодая стала, – сказал Игнашка.

– Я и была молодая. Я дочка той, которая не молодая.

– А-а.

– И ты, такой молодой, – с мамашей?

– А чего?

– Даешь!

Встал Игнашка с кровати, а сам голый. Дочка глядит и ругается. Ругается, а глядит.

– Ты чего? Не стыдно?

– Так одеться же надо, а ты сидишь.

– Ну и жилец!

– Живу – значит жилец.

Она отвернулась к окну, а сама в зеркало на него косится. Покрутил Игнашка руками, размялся. Видит: рубашка его на стуле висит, брючки сложены. Хотел одеться, да помедлил. Поглядел в спину хозяйкиной дочки и задумался.

– Не думай, не обломится, – сказала она ему.

Говорит, а голос дрожит.

– Гордая, что ль?

– А ты как думал?

– Я совсем не думаю, – говорит Игнашка. – Думать – это слабость.

– Ты не объясняйся, сильный. Одевайся давай!

– Да ты не хочешь, чтобы я одевался. Спина гордая, а глазом косяка давишь.

Значит гордость твоя – пустая.

В самую точку попал, видать, метким словом. Дернулась и головой повела.

– Нет бы попросту: давай, мол, Игнатий, попробуем. А то и говорить не надо. Нет никого, а я уже голый. Не одеваться же, чтоб опять раздеваться.

Отдать ей должное надо: отважная оказалась. Повернулась лицом – зверьихица. От злости и отвращения всю аж перекосило. Руки – ходуном, губы тяжелы – виснут.

– Ты думаешь, не могу? А вот и да!

В два хвата разделась сама и встала: бери!

Глядит Игнашка: как яичко бабенка – плотная. Грудь подхватистая, задорная, живот поджат, ноги длинные. Не женщина, а Абрау-Дюрсо, как однажды выразился друг Сёма. Идеальные формы. А идеальные формы интереса не представляют. Они мертвы.

Повернулся к ней Игнашка спиной и одежду свою в руку взял, но тут же почувствовал спиной когти, ухом услышал: рычит. И взвился Игнашка. Совсем голову потерял и ей голову закружил. Как было дело, сказали бы, да приличия надо блюсти. Когда очухались, много было в квартире битого стекла и качалась люстра.

– Годишься, – сказал Игнашка.

– Молоток, – сказала она.

Помылись, оделись и прибрались, и стала она его кормить.

– Плохо дело, – сказала.

– Почему?

– Я ж не брошу тебя.

– Ну, это фигня.

– Нет, не фигня, Игнашка. Ты теперь мой. Мой на всю жизнь. Другого такого мне не найти.

– Да нет. Мне много нужно бабья.

– Ошибаешься, милый. Тебе нужна только я. А звать меня Блудника.

– Это что за ягода такая?

– Твоя судьба.

И снова Игнашка голову потерял и ей голову закружил. Как было дело, сказали бы, да приличия надо блюсти. Когда отделались друг от друга и отдышались, Игнашка стал спрашивать.

– А ты не замужем ли?

– Замужем. За художником. Он автор известной картины «Сбор падалицы».

– Знаю, – сказал Игнашка. – В журнале напечатано. Фамилия его Лепешкин. И то думаю: где я твое лицо видел?

– Там и мамаша моя нарисована.

– Он, видно, хороший человек. И картина его задорная.

Блудника подумала и сказала:

– Кукиш в брюках, а не картина. Там с задором падалицу собирают, а не с восток рвут. Одним прославление кажется: красных яблок навалыло немерено, а другим – подковырка: весь урожай – гнилье. Ловкий он. Кукиш в брюках, и весь сказ.

– Там и портрет его. Человек он гордый, – сказал Игнашка.

– Гордый-то он гордый, но сломленный. Где сломалось – срослось, но перелом знать о себе дает. Поэтому во все стороны бьет поклоны. Я ведь у него вторая жена. – Блудника вздохнула и губы поджала. – Жаль, но и тут у него неудача.

– Из-за меня?

– Не только. Из-за того, что он сломленный максималист. Хочешь выслушать про него рассказ?

– Давай. О теле твоём все знаю, надо и про жизнь немного разведать.

Вот рассказ Блудники о муже, которого звали Лепешкин.

МАКСИМАЛИСТ

Есть люди умные, есть дураки. Лепешкин был волевой. Талант к волевым решениям и поступкам он почуял в себе очень рано, но интересней от этого не становился. Ребятам во дворе даже бить его было не интересно. Притиснет губы к зубам и молчит, выпучив глаза. Изредка только врежет кому по уху или в нос: кукла куклой, бесчувственный и тупой, потому что большая воля чаще всего дает ощущение тупости.

Но в то же время была в нем смелость и вкус к благородным поступкам. Раз Колька Прошин спокойно так рассказывал, как ехал в электричке, а напротив парень сидел в клевых перчатках и в дорогой шапке.

И тут вошли в вагон двое парней, цап эту шапку и эти перчатки... Парень стал отнимать, а они ему пятак почистили и ушли.

– А ты? – спросил Лепешкин,

– А я делал вид, что сплю, – простецки сказал Колька Прошин.

Тут Лепешкин по колькиной морде – хрясь!

– За что? – заорал Колька.

– С меня раз в электричке часы снимали, а какая-то сука делала вид, что спит. Вот такой был Лепешкин, а с виду – заморыш.

В восемнадцать лет он – бах, и женился. Все во дворе так и сели.

– А чего? – спросил Лепешкин.

– Ты ж учиться хотел.

– Сначала она будет учиться, а я пока на заводе поработаю.

– Как звать-то ее?

– Валька.

– Зря ты, Лепешкин. Вальки по большей части в паху удалые.

– Чтобы я этого больше не слышал, – круто сказал Лепешкин, и разговор увял.

Стал Лепешкин по утрам ходить на завод вместе со своими родителями, а Валька сидела дома, готовилась в институт.

– Помочь надо молодой женщине, – сказал Колька Прошин. – Я ее по математике натаскаю.

Натаскивал ее Колька с месяц, потом Васька истории ее обучал, Димка по литературе гонял, а Лепешкину соседи, видно, сказали, что очень усиленно жена его готовится в институт. Сквозь пол даже слышно. Лепешкин отпросился с работы

и попал в самый разгар подготовки. Ну, ясное дело, подали на развод, а тут вскоре Лепешкина взяли в армию. Так что разводили его заочно.

Армия – она не трудом тяжела, а тем, что наказание там – физический труд, а поощрение – праздность. Таким образом унижается труд, а значит и нечто главное в человеке – человеческое достоинство. Кроме того, в армии много никому не нужной пустой работы.

С первых же своих армейских минут Лепешкин восстал. Назвали салагой, а он – табуретку в руку, и в бой. Послали белить мелом землю – он матерных слов понаписал. За это Лепешкин все возможные помойки вычистил, всю грязь в самых мерзких местах собственными руками отскреб.

Говорит ему ротный:

– Ну что, Лепешкин, больше не будешь?

– Не буду больше, – сдался Лепешкин.

И сломался волевой человек. Не стало больше Лепешкина.

Начал он письма писать своей бывшей жене, прощения просить, а ротный тем временем назначил Лепешкина хлеборезом в столовой – хлеб-сахар-масло делить.

– Лепешкин, я на масло пролетел! – подойдет к окошку молодой воин.

– Лети дальше, – посоветует Лепешкин и захлопнет окошко.

– Какие в нашей роте происшествия? – спросит ротный.

– Не знаю, но хлеб на закуску я выдавал Иванову-Петрову-Сидорову, – ответит Лепешкин.

– Зачем закладываешь? – спросят ребята. – Ведь мы тебе этим хлебом пасть забьем.

Молчит Лепешкин. Только глаза краснеют.

А тут приходит Лепешкину ответ от бывшей жены: если бы ты меня не бросил, никогда бы не жить мне так хорошо. Я теперь валютная проститутка, жена иностранцев, которые приезжают в Москву, и валюты у меня больше, чем у Внешторга.

Тут совсем Лепешкин закис, и поутру пошел на турник вешаться. Только он сунул голову в петлю, подоспел дневальный по автопарку.

– Я, наверно, душевнобольной, – сказал Лепешкин.

Но ребята зажали его в каптерке и вылечили,

После службы Лепешкин вернулся домой не сразу. Он уехал в далекий город, где нет ничего, кроме рояля, на котором играли ссыльные декабристы. Нашелся там потомок культурного человека и открыл в Лепешкине способность к изобразительному искусству. Когда Лепешкин привез в Москву серию «Таежные тропы», все сразу поняли, что молодое дарование сказало в искусстве новое слово. На картинах были те же дороги, на которые звала тогдашняя пропаганда, но вели они в глухую тайгу, в мрак, безысходность. Правда, другие считали, что дороги эти ведут к нашему свету из прошлого таежного мрака. Вот и угадай, кто он такой. Кукиш – он и есть кукиш. Вроде бы кулак для борьбы, и все же не кулак, а совсем другое устройство.

Таков был рассказ Блудники о муже.

– Как же ты такого большого человека на меня променяла? – спросил Игнашка.
– Я же не знаменит, не богат, и образования – нуль.

Подумала Блудника, пропела несколько раз слово «амбивалентность» – словно Вальку, первую жену Лепешкина, помянула, а потом сделала умное лицо учительницы, при нагоде довольно забавное, и сказала:

– Мы с тобой сошлись, как зверье в природе. С дерева спрыгнули, в начало цивилизации отбежали, где ни имя, ни диплом никакого значения не имеют. А как с жадной дикости малость справимся, из природы выделимся, ты быстро всего добьешься.

– Почему так думаешь?

– Потому что он рухнул там, где ты стал свободен. Его ломало то, от чего тебе, дикарю, лишь польза. Он и теперь хозяина ищет, а ты – вечный, как народ, его величество, но сейчас – новый, хозяином можешь стать, свою жизнь построить. А он не строил, но только пристраивался, чтобы продаваться на всех прилавках – сегодняшних, завтрашних и вчерашних. Пусть продавщицу себе найдет, самоторжец. Хорошая будет пара. А мне при тебе, дикарь, самое место, потому что главное дело в жизни – свобода.

Хотел Игнашка это дело обсудить хорошенько, про Кукиша и про армию потолковать поподробнее, поделиться свежими воспоминаниями, но тут зазвонил телефон. Великий художник почувал, что какой-то Игнашка ломает его судьбу, и посредством телефонной трубки решил вмешаться.

Наглая Блудника весело объяснила трубке, что она от другого пытается забеременеть. Трубка злобно возразила, и Блудника стала нервничать и ругаться. Но разве Игнашка подпустит к любимой женщине злобу? Он обнял Блуднику, такой влепил поцелуй, что трубка выскользнула из ее руки, а потом Игнашка сам голову потерял и ей голову закружил. Как было дело, сказали бы, да приличия надо блюсти. Скажем только, что трубка болталась на проводе, как тело самоубийцы.

Трубка ругалась сначала, потом впивалась черным ухом в окружающие шумы, а потом позвонили в дверь. Раз позвонили, два позвонили – они не слышали. Три позвонили – опять не слышат, потому что сами шумят. А потом уже не звонили. Дверь открыли ключом. Мамаша Блудники пришла, а следом вошел муж-художник. Муж хватался за бороду, пытался губу удержать рукой, чтоб не дергалась, а мамаша с порога начала лаяться. Но Блудника с Игнашкой ничего не слышали, потому что были как раз крепко заняты. Муж с мамашей постояли над ними, но стыдно стало, и подались на кухню: мол, подождем. Ждали-ждали, но сколько можно ждать? Опять пошли в комнату. А там – все то же.

– Когда устанете? – спросил муж.

Блудника глянула на него, как на нечто странное, и ответила:

– Лет через пятьдесят.

Потом перевела взгляд на мамашу и сказала:

– Мамочка, прости! Тебе все равно с ним не совладать, а такого кобеля отдавать жалко.

После этого глаза ее никого, кроме Игнашки, не видели.

Лепешкин хотел позвать милицию, но мамаша стала дергать у него телефон. Так крепко дергала, что и подрались. Художники – ребята сильные. Лепешкин победил. Позвонил-таки. Пришел милиционер молодой, заглянул в комнату, смутился и сказал, что его это дело совсем не касается.

– И давно ждете? – спросил милиционер из личного любопытства.

– Сутки, – ответил Лепешкин.

– Если вы нанесете им телесное повреждение, отвечать будете по всей строгости закона, – сделал милиционер серьезное предупреждение. – Лучше пишите заявление о разводе.

– Я бы ей все простил, – сказал художник.

– Это не вина ее, – мудро сказал страж порядка, – это ее счастье.

А мамаша заплакала.

Тут милиционер увидел солдатскую фуражку на вешалке и чемодан на полу.

– А не тот ли это солдат, который из магазина выносил краденое?

– Не тот, – сказала мамаша. – Он из квартиры не выходил.

– Верю, но надо лицо посмотреть.

Прошел милиционер в комнату. Хотел лицо смотреть, а сам смотрел на другое, не мог сдержаться. А им хоть бы что! Они ничего не видели. Им хоть земля вся пропадом пропади, – так крепко друг другом заняты. Постоял милиционер. А по-

том устыдился вконец и ушел, дверью хлопнул. Видно, другое было у Игнашки лицо, не походило на то лицо, которое бежало из магазина.

Художник Кукиш приходил, уходил, а потом не пришел совсем. Стал писать заявление о разводе.

Мамаша ругалась и плакала, и снова ругалась, а потом убралась из квартиры: переехала к мужу, к его родителям.

Когда Игнашка очухался, много времени прошло. Дверь была нараспашку, и много тут народа ходило на них смотреть. Блудника в себя пришла и стала смеяться.

– Вот мы какие!

Стали они вместе жить. Не жизнь, а сплошные радости. Игнашка дивился: бросало его к ней, а ее – к нему. Все время хотелось видеть ее, ощущать, трогать, мять. Вместе в магазин ходили, вместе еду варили и ели вместе. А потом деньги кончились. Дня три пожили без денег, Игнашка и говорит:

– Надо мне кой-куда сходить. В магазин один, универмаг у вокзала.

Рассказала она, как до универмага доехать, и он поехал. В «Мужскую одежду» поднялся на этаж, рыжую продавщицу нашел.

– Здравствуйте, – говорит. – Я чемодан принес.

Смотрит она – глазенками зырк-зырк по сторонам – и шепчет:

– Здесь нельзя разговаривать. Иди в скверик. К тебе скоро придут, и отдашь чемодан.

– А мне ничего за подвиги не обломится?

– Ну взял бы себе чего из чемодана.

– Я так не люблю. Не моя поклажа.

– Да расплачусь я с тобой, миленький, расплачусь! – блеснула продавщица глазом и поддела боком с намеком.

Игнашка сказать ничего не успел – Блудника как с неба упала.

– Я тебе расплачусь, гардина рыжая! Именно: не змея, а тряпка.

И пошла, и пошла! Так орала – трехметровые стекла звенели.

– Я вас не знаю, гражданочка! – оправдывалась продавщица.

– А я и знать тебя не хочу. Он мой. Всех за него порешу.

– Не мыло, небось, у него. Не измылится, – посмеивались вокруг женщины. – Все мужики такие, и нечего глаза за них выцарапывать.

Тут продавцы сбегаться стали, про милицию заговорили. Игнашка – чемодан в охапку и ходу. На автобусной остановке Блудника его догнала.

– Ишь, собрался. Меня тебе мало?

Пришлось Игнашке рассказать, в чем дело.

Домой пришли, чемодан открыли, а там – современные брюки, фирменный пиджак, дорогих мехов – куча. Блудника прикинула – не одна тысяча баксов прячется в чемодане.

– Сами продадим, без ихнего магазина. Ворам такие деньги – раз плюнуть, – решила Блудника.

Игнашка сморщил лоб, но тут же голову потерял и ей голову закружил. Как было дело, сказали бы, да приличия надо блюсти.

Стала она маме звонить, договариваться, и в два дня реализовали все через прачечную, а деньги сложили стопочкой на столе.

Брюки и пиджак, разумеется, Игнашке достались.

Стал Игнашка в шикарных штанах щеголять с Блудником в обнимку. Часто голову Игнашка терял и ей кружил голову где попало, даже в зоопарке раз – у загона с лосем, и лось серьезно на них смотрел. Денег они совсем мало тратили, ведь и есть им особо некогда было. Всё друг другом заняты непрерывно. Так что – подсчитали – денег должно на годы хватить. Игнашка жил как в раю, в котором Блудника пролетала, как ангел.

Может быть, жили бы они себе спокойно годы, если бы не художник Лепешкин-Кукиш, который в полную меру показал свою мелкую мстительность. Позванивать начал, под окнами похаживать да послеживать. Мол, на что живете, на что шикуете? Про милиционера вспомнил, как тот Игнашкой интересовался. Магазин нашел, в котором Блудника учинила скандал, с рыжей продавщицей познакомился, и узнал, что зовут ее Дарья.

У художников – творческая работа, а это – досуг. Пошептался он с рыжей Дарьей, за город съездил на чистый воздух, и весьма пленительным оказался этот пленэр. Открылись ему в Дарье незаурядные свойства, а она обнаружила в нем глубины без дна и крышки, то есть бесконечность. Стали они друзьями, и художник Лепешкин утешился, осознав через Дарью бесконечность своего таланта.

Но рыжая Дарья медлила утешаться. Она постоянно твердила художнику, мол, Бог мне тебя послал, потому что украденный чемодан-то висит на мне, числится. По старой дружбе, мол, счетчик пока не включают, а включают – открывая ворота беде.

– Да кто же тебя так мучает, душа ты моя? – лопотал Лепешкин в постели. – Скажи, я ведь многое могу. У меня ведь знакомства.

– И большие твои знакомства?

– Мердников, например. Человек известный, могучий.

– Ты знаешь Мердникова? – удивилась Дарья. – Я слышала, он портной.

– В определенном смысле – портной. Дела шьет, – засмеялся художник. – Я и папашу его знавал, когда после армии уехал в далекий город. А дядя этого папаши – известный в тех местах революционер. Его портретами весь местный музей увешан. Я, пожалуй, мог бы тебе про них рассказать – про дядю, папашу, да и мамашу Мердникова. Я их на историческом переломе застал, когда все у нас в стране ломалось. Молодой-то Мердников в те поры уже работал в Москве, в органы устроился и успешно продвигался по службе.

– Ну рассказывай давай, не томи!

Вот что рассказал художник Лепешкин-Кукиш.

МЕРТВАЯ ТОЧКА

Дядя был лих, племянник был тих, несмотря на общий родовой талант чутя контру.

Дядя бывало трясся и стрелял в головы без суда и следствия, так что даже сотрудников рвало зеленью.

Племянник же только трясся, но не стрелял.

Дядю в свое время выгнали из органов с формулировкой «за зверство», а племянник никогда в органах не служил. Он преподавал русский язык и литературу.

Дядя устанавливал в городе свою власть, а племянник дожил до времен, когда дядины фотографии убрали из краеведческого музея, а именное оружие уперли оттуда воры. Кобуру же с подписью исторического лица бросили в плевательницу – значит, для преступлений, а не ради идеи брали исторический дядин наган, который для города был то же, что для страны крейсер «Аврора».

– Нужно создавать боевые отряды, – твердил племянник. – Скоро появится вождь.

– Вам, Мердниковым, и карты в руки, – замечала жена, красивая, как исполком.

Единомышленница и соратница, жена преподавала историю в той же школе, поэтому Мердниковы были в школе определяющей силой, обеспечивающей бесконфликтное поступательное развитие учебного процесса.

– Пионеров нужно организовывать и комсомольцев – настоящих, прошлых и будущих, – говорил Мердников.

– Но для этого их нужно идейно вооружить, – замечала жена. – А потом и просто вооружить.

Мердниковы жили в плохом городе. Дело в том, что город находился на острове, а единственный мост, построенный в период застоя, долго не застоялся. Рухнул от того, что наряд милиции не смешал шаг. На этом месте был когда-то деревянный мост, который возводили еще монахи, но его разобрали на дрова и заборы.

Зима в тот год тотальной гласности выдалась теплая, и ходить по льду запрещалось. На лодке, опять же, лед не дает проплыть. Не будь речного ледокола, приходящего на выручку раз в неделю, город вымерет от голода и тоски. Но организации, отправляющие ледокол, как обычно, шалили: то одной муки пришлют, то лишь сахар, в прошлый раз доставили две баржи полных собраний сочинений, а вчера, в пятницу, ничего не выгрузили, кроме портвейна "777" и к/фильма «Королева Шантеклера» с журналом.

А еще потому был тот город поган, что весь он был сделан из монастыря.

Когда-то здесь был богатый монастырь – единственный клочок русской земли, устоявший от погубительного татаро-монгольского нашествия. За все столетия опустошительного разгула врагам не удалось проникнуть на остров, сколько ни бились.

Когда Мердникова проходила в классе этот раздел, дети всегда задавали один и тот же вопрос:

– Как же не вымерли здесь монахи?

– Монахи нашего монастыря – дети крестьян окружающих деревень, защитники родной земли. Во времена татарского ига они не старели и не умирали. Многие из них дожили до Михаила Романова, – отвечала Мердникова. – А настоятель монастыря руководил обороной острова даже во времена наполеоновского разбоя. Он бы дожил и до сего дня, если бы монастырь сохранился.

Глаза детей сверкали патриотическим блеском, а Мердникова ощущала полноту счастья, несмотря на преподанную неправду, потому что Наполеону и не снилось бывать в столь отдаленных краях. От Москвы, дальше которой его не пустили, до острова-города, о котором речь, тысячи километров. Но Мердниковой не правда важна была на уроках, но воспитание патриотических чувств.

Под напором волн новой жизни монастырь был разрушен, но не исчез. Стены с башнями разобрали на печи, храм переоборудовали под кинотеатр, в трапезной сделали дом культуры, в разных строениях поселились учреждения и средние школы. Баня только сохранилась в прежнем виде, но украсилась жестяным плакатом: «Закончив труд, башка гудит. Помывка ей не повредит». В общем, все обновилось, а приглядишься – то же самое: тот же монастырь, только вроссыпь, что сильно задевало классовое чутье местного учителя русского языка и литературы товарища Мердникова.

– Не доделал дядя своего дела, – вздыхал учитель.

– Отряды надо создавать. Тут и разговаривать нечего, – подсказывала жена.

Стал Мердников объяснять детям про Макара Нагульнова, который кормил народ при помощи нагана, а дети катанули ему под ноги бутылку из-под портвейна «777». Мердников сделал вид, что ничего не случилось.

– Пусть пьют. Черт с ними. Разве такие люди будущему нужны?

Единственным приличным зданием в городе был исполком. Строили роддом, а получился райский уголок со сквериком и памятником исторического лица, указывающего на сопричастность маленького городка к великим делам страны.

Жена Мердникова по ночам чесала под мышкой, вытянув руку вверх, а потом засыпала, забыв опустить руку.

– Хватит тебе голосовать, – говорил Мердников. – Теперь и людей-то нет, не за кого голосовать,

– Надо создавать отряды, а то хана, – настаивала жена.

На «Королеву Шантеклера» стремился попасть весь город, потому что кино было старое, но хорошее, и все это знали.

Мердников – не последний в городе человек – получил в исполкоме билеты и отправился вместе с женой на вечерний сеанс.

А город гудел, как в застойные времена. Вместо сыров и колбас, вместо мыла и сигарет, вместо пионерских галстуков и губных помад всюду продавался портвейн «777».

– Не «666» – число зверя, – говорил Мердников, – а «777» – вот число, которое окончательно очистит землю от зла.

– Портвейн вернулся, значит и портреты вернутся. Стабильность нельзя называть застоём. Портреты и покойники должны быть на своих местах. Вот тогда – государство! – твердила жена-историчка.

Мердников чувствовал, что страдает. Жена была тверда, а его страдание трепыхалось вокруг ее твердости, словно стяг. Он как бы заискивал перед женой, которую не смяли новые ветры, которая быстро нашла себя, определила собственное место в будущих социальных боях.

Отряды и трупы! Все, что не отряд, то мертво.

Его же тянуло в прошлое, в котором дядя – хоть и убийца, но все же герой. По идейным соображениям убийца, убийца классового врага. Нельзя и сравнивать с теми, которые украли его оружие для того, чтобы эксплуатировать историческое наследие в личных корыстных целях.

Путался Мердников и сбивался, выискивал приметы возврата, реверс часового механизма, чтобы стрелки рвануло назад.

– Какие стрелки? – возмущалась жена. – Не стрелки важны, а стрелки. Река стоит, город пьет, жрать нечего. Это не поворотный момент, это – мертвая точка истории. Отряды надо сколачивать. Брать власть надо. Вот что.

Но нет! Жена не совсем права. Назад пошло время. Это видно по окружающим рохам, по бессмысленной копошине. Пьяный тащит из грязи пьяного, а сам валится в грязь, и масляно лыбится черная лужа с плевком и окурком. Стриженная девчонка, которой не только матерью никогда не быть, но и девушкой, дымит табачищем в кругу парней.

– Эй, учитель! – крикнула девчонка Мердникову. – Проведи в кино, скажи, что я твоя дочь!

– Дети до шестнадцати не допускаются, – ответил Мердников.

– У-у, жлобина! – девка щелчком пустила в него окурочек, но не попала. – Маму волтузил, а дочку не признаешь.

Черная зима кругом, черные люди. Малый с длинным, подплывшим, как сосулька, лицом, растягивал рваную гармошку и без ладу и орал:

– А у нас такая власть – / пейте ханку всласть! / Власть пайка и пакета. / Влазь пока под ракету.

– Народ сконтрился, – сказала жена.

К старому кино прилагался старый киножурнал. Старый человек невразумительно благодарил за награду, а зал потешался, свистел, крыл матом. За спиной Мердникова кого-то тошнило. Но не по идейным соображениям. Просто перепил человек.

Жена начала опять про отряды, но тут стали показывать другое кино: про жизнь, которой нигде, кроме кино, нет.

Мердников смотрел на экран и ничего не видел. Ему хотелось встать и сказать:

– Товарищи!

Но сделать этого он не мог, потому что никто из сидящих в зале, а также вне зала – на улице и в стране – никто в товарищи ему не годился. И понимать это было страшно.

Кто-то крикнул, что его облевали, и молодой голос взвыл:

– Жалобу пиши Леньке Брежневу!

– Пошли отсюда, – резко поднялась жена. – Отряды нужны, отряды...

– Ты все рассказал? – спросила Дарья. – Можно хлопать или добавки ждать?

– Да чего добавлять? – задумался художник. – Тут нечего добавлять. Просто я хотел сказать, что Мердниковы – они всегда тут. Столбовые большевики.

– Всегда вы так – люди искусства. От вас ждешь совета, а вы картину рисуете. В чем дело – и не поймешь, – вздохнула Дарья. – Моей беде твой рассказ не поможет.

Художник Лепешкин хотел узнать о беде подробнее, чтобы прорисовались детали, но ничего не вышло, потому что Дарья решила помалкивать. Видно, крепко боялась кого-то или берегла от опасности дорогого человека, большого художника. Так и не прорисовала она детали. Кукиш к могучим людям не обратился и в это действие не вмешался, то есть полностью выбыл из игры под названием «Игнашкина жизнь».

Прощаясь с художником, скажем, что с рыжей продавщицей Дарьей он открыл для себя невиданное блаженство, которое стало источником непреходящего вдохновения. Критикам памятен еще был «Сбор падалицы», а он уже выставил картину «Звездное собрание», на которой лицом к зрителю взлетала рыжая продавщица Дарья, а спиной – он сам, хватающий с неба звезды. Тут тоже вычитывались разные идеологические сюжеты, но они не имели никакого значения, потому что ощущалась в картине радость и тишина, поэтическая затаенность блаженства. По Вселенной любви рыжая продавщица пролетала спокойно и весело, как хозяйка по кухне, и звезды просвечивали ее теплую плоть.

На этом месте мы могли бы расстаться также и с продавщицей Дарьей, но для продолжения рассказа об Игнашке нам нужно прочесть несколько страничек ее жизни, то есть тех страничек, в которые не хотела она посвящать муженька.

По вечерам Игнашка с Блудникой обычно гуляли по тихим московским улицам или подолгу сидели в сквере. Игнашка перетаскивал скамейку в такое укромное место, в котором никто их за кустами сирени не видел. Они могли там не только разговаривать и целоваться, но также допускать кружение головы. Правда, они почти никогда не делали этого, потому что приходили в сквер отдыхать.

Однажды на улице остановил их противный хам.

– Ты где штанишки брал, паря?

– Украл, – ответил Игнашка.

Он никогда никому не врал, потому что – Сёма говорил – ложь унижает.

– То-то гляжу, что не купленные.

Игнашка с Блудникой хотели обойти хама, но тот заметил:

– Этим штанишкам цена большая. Очень. Их в мастерской Мердникова пошили.

– Да? – сказал Игнашка. – На сколько же тянут?

– Может быть, и на жизнь. Твою, паря.

– Не слабо, – восхитился Игнашка.

– Ведь штаны из известного чемодана? Так?

– Может быть, и так.

– Ну тогда я должен про рыжую Дарью кое-что рассказать. Пойдемте на вашу лавку. Там и расскажу. Я знаю, что вы там сидите по вечерам.

Сели они на лавку. Солнце не хотело покидать московский сквер, медлило, цепляясь за листы сирени, но вскоре ушло, и настала полная темнота. Вот что услышали Игнашка и Блудника из московской темноты от наглого хама.

Когда Дарья вместе с потоком людей впадала в метро, ее внесло в руки хрякова-того мужчины, достоинство и форма которого напоминали комсомольца периода застоя.

– Жаль дамочку, – сказал мужчина. – В метро изомнут и сдвинут шляпку. Одной моей знакомой в автобусе на грудь наступили.

– Положь где взял, – кратко сказала Дарья.

Но, почувствовав хватку и оценив равнодушие окружающей толпы, решила, что разумнее сдаться.

– Не дави клешней, не сбеги, – прошипела Дарья и тут же всунута была в желтый «жигуленок».

– В ресторан желаем или прямо на дачку? – спросил мужчина, пристегивая Дарью ремнем.

– Домой желаем, – грубо ответила Дарья.

Мужчина взялся за руль и сказал:

– Домой – так домой.

И, не спрашивая адрес, отвез Дарью домой, в ее загородное имение.

На второй день мужчина финт повторил, а на третий предложил называть его Василь Егорыч.

– Василь Егорыч, Василь Егорыч... – несколько раз проговорила Дарья, словно пыталась вспомнить нечто, связанное с этим именем. – Кто ты такой?

Василь Егорыч задумался, словно прикидывал, что наврать, а потом сказал:

– Вообще-то я профессиональный философ. Но один случай вывел меня в сопредельные регионы.

– Ну ты и выразился! – восхитилась Дарья.

– Так и быть, расскажу, чтобы ты поняла разницу: кто я, а кто ты, – проговорил Василь Егорыч. – Пока едем, все равно делать нечего.

– Расскажи, милок, расскажи, – не скрывала удовольствие Дарья. – Мы сплетни любим и откровения тоже любим.

– Когда я занимался пифагорейцами, – начал Василь Егорыч, – это греческие философы, о которых данных почти никаких, одни вымыслы, – я узнал, что на русском языке написана о них замечательная работа, настолько блестящая, что автор был в тридцатые годы арестован вместе со своей рукописью и расстрелян. После него, говорят, осталась вдова – старуха, страшно умная и хитрая. Она якобы сохранила экземпляр рукописи, но никому не дает. А кто только к ней не подкатывался!

Дали мне адрес старухи, я было ринулся к ней, но друг мой, Мердников, человек крайне опытный – он тогда в органах работал – дал совет повременить. Мол, старуха, надо полагать, древняя, смолоду приучена к галантному обращению, и к ней нельзя являться с улицы. Ей нужно быть представленным. Так говорил Мердников.

Не буду рассказывать, сколько роз и конфет стоила мне эта дань предрассудкам ветхого века, но розы были подарены, конфеты съедены, и одна старушка привела меня к подруге своей – маленькому горбатому существу, которое едва перемещалось, хватаясь за все и вся цепкими дворянскими лапками.

– Меня зовут Софья Сидоровна, – произнесла она крепким молодым голосом. – Подруги называют Марией, но после смерти мужа я – Софья, то есть мудрость. «Да зовись ты хоть Федор, – думал я, – мне бы только рукопись получить».

– А вы кто? – спросила она.

– Я профессиональный философ.

– Значит, вам не ко мне, вам – к мужу. А мужа моего вам следует искать у себя. Обратитесь туда, где никому не отвечают, а только вопросы задают.

И отвернулась от меня бабка.

– Зря ты набросилась на молодого человека, – сказала ей подруга, которая меня представляла.

– Как это зря? Хорошенькое дельце! Все у человека отнять, а потом помощи просить. Мол, теперь можно писать о пифагорейцах. Не нужны вам пифагорейцы, молодой человек.

– Марья, не буянь! – вступилась подруга.

– Да ты читаешь ли, что они пишут? Тут один написал, что Диоген – выразитель древнегреческого пролетариата. Интернационал в бочке! Философия – это любовь к мудрости. Любовь вы расстреляли, а мудрость – посмотрите на меня – вот каким стала уродом.

– Извините, – сказал я ей, – но мне кажется, вы не правы. Мои родители тоже пострадали, но народ-то жив, русский язык жив.

– Не народ! Рабы живы, – закричала изо всех сил старуха, – вон, раб! Вон! Кто-то пострадал, а кто-то страдает и по сей день.

Что мне оставалось делать? Ушел я, как говорится, с позором. Но коммунисты разве сдаются? Позвонил я другу Мердникову. Мы вместе когда-то начинали в райкоме. Он потом по стопам дядюшки своего в органы подался, а я – в философию.

– Посоветуй, – говорю, – что делать? Розочки с конфетками не помогли. Может, попробовать что другое?

Друг, чувствую, мнется, но делать нечего. Он мне был кое-чем обязан. Область мысли и область сыска иногда бывают так сплетены!

Через пару дней квартира старухи была обворована, и рукопись лежала у Мердникова на столе.

– Удивительное дело, старик! – вжал в плечи голову Мердников и раскрыл передо мной рукопись.

На первой странице прямо по машинописному тексту там было выведено пером: «Главы 5, 6, 3 и 12 изъять. Остальное – вернуть». И подпись: Мердников. То есть – дядя.

Полистал я рукопись и говорю:

– Разве твой дядя специалист? В самую точку врезал.

– Классовое чутье, милок, классовое чутье, – отвечал друг. – Бабку эту убраться хотели, наезд на нее совершили, да только изуродовали. А надо бы – насовсем. Вот такая история.

– И что ты хочешь сказать этой историей?

– Да то, что с тех пор бросил я философию и пошел в заместители к Мердникову. Правда, он теперь подался в другое место, а я – на его место сел. Так что учти. У нас руки дли-и-нные.

Дарья курила в машине выпендренную сигарету и давала показаться ноге в разрезе юбки, но в области секса Василь Егорыч не шел дальше разговоров о своей знакомой, которой в автобусе наступили на грудь.

– При чем тут грудь? – поинтересовалась Дарья.

– Да понимаешь, один парень тут организовал массовую продажу французских лифчиков, вот и грудь, – озадачил Василь Егорыч.

– Чижик, не темни! Тебе баба нужна или рынок сбыта?

– Я тебе не чижик, стерва, – оборвал Василь Егорыч.

Дарья поперхнулась дымом.

– Останови тачку, хамская рожа!

Василь Егорыч с некой оттяжкой резанул Дарью взглядом и остановился.

– Вываливайся, чума! Только знай: Псков в осаде.

Тут только в голове Дарьи связались в один крепкий узел французские лифчики, раздавленная в автобусе грудь и собственная судьба, связанная со Псковым. Это был удар – пусть не по Дарье, но почти по Дарье, потому что Дарья была

связана интимной связью с Псковым, директором магазина, немолодым, но сильным мужчиной, который в порыве страсти ставил Дарью печать на ляжку, мол, она так лучше напоминает мясную тушу.

Волевым движением мысли Дарья успокоила взрыв ненависти и вкрадчиво спросила:

– Вы так могуч, Василь Егорыч?

– Достаточно могуч, чтобы Псков пал с позором. Проверками замучаю. Не каждый день приходит солдат-спаситель.

– Вези меня на свою дачу, – решила Дарья и выбросила окурочек.

Его загородный домик оказался за двумя городами. Там была тишина и птички, которые высвистывали одно единственное слово: обман. Но Дарья и рада была обмануться, лишь бы помочь дорожному Пскову.

– Хорошая дача, – сказала Дарья.

– Дерьмо, а не дача, – буркнул Василь Егорыч, который грубел с каждой минутой, пока не выругался матом.

– Какая проститутка насеяла здесь моркови? – ругался он, загоня машину прямо в морковную грядку.

– Ты тащил меня сюда мат слушать? – спросила Дарья, и пуговичка на ее кофе задумчиво выскользнула из петли.

Василь Егорыч хрюкнул и, звякнув ключами, стал отпирать дом.

Внутри было не кисло, но и не то чтобы ах: сарафанистые занавески, дорожки-дерюжки, вонючий диван и рыгающий холодильник, да еще ко всему – хрячья рожа Василь Егорыча, которая вдруг сделалась серьезная, как беременность.

– Ты на любовь-то губу не раскатывай, – брякнул Василь Егорыч.

Дарья так и села.

– Нужен ты мне, хряк-рожа!

Василь Егорыч стоял, а Дарья сидела, так что ему хорошо было видно, от чего он отказывается. Однако Василь Егорыч нисколько при этом не нервничал, и Дарья пережила жестокое женское поражение.

– Поживешь тут дней десять, – сказал Василь Егорыч. – Одна останешься. Мне с тобой колупаться некогда. А за это получишь сумму. А?

– С чего бы это? – спросила Дарья и стала застегивать кофту,

– Соглашайся, а не согласишься, найду дармоеда – он тебя будет сторожить, как пулемет.

Дарья не знала, что ответить.

– Итак, за калитку – ни ногой, – твердо произнес Василь Егорыч. – В холодильнике все есть, только хлеба нет, да он тебе и не нужен.

– Вези меня назад, – сказала Дарья.

– Молчи, дура, иначе, точно говорю, подыщу тебе развлекателя, и напрочь потеряешь вкус к жизни.

– А за что же ты мне дашь сумму?

– А вот за сиськи твои, – хохотнул Василь Егорыч, сел в машину и уехал.

«И ведь не запер, – думала Дарья, – Значит, верит. Нет, тут какой-то обман. Я вот и готова была на всё».

Сколько она ни думала, ничего не придумала. Ночь проспала на вонючем диване, утром консервы ела, потом книжки пыльные обнаружила, по саду побродила, обед сварила, телевизор был на даче... В общем, скоротала так две недели. Даже помылась два раза и вытерлась простыней, потому что не нашла полотенце.

И вот явился, наконец, Василь Егорыч.

– Заждалась, девушка? – Он был весел и несколько менее хрюковат. – Ты и загореть успела, как вижу.

– Не темни, – отрубила Дарья.

– Держи свою сумму и вали отсюда. Мы друг друга не видели никогда и знать ничего друг о друге не знаем.

Он положил на стол пачку денег.

– За что? – спросила Дарья,

В Москве сразу позвони Пскову, – наказывал Василь Егорыч, выпроваживая Дарью за калитку. – На электричку здесь налево по дорожке и прямо. Так и при-
дешь на станцию.

В Москве Дарья первым делом положила деньги в сбербанк на карточку, а карточку замотала в прическу. Так ей почему-то показалось надежнее.

Явилась она к Пскову.

– Насиловали? – спросил резко.

– Я оставалась тебе верна, – ответила Дарья.

– Твоя верность мне дорого стоила, – по лицу Пскова потекли скучные слезы.

– Мной на тебя давили?

– Не твое дело. Спаслась и дыши глубже.

– Милый! – сказала Дарья и бросилась утешать,

– Покажи-ка мне сумочку, – тихим голосом велел Псков.

Но в пустом кошельке была только его фотография, которую Дарья в лириче-
ском припадке сорвала однажды со старого документа.

– Самая дорогая моя любовница. Самая-самая! – восхитился Псков.

Но ей показалось, что он обвиняет.

– Милый, милый, милый, – ластилась Дарья к Пскову. – Мой маленький Рот-
шильд.

– Я не Ротшильд. Просто Василь Егорыч – следователь. А тебя, дура, для виду украли, для отвода глаз, чтоб срубить сумму денег. Через меня всю банду мою устрасали. Мол, налоги и пошлины надо платить. Романтика, мать их так. Мол, по закону можем и незаконно можем. Что хотим, то и воротим. Дуры! А я с этим сле-
дователем как бы в сговоре. Ему передали деньги, а мою долю в этом нашем с
ним деле он с тобой должен послать. Но, как вижу, забыл. Поди взыщи теперь. С
них не взыщешь.

Псков взглянул на богатую Дарьину грудь и мстительно ткнул в нее кулаком.

– Уйди, досада! Насиловали тебя. Вижу. А ты и рада-радехонька.

К концу рассказа голос наглого хама сделался тихим, а потом совсем затих. Игнашка ощупал лавку, где он сидел, но хам исчез.

На этом месте рыжая продавщица Дарья тоже выбывает из нашего повествова-
ния. Скажем только, что недолго задержалась она в магазине. Удачно забеременев
от художника, она вышла за него замуж и стала москвичкой. Ворвавшись в изобра-
зительное искусство через полотна мужа, Дарья обнаружила в себе художествен-
ный вкус и занялась фотографией. Но дальнейшая судьба этой красивой женщины
лежит далеко за пределами нашего повествования.

Встреча с хамом Игнашку несколько не взволновала, но Блудника серьезно
забеспокоила, потому что каждый день стали звонить по телефону, глупыми
голосами спрашивали Игнашку, а когда он подходил, клали трубку.

Однажды позвонила в дверь женщина. Блудника долго не открывала, потому
что Игнашка не отставал, но женщина дождалась. Сунула нос в дверь и спросила:

– У вас штанишков не продается? Или мехов, мягкой рухляди?

– Тебе кило или два? – спросил Игнашка из-за спины Блудники.

– Значит, продали все, – заключила женщина и ушла.

Блудника решила, что дело плохо, что надо ждать беды. А Игнашка не тревожил-
ся несколько, потому что с ним беды никакой случиться не может. Он был уверен.

– И ты от меня никуда не денешься. Мне с тобой так сладко, что не может быть горько. В армии я отслужил и государству разлуку не должен.

Она обняла его и поцеловала, и он ее целовать стал. А потом головы у них закружились. Как было дело, сказали бы, да приличия надо блюсти.

Однажды позвонил важный голос. Не тенор, не бас, а слышался крупный ум.

– Солдат, ты с женой-то, я знаю, не расстаешься. Я тут недалеко живу. Зашел бы в гости.

– С кем имею честь говорить? – спросил Игнашка и включил громкоговоритель, чтобы слышно было Блуднике.

– Неплохо бы деньги за порточки внести или извиниться хотя бы.

– Надо в милицию, – шепотом заскулила Блудника. – Сознаться надо.

Но Игнашка рукой махнул и спросил в трубку:

– Куда прийти? По какому адресу?

– К портному Мердникову тебе нужно прийти, дружок.

– Ставь чайник. Сейчас приду.

Портной Мердников был пузат и гологолов – некое чудачество сфер. Он открыл дверь, запахивая живот в огромный халат.

– Проходите, пожалуйста! Я один, но это ничего не значит. То есть это не следствие бессилия. И вообще никакое не следствие. У нас следователи – друзья-закадыки.

Игнашка и Блудника вошли в заставленную коробками прихожую, из которой вел коридорчик в кухню.

– Там кофе варим, тут – туалет, – показывал пальцем Мердников, словно собирался сдавать им квартиру. – А вот здесь беседовать будем.

Он пригласил их в большую комнату и усадил у круглого стола под зеленым сукном. Тут было пусто – стулья стояли, журналы валялись на столе и на стульях. Нечисто было в этой комнате. Не мусорно, а как на вокзале. Здесь топталось, пожалуй, много народа. И еще одна странность: в комнате не было окон, но зато – три двери, кроме входной.

– Чему обязаны приглашением? – спросил Игнашка.

– А сам как думаешь?

Мердников сел напротив Игнашки и Блудники спиной к трем дверям.

– Я предлагаю даме пройти на кухню и заняться приготовлением кофе или чая, как вы хотите. Вас это не затруднит, госпожа Блудника? А то, понимаете, один живу, а оставлять вас наедине... Наслышан, наслышан. – Мердников засмеялся и покачал головой. – Поощряю. Это вызывает уважение. Я тут разобрался с вашим делом. Вы, конечно, не виноваты. Тут другие виноваты, и с ними разобралась. А на остальных вины нет. Если только в малой степени, в незначительной степени. Рыжей Дарье мы, положим, простили. Не дикари ведь. Она много лет нам служила, не скупилась на богатое тело. Но вас-то нам жалеть нечего. Деньги – они деньги. Их надо вносить. Вы хотя бы что не истратили, принесли?

– Принесли, – сказала Блудника.

– Не принесли ничего, – буркнул Игнашка. – Денег у нас уже нет. А ты, милая, правда, приготовь-ка нам кофе. – Игнашка с нежной строгостью посмотрел на Блуднику. – Видишь, в женском вопросе дядечка – деревенский отстой.

Блудника вспыхнула и удалилась.

– Она вас боится, – сказал Игнашка.

– Не без оснований, – заявил Мердников и прищурил глаз, словно прицелился.

– Отсюда можно и не выбраться, или до дома можно не дойти.

– Ну, это фигня.

Игнашка был спокоен и тверд, и это явно нравилось Мердникову.

– Ты, видно, проходимец.

– Тебе моих характеристик не подписывать, – ответил Игнашка.

Мердников улыбнулся всеми своими сферами и сказал так, как если бы перед ним было пространство, значительно большее этой комнаты.

– Кто знает, кто знает, что мне подписывать. Ты газет не читаешь, а на простынях новости не печатают. От нашего голоса многое теперь зависит. Может быть, даже выбор пути. Так что не ссорься с нами. Ошибешься и выберешь неправильный путь.

– Разве вас больше народа?

– Вещь, дружок, не в количестве, а в качестве силы. А народ... Знаю я про большой народ небольшой рассказец.

МЕДВЕДЬ НА ЯПОНСКОЙ ЛЕСКЕ

В электричке раз сидел напротив меня старичок-рыбачок, и очень, видно, хотелось ему поболтать.

– Февраль сейчас, снежок мягко падает, – завлекал слушателей старичок. – Но это не тот февраль. Вот, помню, в шестьдесят втором году был февраль. То был февраль!

– Да чем же он февралее этого февраля? – спросил я. Вижу, что – врешь.

– Да как же! В шестьдесят втором году, по февралю, написали мне друзья из Владимирской области, что лещ пошел. Приезжай, мол. Собрал я вещички и думаю, дай ежа себе сделаю: такая свинцовая чушка с шипами – ледяную крошку таскать, чтоб лунка не подмерзала. Отлил я ежа, привязал японскую леску, а лески у меня все японские. Хоть и дорого, но не рвутся. Ну и поехал. Прихожу на место, где лещ, вижу: многоночко рыбачков. Надо, значит, выше по течению продвигаться. Зашел за излучку реки – лес с двух сторон, пусто, солнышко светит. Снег утоптал, лунку сделал... дерг – и сразу тяну леща. Килограмма на три. Во, думаю, дело! Руки аж затряслись. Забрасываю второй раз. Ни шиша. Поплевал, поколдовал: опять ничего. Ах ты, язвы тебя!

А тут поземка поднялась, солнышко скрылось, и, чую, со спины кто-то смотрит. Оглядываюсь, а на меня медведь идет, Какая-то сволочь, видно, не ко времени подняла из берлоги. Ой, думаю, надо тикать. Но куда тикать? Бросить все надо. А разве бросишь? Да и не убежать мне от медведя. А он уже на задние лапы встал. Я дыхание его чую. Что делать? Хватаю ежа своего, да в него и брось. А он, ловкач, возьми да поймай! Сдавил лапами, да как заревет! – шипы-то в лапы ему впились. Ему бы разжать лапы, бросить ежа, а он сильнее только тискает, хочет удушить чушку мою, словно она живая, и ревет от боли, бедняга, заходится. Схватил я вещички да хотел уходить, но у меня на этом еже японская леска, дорогая, у спекулянтов купленная. Дергаю леску, думаю – оторву, но хрен-та! Японская. Прочная. А миша, гляжу, шаг сделал, второй...

И повел я его вдоль реки. Выхожу на людное место: медведь ревет, рыбаки разбегаются.

– Помогите, – кричу, – его убить надо. У кого ружье есть?

Но никакой мне помощи и поддержки. Один малый сжалился – оглянулся и крикнул:

– Веди его по реке до железнодорожного моста километров шесть. Там путевой обходчик – с ружьем.

Вот и вел я медведя шесть километров на японской леске. Обходчик, к счастью, дома был и уложил зверя моего одной пулей, Мясо он себе взял, а шкура теперь у меня. У кровати лежит. Каждое утро встаю – вспоминаю.

А ты говоришь, русский народ проснулся, – добавил старичок-рыбачок, хоть и не говорил я ничего, и вообще мне не хотелось эти глупости слушать.

– Понял сказочку эту, солдат?

– Ты думаешь, не жить мне, как медведю, который проснулся некстати? Которого тащат на иностранной леске?

Мердников подумал, как бы привзвесил слово, еще не сказанное:

– Кто его знает. Иногда мне кажется – не жить. А погляжу на тебя с Блудникой внимательнее (потому и не трогал пока – глядеть интересно), погляжу, и сдается: не исправится наш народ до нужного состояния никогда. Жив будет. Вот и позвал я тебя, чтобы решить этот вопрос окончательно.

Мердников помолчал – дал дозвенеть словам и заглохнуть, и вдруг спохватился.

– Но умничать мы не будем. Ведь по-твоему думать – слабость. Если денег нет, а вымогать мне свое не хочется, я предлагаю: пусть решат карты. Играешь? – Не играю, но за хорошее дело можно и сыграть.

Игнашка не хорохорился: он и правда ничего не боялся. Он знал, что отвертит-ся. Друг Сёма учил: ты только с государством не ссорься, потому что у него – территория. Оно тебя, как клопа в постели, сыщет, раздавит, и рыпаться бесполезно. А на все остальное возлагай части тела.

– Прав твой Сёма, – неожиданно заявил Мердников. – Но учти, что я уже государство.

– Это фигня, – стоял на своем Игнашка.

Открыл Мердников ящичек, достал новую колоду, лишние карты выкинул и стал сдавать.

– Я только в дурачка играю, – сказал Игнашка.

– Известное дело, что – в дурачка. Самая игра – дурачок, – заговорил Мердников совсем умным голосом. – Разве другие игры бывают?

– Это как понять? – спросил Игнашка, показывал меньшую карту и начиная игру.

– А так и понять, – отвечал Мердников, – всюду на свете одни дурачка разыгрывают, а другие – дурачки – вкальвают.

– Ну это ты, дядя, врезал. Мы мозгой такие тяжести не поднимаем. Мы полегче чего поднимаем, потому что мозгу бережем.

– Ах ты, ах ты! – притворно воскликнул Мердников, – народ, с которым живешь, хорошо нужно знать или хотя бы мнение нужно иметь.

– Кусают – прокусить не могут, глотают – проглотить не могут, мнут-мнут, жуют-жуют, и сожрали бы, да поперхиваются – вот мнение.

Мердников повернул голову, и зайчик скакнул по стене от лысины. В комнате была сильная лампа.

– Предлагаю ничью, – сказал Мердников.

– Тоже мне шахматист. В дурака ничьей не бывает.

– У меня бывает. Я демократ.

– Сам не говори. Жди, когда люди скажут.

– Соглашаешься на ничью?

– Соглашаюсь, но тогда все деньги – мои. Второй раз играть не усадишь.

– С какой стати – твои, – возмутился Мердников.

– Коль ты сел эти деньги выигрывать, значит решил, что они мои.

– Не зря о тебе, парень, чудеса говорят. Но для меня этот грош – не разор, а тебе – не польза.

Тут Блудника кофе принесла в синеньких чашечках.

– Как дела? – спросила.

– Нравится он мне, – сказал Мердников. – Не хочется у него выигрывать. В каблу его хочется залучить.

– Нашел дурака! – хмыкнул Игнашка.

– Ну что ты при бабе значишь? – Мердников поднялся, стал по комнате ходить, лысиной освещая углы. – Пробалуешься всю жизнь, а тебя, возможно, ждут большие дела. Страну, может быть, разовьешь должным образом.

Блуднике эти слова не понравились. Надуваться стала, любезность с лица согна-ла.

– В рожу из чашки плесну горяченького, – тихо молвила Блудника.

Но для Мердникова она оказалась не досаднее мухи.

– Ты понимаешь, – говорил он Игнашке, – ты мне, проигравший, не нужен. А выиграешь – обнаглеешь и вознесешься. И опять я попаду мимо цели. Ты мне такой, как есть, нужен. Свободный, но преданный.

– Игнашка, отдай ему деньги, – сказала Блудника. – Он предателей ищет.

Игнашка засмеялся, притянул Временику к себе и поцеловал.

– Разве он тебе враг? – спросил Игнашка. – Может, он добра хочет.

– Вот именно, что добра, – вкусно сказал Мердников и руку поднял – значение слов своих подчеркнул.

– Беда это, миленький! Горе! Брось рубли и бежим отсюда!

Блудника заплакала, стала Игнашку тянуть, а Игнашка к себе ее потянул, чуть головы не закружились у них, но Мердников не дал забыться.

– Рубли – что! Бери их себе. Тут дело не рублевое и не тысячное. Становись в мой ряд, или...

– Мы к мировой общественности обратимся, – пригрозила Блудника.

Тут Мердников захохотал, чуть не лопнул от натуги.

– Какая тебе с таким именем вера? У тебя в самом имени потаскушность. Сдавайся, Игнашка. Давай дружить. Ни один народ тебя не спасет – ни наш, ни чужой. Свобода – она внутри человека, а вовне – куда ни приди, все равно выступишь себя на продажу.

Почесал Игнашка затылок и говорит:

– Если народы мне не помогут, значит я уже не народ?

– Как деньги взял – уже не народ, – уверенно сказал Мердников. – Битая твоя карта. Куда ни кинь – все дурак. Вот я сейчас уйду, а ты думай. Видишь – три двери. Направо пойдешь, изгоем век доживешь, прямо пойдешь – в тюрьму попадешь, а за мной следом – прямо в мою команду. Так что решай. Отсюда вам, друзья-товарищи, выхода нет.

– А если назад вернемся? – спросила Блудника.

– Там – смерть, – отрубил Мердников и скрылся за дверь.

Блудника заплакала, руки в отчаянии заломила, но Игнашка не позволил ей унывать. Обнял Блуднику свою, и закружились у них головы очень сильно. Как бы-ло дело, сказали бы, да приличия надо блюсти. В общем, началось тут действие, небывалое по силе и длительности. За дверями ждали-пождали, думали пере-ждать, но у пары нашей удовольствие никак не кончалось.

Надоело ждать Мердникову. Махнул он рукой и решил уехать. И унесло его в дальний край, за Ламаншский пролив, а троедверное помещение осталось Игнашке с Блудником.

Много времени спустя Игнашка и Блудника очухались, вспомнили, где находятся, открыли те двери, а за ними оказались прекрасные комнаты с видами дивного города Москвы.

– Надо заселить эти комнаты нашим потомством, – сказал Игнашка.

– Новых людей нарожаю, честное мое женское слово, – выдохнула Блудника.

Дыхание ее оказалось настолько сладким, что у Игнашки закружилась голова, и ей он голову закружил. Как было дело, сказали бы, да приличия надо блюсти.

Так вот.

ГОСТЬ НА ПОМИНКАХ

Рассказ

Похороны проходили как обычно. Представители фабрики, где до пенсии работал покойник, несли гроб, произносили речи, вдова утирала слезы и тихо всхлипывала, родственники и соседи отводили взгляд от пожелтевшего мертвого лица и сокрушенно кивали друг другу. Все ждали конца церемонии.

«Какое несчастье... Какое несчастье, не правда ли?.. – с глубоким вздохом произнес кто-то рядом со мной. – Вы, наверное, тоже хорошо знали покойного?» Незнакомец был скромно одет, подтянут, в слегка поношенном старомодном костюме – бухгалтер-пенсионер старых времен или ветеран технической интеллигенции среднего звена... «Мы были соседями, – кивнул я ему, – двадцать пять лет на одной площадке...»

«Примите мои соболезнования... такая потеря...» – он протянул руку и, пожимая ладонь, опустил веки. «А вы?..» – поинтересовался я. Уголки его рта чуть дрогнули и растянулись в грустную полуулыбку: «Я?..» Он снова глубоко вздохнул, и мне стало неловко, будто не узнал кого-то из близких умершего соседа. «Простите...» Незнакомец уже осматривался вокруг. «В себя не приду... чуть не опоздал... Не знаете случаем, есть ли здесь кто-нибудь из школьных товарищей усопшего?» Мне оставалось только пожать плечами: «Ну... это едва ли... Кроме членов семьи и соседей остальные приехали на фабричном автобусе, с бывшей работы Василия Степановича...» – «Бедный Вася!.. Нас почти не осталось – мальчишек его детства...» Он замолчал, сгорбился и, чуть склонив голову набок, застыл, глядя на пока еще незаколотенный гроб.

Когда возвращались от свежей могилы к машинам, я снова увидел его – он стоял перед грузной вдовой, сжимал ее ладонь двумя руками и сокрушенно покачивал головой. «А вот и Ваня, – вдова указала в мою сторону, освобождая руку, – у него в машине есть свободное место, садитесь к нему». – «Помилуйте... совсем неудобно... – стал отнекиваться незнакомец, – поминки... узкий круг... меня же никто не знает...» – «Как это не знает? – я подхватил его под локоть и жестом показал на мой “опель”. – Как не знает? Вас Василий Степанович знал... и Тамара Александровна... жена... вдова...» – «Ну что вы... неудобно, с вдовой-то мы сейчас познакомимся... Я ведь после школы в армию ушел и Васю из виду потерял, на десятилетия... И вот... – он остановился перед машиной, – если позволите, на переднее сидение...»

В пути он представился: «Сергей Иванович». Я познакомил его с дочерью и зятем покойного, сидевшими вместе с маленьким сыном позади нас, и поинтересовался, как же он узнал о похоронах. «Случай! Случай и, если позволите, Судьба! – он стал заметно словоохотливей, чем в первую минуту знакомства. – Мир тесен... С человеком одним разговорился... молодость вспомнил, школу, тут и Васю упомянул. А он, собеседник-то мой, каким-то боком знал его – не близко, но знаком был. Бросился справки наводить, позвонил кому-то, а там ему ответили: умер Степаныч, похороны послезавтра...» Он стал смотреть в окно и, ни к кому не обращаясь, тихо произнес: «Бедный Вася... Наше незабываемое детство... Оно ушло в безвозвратное прошлое и затянулось патиной времени...» И после нескольких

минут молчания обернулся к Нине, дочери Василия Степановича: «Вы, конечно, знаете, где учился ваш папа...» – «На Сретенке, – они же после войны там жили...» – «На Сретенке, – утвердительно кивнул Сергей Иванович, – да-с...»

Почти до самой Москвы мы ехали молча. Сергей Иванович лишь покачивал головой, погруженный в свои воспоминания. Неожиданно он улыбнулся и, повернувшись к самому маленькому из наших пассажиров, спросил: «Ты когда-нибудь носил шаровары? Нет? А мы с твоим дедом носили, широкие такие...» – «А в детстве дедушка тоже был пьяницей?» – поинтересовался пятилетний Антон. – «Не говори глупостей! – набросилась на него мать. – Как тебе не стыдно...» – «Сама, сама его так обзывала», – начал было оправдываться мальчик, но Сергей Иванович остановил его: «Это ты забавно пошутил, но детей-пьяниц не бывает, поверь мне... Твой дед тоже любил шутить, еще мальчишкой... И вообще... был веселым, сильным... Только вот время тяжелое нам досталось... Но мы не унывали... Знаешь, как мы с ним на деревянных самокатах по сретенским переулкам наперегонки носились?... Сами их мастерили: струганая доска, подшипники вместо колес... Носком левой ноги отталкиваешься, пяткой тормозишь... В ушах свистит... И он почти всегда меня обгонял – твой дед...» Сергей Иванович замолчал, словно запнулся, и, отвернувшись к окну, с тяжелым вздохом произнес: «Да... Большие люди уходят неожиданно и навсегда...»

Почему-то именно велеречие, в которое впадал в общем-то приятный в общении друг Василия Степановича, навредило меня на мысль, что на поминках он, скорее всего, напьется.

Нет. Он знал меру и не налегал на спиртное. За столом мы снова оказались рядом. «Не поверите, – опять разговорился он, – как я страдаю, что не застал Василия живым... Я ведь на ответственную работу был переведен – в провинцию... В родную Москву недавно вернулся... А раньше... вырвешься сюда в министерства, ведомства, первая мысль – друга разыскать, но... Все же на мне висело: планы, отчетность, лимиты, фонды... И все нужно согласовывать, выпрашивать, выбивать, за все отчитываться... То министр к себе вызовет, а то и член Политбюро... Подайте мне, пожалуйста, вон там... заливное... Благодарю вас...» Ел он не спеша, и всякий раз, откладывая вилку с ножом, аккуратно промокал губы салфеткой, водку отпивал маленькими глотками. За внешними чертами старомодного бухгалтера стала проступать сановитость ответственного работника, закусывающего в ведомственном буфете на Старой площади. И все же меня не оставляло чувство, что гость немного увлекся и речь того и гляди пойдет о сорока тысячах курьеров. И не ошибся... «Каждый раз давал себе слово, – продолжал Сергей Иванович, – разыскать Васю... Ах, да что там говорить, молодой человек, – нет мне оправдания... Но... когда на тебе такой груз ответственности, когда за тобой в провинции десятки тысяч рабочих и служащих... и от твоего правильного шага в коридорах власти так много зависит... Разве мы для себя жили?..»

После первых поминальных тостов разговор за столом стал оживленней. Траурная церемония, завершив еще один необходимый виток, плавно перетекала в сдержанное вечернее застолье. Несколько молодых людей, вовсе не знавших Василия Степановича и оказавшихся тут только потому, что их направили с фабрики «нести гроб», порывались уйти, но Тамара Александровна просила не спешить: «На кухне разогревается борщ, и еще котлеты будут – как Вася любил».

Сергей Иванович попросил слова. Он поднялся с места, откашлялся, опустил веки. Разговор стих, но Сергей Иванович продолжал еще некоторое время молча стоять – с рюмкой в руке и с полузакрытыми глазами. Я посмотрел на наполненную водкой и прикрытую корочкой хлеба любимую граненую стопку Василия Степановича, пустой стул, над которым нависало затянутае простыней зеркало, и, может быть, впервые понял, что соседа больше нет.

«Дорогие родные покойного, уважаемые друзья и сослуживцы... – Сергей Иванович открыл глаза и обвел всех медленным взглядом. – Позвольте мне, незнако-

мому здесь человеку, разделить с вами это большое горе. Для меня оно такое же личное, как и для вас.

Здесь много сегодня говорили об усопшем. Но никто из присутствующих кроме меня не знал его мальчишкой, никто кроме меня не был рядом, когда формировались его характер и душа... Только я помню, как он, будучи еще сорванцом, рвался на фронт – бить фашистов, как нес на своих хрупких плечах тяготы послевоенного детства, как он рос, учился и мужал. Позднее я потерял его из виду, но никогда не расставался с уверенностью, что Василий не изменил себе – остался верным товарищем, трудолюбивым и сердечным человеком. И сейчас, глядя на вас, я понимаю, что не ошибся. Теперь я вижу, что друг моего детства прожил жизнь достойно, став незаменимым работником на фабрике, любящим мужем, заботливым отцом и ласковым дедушкой.

Судьбы людские загадочны. Два школьника гоняют мяч во дворе на Сретенке, потом жизнь разводит их по разным дорогам, чтобы только полвека спустя свести вновь: один будет лежать в гробу, второй оплакивать его среди...»

Голос Сергея Ивановича предательски дрогнул, он замолчал, сдавливая тихий всхлип. Не знаю, как повели себя другие, но я опустил взгляд, чтобы не смущать старика.

«Многие люди, особенно молодые, тяготеют погребальным обрядом, – продолжил Сергей Иванович, справившись со своим замешательством. – Лишь с годами начинаешь ощущать то завораживающее таинство, в которое погружены и умерший и ждущие своего часа... Я не церковник, у них свои толкования... Вот у Пушкина по другому поводу написано, а я всегда на кладбище вспоминаю: *Печаль моя светла...*»

С этим чувством светлой печали представляю я сейчас Василия – таким, каким его знал: молодым, крепким, уверенным, жизнелюбивым. Он всегда приходил на помощь. Помню, классе в девятом, была у нас контрольная по химии, и я что-то там недоучил, недочитал... Вася сразу заметил мое беспомощное состояние и, рискуя быть пойманным, написал на промокашке нужные формулы и незаметно подвинул листок ко мне. Но заметьте: по дороге домой он объяснил мне суть не понятой мною химической задачи... Он уже тогда был человеком настоящих принципов...

Дорогой Вася! Ты ушел от нас, но ты с нами – в памяти и сердцах всех, кто тебя знал, любил и любит. Еще раз прости, что дорогу в твой дом я нашел только после твоей смерти».

Он пригубил рюмку и неторопливо опустил на стул.

Молодые люди, присланные «нести гроб», стали вразнобой произносить «земля пухом... царствие небесное...» и тоже приложились к рюмкам. Вдова, утирая слезы, тяжело поднялась со стула и благодарно раскланивалась в сторону Сергея Ивановича. Бабушка Николаевна из тринадцатой квартиры слезливо запричитала: «Вот ведь какие люди нынче помирают...» Дочь просила всех не забывать про закуску – «наготовили много, кушайте пожалуйста, а то пропадет...»

Обычно я не переносу ни заздравных, ни похоронных речей, меня коробит от риторики виртуозов этого жанра. Впрочем, Сергей Иванович был, пожалуй, не самым большим мастером, но и кандидаты в мастера у меня всегда вызывали оскмину. В этот раз происходило, однако, что-то не совсем обычное. Может быть, потому, что я разомлел (уже давно был расстегнут пиджак, и я томился желанием незаметно расслабить ремень)... А может, меня просто обезоруживала искренность Сергея Ивановича. И жест, и интонация, и взгляд превращали у него *простое* (чтобы не сказать *примитивное*) в душевное переживание, а *слащавое* – в сердечный порыв. Сентиментальный старик, чуткий, приветливый и, наверное, одинокий... Конечно, его заносит, но... Я наклонился к нему и негромко, но так, чтобы и другие могли расслышать, сказал: «Главное, что вы *нашли* дорогу в этот дом, пусть и с опозданием...»

Он ничего не сказал, но явно был растроган.

На прощание Сергей Иванович галантно склонился перед сидящей вдовой и поцеловал ее пухлую руку. Не привыкшая к такому обращению Тамара Александровна смутилась: «Ой, да что вы... Вы уж теперь это... просто заходите, не забывайте...» – «Неприменно, теперь уж непременно... – охотно соглашался он, – а как же иначе?.. Васина семья для меня теперь родная... А с памятником на могилку... не волнуйтесь... постараюсь помочь – у меня связи, знакомства... сделаем недорого и достойно...» – «Что вы...» – руки Тамары Александровны от растерянности поднялись вверх, а потом сложились в благодарном жесте крестом на груди. «Иначе и быть не может, – гость приложил правую руку к сердцу, – в долгу я перед Василием...»

Молодые люди, присланные «нести гроб», покачиваясь, встали из-за стола и тоже попрощались. Оставалось еще несколько родственников и соседей.

«Мама, – спросила Тамару Александровну ее дочь, принявшаяся убирать со стола ненужную посуду, – а что за околесицу нес этот Сергей Иванович? Отличник, по химии дал списать... Представляю, как бы папаша сейчас веселился... Ну просто Менделеев с колбой в руке... А впрочем... когда он на фабрике-то работал, они, наверное, там всем цехом ломали голову: как бы так схимичить, чтобы из денатура-та или политуры чистый спирт можно было выцеживать...»

«Как же ты так можешь... Нина... – растерянно отозвалась Тамара Александровна. – В такой момент... Может, про экзамен Сергей Иванович и перепутал что-то, но разве сейчас это важно? У нас же поминки!..»

«Покойника всегда хвалить надо – как ребенка...» – поддержала вдову бабушка Николаевна и очередной раз всхлинула.

«И я про то, – повернулась к ней Тамара Александровна. – Человек дружил с ее отцом, помнил его всю жизнь, искал... Так прочувствованно о нем...»

«В долгу, говорит, я перед Степаньчем...» – снова поддакнула слезливая старушка.

«Да Бог с вами... – отмахнулась Нина. – В общем-то он человек приятный...»

«Достойный он мужчина, солидный – вот в чем дело, – рассудительно завершила тему Тамара Александровна. – Не чета Васиным собутыльникам...»

Сергей Иванович не появился в семье покойного ни на девятый день, ни на сороковой. Решили, что он приболел, и очень сожалели, что в спешке не обменялись с ним телефонами.

Спустя несколько месяцев умер один из моих сослуживцев, и мне довелось снова оказаться на кладбище. На одной из аллей я увидел еще одну похоронную процессию, к которой торопливой походкой приближался Сергей Иванович. Захотелось догнать старика, поприветствовать, спросить, почему он не бывает у Тамары Александровны. Сергей Иванович тем временем поравнялся с гробом, привстал на цыпочки, посмотрел на покойника и нырнул в ряды провожавших. Когда я подошел ближе, он уже разговаривал с одной из пожилых женщин: «Какое несчастье... Какое несчастье! Вы тоже хорошо знали усопшего?...» Голос и вид его были воплощением скорби. «Немного опоздал, – сетовал он, – автобусы ходят редко. Не знаете, есть ли среди провожающих школьные товарищи покойного?» – «Так откуда им взяться, – вздохнула женщина, – Геннадий Митрофанович родом из Калуги, в Москву после школы приехал – в институт... потом женился...» – «Да... да... это я знаю, что из Калуги... Бедный Гена... Мы ведь с ним мальчишками в былые-то времена на Оке ивовыми удочками...»

С минуту еще я потоптался за его спиной, не понимая, что лучше предпринять, потом повернулся и пошел назад.

И уже вечером, перед сном, взгляд мой случайно упал на книжную полку, и я сразу обратил внимание на корешок книги, которую все помнят почти наизусть. В ней рассказывается об обаятельном аферисте, выдававшем себя за сына лейтенанта Шмидта. Мне показалось, что теперь я знаю недописанный конец этой истории.

ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

* * *

В подземном слепом переходе
под неоспоримой зимой,
вольно предоставить погоде
собой наслаждаться самой,
вольно и себе предоставить,
с чего неизвестно, вздохнуть,
продрогшие плечи расправить,
перчаткою снег отряхнуть,
и выщелкнув сигарету,
ее предвкушая уже,
минуту неглавную эту
зачем-то приблизить к душе.

* * *

Давно не пил с друзьями,
а пил черт знает с кем,
быть может, даже с вами,
не ведая, зачем.

И если так случилось,
не ставьте мне в вину
угрюмую усталость,
державшую в плену.

Ведь если нам молчалось
не трудно и не зло,
то что-то состоялось,
сбылось, произошло.

* * *

Сколь вязки эти разговоры, столь
они мистически необходимы —
так, верно, заговаривают боль
паломники, жрецы и пилигримы.

Когда ущербен месяц и дыра
сквозит в календаре и темной выси,
вползает в душу жуткая пора
с холодными глазами мертвой рыси.
В глухую несознанку Аполлон
уходит уголовником отпетым,

и наступает время слать поклон
друзьям, сопроводив его приветом.

И те из них, кто избежал шизы
радения о всенародном благе,
выкраивают для меня часы,
что, несомненно, требует отваги.

Об эту пору я невыносим –
упрям, бездарен, вспыльчив и зануден,
слоняюсь тупо по домам чужим
и доставляю беспокойство людям.

И главное дождаться, дотерпеть
до появления музыки хрустальной,
чтобы к ее приходу возыметь
нечаянную власть над мукой тайной.

* * *

Сыну

Шаг в сторону – зияет тишина
за жестко напряженною спиною:
по-видимому, больше не страшна
повадка поглощенного собою
для местности, где каждый гражданин
когда-то был проверен и просвечен.
Гуляй себе – не нужен, не любим,
не охраняем, не судим, не вечен.

ПОЛУНОЧНЫЙ ДЖАЗ

Не время покуда, еще не пора,
еще трубачи выдыхают согласно,
еще не закончилось позавчера
и все в нем прекрасно,
прекрасно,
прекрасно.

Под взглядом луны цепенеет вода,
джазмены исходят сладчайшим минором.
Слепых облаков кочевые стада
явить не торопятся скрытый свой нором.
Прозрений, свершений, лишений – всего
того, что случится, тревожить не надо,
не надо помимо синкоп ничего!
Не вывались, саксофонист, из квадрата!
А ты оставайся виденьем ночным,
кокетничай с лабухом напропалую,
пока он губительным соло сквозным,
как дерзкою шпагой, изящно фехтует.
Забудь мое имя и вспомни его,
очнувшись в предутренней зябкой прохладе,
весь груз полуночных невнятных тревог
снимая легко, как вечернее платье.

ЭЛИОТ, ИЛИ ЧУЖИХ ЛЕБЕДЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Книга учета

Большая тетрадь в твердом переплете, на обороте – выходные данные: Книга учета, 96 листов, КУ-4214. Что значит КУ? Не знаем, но учтем. Кукушка недокукукала. Кстати, на первой странице блестящей обложки изображен циферблат: без пяти двенадцать. Еще не ночь?

Третий год привожу эту тетрадь в Анапу – оставалась пустой. Ни стихов, ни прозы. Вот, начал потихоньку. Нечто конспективно-дневниковое.

«Бесплодная земля» Элиота – единственная книжка, взятая с собой на лето в этом году. Бывают странные сближения, уже не странные. Утром читаю:

А я удил над выцветшим каналом
За газовым заводом в зимний вечер...

(«Огненная проповедь»)

Вечером – ящик, старший инспектор Джепп в очередной серии Пуаро пеняет собеседникам в том духе, что пока они тут кайфуют на курорте, он там в Лондоне обитает у газового завода.

Что же тут странного? Элиот весь на этих связях-сближениях, и не он один. Модернизм не сравнивает времена и события, а вбрасывает их в один котел. Персонажи «Божественной комедии» ходят по берегам Темзы.

Элиот родился в 1888. В 60 лет получил Нобелевку. У нас в это время – 1948 – кампания по безродным космополитам. В мировой поэзии – торжество поколения Элиота, то есть Пастернака – Ахматовой – Цветаевой – Мандельштама.

Блок не знал Аполлинера, полного ровесника. Брюсов познакомился – через Лорансен – с Аполлинером в Париже (1909), приняв его за продвинутого книголюбца, издателя эротической литературы прошлого и просвещенного собеседника. Ресторанно-богемное знакомство.

Удивительно не отсутствие личного параллелизма, живой синхронности развития, но вот именно при заочном наличии этого – единый вектор, общая тенденция: загрузка поэзии мировой культурой, уход поэтов в скрытые смыслы, работа на равного собеседника, элитаризация стихотворства – в общем, разочарование в читателе как таковом.

Элиот – сплошь проглоченные-пропущенные звенья. Иные свои вещи он объясняет задним числом, но и комментарии мистифицирует. Игра в кошки-мышки, издевательство, провокация.

Андрей Сергеев издал «Бесплодную землю» в 1971. Зенкевич и Кашкин в своей «великой антологии» (эпитет Сергеева) впервые представили Элиота и Паунда по-русски. Потом Паунд пал, кончив психушкой, молчанием собственным и вокруг себя. Элиота у нас разрешили раньше, чем Паунда, который попал в примечания сергеевского издания, сделанные В. Муравьевым, и в один из выпусков сборника «Запад – Восток».

Сергеевский перевод отчетливой звучит сейчас: после публикации оригинальных стихов Сергеева. Оказалось – там много своего: интонация, ход стиха.

Я впервые прочел Бродского в ленинградском «Дне поэзии» (года не помню), это был кусок из «Стихов на смерть Т.С. Элиота».

Томас Стернс, не бойся коз!
Безопасен сенокос.

Сергеев – прямой учитель Бродского. Когда они встретились (1964), Бродский читал американцев и англичан со словарем, был обворочен сергеевским Фростом, а сам чем-то походил на Э. А. Робинсона. Сергеев на практике содействовал Бродскому в его переводческих опытах, поставив в Норенское соответствующие тексты. В большом объеме русский Элиот пришел к Бродскому через Сергеева еще до выхода «Бесплодной земли»: по рукам ходили сергеевские переводы, достигая Питера.

Так вот. Самоизоляция поэзии, что на Западе, что на Востоке, не мешала таким явлениям – на грани маскульта, – как Есенин, Маяковский или, позже, Ален Гинсберг (и вообще хиппи). Здесь же – наши шестидесятники.

Вознесенский балансировал, и вот итог: 75-летие прошло на волне попсы – хит из «Юноны и Авось» и «Миллион алых роз», то есть чужой строчки (из мандельштамовских «Стихов об Армении»: «Я тебя никогда не увижу») и, опять-таки, как хороши, как свежи были розы, то есть в принципе тоже чужого. Мятлев – Тургенев – Северянин.

Его юбилей, его вид и облик, его болезнь. Тяжко.

А тут еще и смерть Риммы Казаковой. Опять – песенки.

Блок не имел ни малейшего отношения к православию. «Тысячелетняя роза» (символ незримой церкви и Богородицы, католический символ) у Элиота в «Полых людях» – тому подтверждение.

М. б., исходя из элиотовской «Пепельной среды», стоит присмотреться и к можжевеловому кусту у Заболоцкого и Мориц, явно пошедшей за Заболоцким.

Вкладывал ли Заболоцкий в свой можжевеловый куст смысл, соответствующий библейскому? Пророк Илия, убегая от гонений, удалился в пустыню и, прося под можжевеловым кустом Господа о смерти, получил еду и питье, то есть жизнь.

Заболоцкий:

Можжевеловый куст, можжевеловый куст,
Остывающий лепет изменчивых уст,
Легкий лепет, едва отдающий смолой,
Проколовший меня смертоносной иглой!

Мориц:

Один можжевеловый куст
Расцвел. Я слышала хруст.
Я только подумала: с неба?
И вдруг увидала сама,
Как мама сходила с холма,
Холодная, словно из снега.

Прямых отсылок к Библии нет, но речь о смерти, точнее – о смерти и любви. Не о том ли и Первоисточник?

Элиот обогащает библейский сюжет за счет Данте:

О Жена, белые три леопарда под можжевеловым кустом
Лежа в полдневной тени, переваривают
Ноги мои и сердце, и печень, и мозг
Череп моего. И сказал Господь:
Оживут ли кости сии? Оживут ли
Кости сии?

Жена равнозначна Беатриче. Данте пронизывает всего Элиота, особенно раннего. В XX веке это происходило со многими: Брюсов, Блок, Мандельштам, Ахматова...

Ахматова: «Данте всегда» (Записные книжки).

Напрасно многие отвергают Брюсова. Я обрадовался, прочитав в разговоре Бродского с С. Волковым: «Не стоит Брюсова сбрасывать с корабля современности». Воистину так.

У Липкина есть определение молдавского языка: ломовая латынь. Поскольку этот язык сотворили каторжане, Липкин проводит аналогию с блатной феней, лагерной речью. Мне кажется, Брюсов писал на своей латыни: русско-татарской, облагоустроенно-варварской. Он передал ее многим – Гумилеву, Мандельштаму, многим. У него в «Данте в Венеции» на вечерней улице «во мгле свободно веселился грех, бесстыдно раздавался женский смех» – и вдруг:

Угрюмый облик предо мной возник.
– Так иногда с утеса глянут птицы, –
То был суровый, опаленный лик...

Брюсов наверняка воспроизводит многовековую банальность: «орлиный профиль», которым возмущался и Мандельштам у Блока в «Итальянских стихах». Причем речь-то, собственно, лишь о взгляде: глянут птицы. Профиль возникает сам, не названный. Пример изящного ускользания от банальности в ее пределах.

Мое ничтожное знание English'a давало мне основания считать, что Элиот прошел мимо меня. Не совсем так. Оказалось, много запало. В подкорке все остается. Однако – невежество. Наше общее проклятие.

Был поэт Г. В., редактор «Совписа». Не без одаренности. В 70-х за цедеэловским столиком я ему рассказывал о том, что одна из его поэм написана трехстопным ямбом в духе «Летних записок» Пастернака. Для него это было полной неожиданностью, он признался, что подражал более опытному своему приятелю – Е. Е., тоже совписовскому редактору.

Более того. Он не знал, что такие жанры, как роман или новелла, пришли к нам с Запада. Редактор лучшего советского издательства.

В свое время судьба свела меня на короткое расстояние (на недолгий срок) с Н. Старшиновым, абсолютно обаятельным человеком. Я сделал о нем передачу для радио, для «Маяка», если не ошибаюсь. Я там, на радио, немного и нерегулярно подрабатывал. Помню свои передачи о Тряпкине и Боратынском. Кажется, было что-то и о Рубцове. Да, было.

Так вот, мы со Старшиновым временно сблизились.

Было – в 69-м, что ли, – всесоюзное совещание молодых поэтов, я в нем не участвовал, поскольку вообще нигде не участвовал, шатаюсь по Москве без прописки под открытым небом. Не участвовал, но ошивался в кулуарах. Мы со Старшиновым ходили по коридору ЦК ВЛКСМ, обсуждая онтологически глубокие материи: в частности, я спрашивал у него, зачем и для чего у человека растут ногти и ресницы. В общем, общались содержательно.

Однажды я похвалил Тарковского. Старшинов посерьезнел и сказал как отрезал:

– Нет, это литературщина, это вторично, и мода на него пройдет.

Круги пересекались, я не входил ни в один из них, пребывая на некоторой смутноватой точке их пересечения. Проще говоря, я поднимал рюмку и с Германом Плисецким, и с Петей Кошелем.

Во второй половине 80-х я был зван в редсовет издательства «Современник», где рядом сидели Шайтанов, Глушкова, Ю. Кузнецов, кто-то еще, но острых дискуссий не было, да и вообще споров не помню. Так или иначе, моя неславянская физиономия, кажется, не портила пейзаж. Издательство славилось, помимо общего консерватизма, отчетливым русопятством. Оно издало, напр., Мориц, но не хотело выпускать Олесю Николаеву, которой я попытался посодействовать, но не был понят ни автором, ни издательством: рукопись ее мне дали заведомо на заруб – я порекомендовал застолбить в планах с условием доработки, и она действительно нуждалась в накоплении новых стихов, более самостоятельных и сильных. С автором у меня произошел нервный (не с моей стороны) разговор на ходу в ЦДЛ, а издательство, расстроенное моей рецензией, решило замариновать книжку, но этого не случилось: стиховой продукт в «Современнике» исчез вообще. Редсовета не стало.

Я пишу все это по утрам за кладбищенским столиком у надгробья грека Иоаниди. Старое кладбище обнесли металлической оградой, высокой, с цельными щитами, закрывающими море. Кладбище практически заброшено. Большинство могил разрушено. В Европе таких кладбищ нет – за место надо платить, за могилой следить.

Его пытаются прибрать, в смысле – привести в порядок. В результате уничтожили много зелени. Исчезли густые кусты роз, могучий чертополох, кое-какие кипарисы. Где будут обитать стрекозы, время которых вот-вот наступит? Не будет места и щеглам.

Столика тоже уже нет. Он подразумевается. Держу тетрадь в воздухе. Пишу по небесам – подо мной скала.

Сыпать именами тех лет бессмысленно. Их то ли нет, то ли не было и не будет.

Вечеслав Казакевич был. Был он белой вороной. Белейшей. На том фоне.

Я не знал, что он белорус из деревни. Комильфо, чист, ладен, опрятен, без тени агрессии, светлый взгляд, короткая стрижка с косым пробором. Пару раз побеседовали о несущественном.

Он исчез на десять лет, а то и больше. Вынырнул из Японии, где и застрял когда-то. Возможно, была в русской поэзии белорусская струя. Шкляревский, тот же Кошель, Казакевич.

Идя по здешнему бульвару, увидел на трубе нашей башни ворону. Хлопнул в ладоши – прогнать. Улетела. Оля, наша хозяйка, говорит: я люблю птиц всяких. Я говорю: лучше бы лебедь там сидел. Она вряд ли согласилась.

Дня за два перед этим на меня истошно кричали и пикировали на голову несколько бульварных ворон. Прикрывая голову, думал: за что?

А на набережной вновь стоит стенд с фотографиями ослепительных ню и местных видов. Там по-прежнему сидит старуха греческого типа, выжженная солнцем дочерна. Что-то вроде Мойры. Она сидит там с фотокамерой наготове и рыжим большим котом на коленях. В прошлом году она мне сказала о лебедях, зимующих в анапской бухте, в ответ на мой вопрос об их пропаганде:

– Жрут что найдут!

Я остановился около нее. Говорит: было зимой 1000 лебедей. Говорю: я тут вчера видел четырех. Отвечает: вот посмотри фотки, каждая по 10 рэ. На глянце снимков кишат лебеди. Говорю: мне чужих не надо, хочу заснять сам.

Гречанка вспыхнула:

– Чужих лебедей не бывает!

Курю в уборной на нашей башне, глядя с третьего этажа в окошко. Метрах в ста от меня – недостроенный дом, в проеме окна, на подоконнике, сидит сиамский кот. Смотрим друг на друга. Пронзительно блещет на меня Сиамским заливом. Ну, думаю.

Здесь развелось огромное семейство кошачьих. Наводнили двор, лезут изо всех щелей. У нашей то ли Муси, то ли Пуси течка. Вообще-то их две: Муся и Пуся, мать и дочь, их не отличить. Мусю-Пусю отлюбили все коты в округе, кроме черного красавца, весьма мускулистого, боевого, но пропустившего свою очередь, – информация от хозяйки.

Коты постепенно рассосались. Сиамец сидит в той черной дыре.

Часа через четыре я выглянул в окошко – та дыра забетонирована. Нет дыры. Глухой квадрат.

Недострой на месте, все тот же, все то же, что и было, – кроме того окна. Ни золотистой шерсти, ни вызова, ни Сиамского залива, ни воспоминаний об утратах.

У нас был сиамец, женского пола. Мы нашли его на лестничной площадке, подброшенного, увечного котенка. Это была жалкая тень зверька. Вырос, воплотился, стал кошкой Настей. В пору любви она устраивалась на раме форточки и трубила в мировое пространство так, что мне было слышно, даже если я сидел на многокилометровом расстоянии в шуме и гаме Цветного кафе ЦДЛ. Ее у нас не стало по причине, покрытой туманом времени.

Утром смотрю – окно, там кот, днем – никого и ничего, глухой бетон. Как это?

Возможно, это был железнодорожный кот Элиота, вернувшийся в текст «Популярной науки о кошках, написанной старым Опоссумом».

Тысячелетний, вечный шелест моря. Ходим с Н. по дамбе. Всюду лазурь, в море, в небе, в воздухе.

В легком сердце страсть и беспечность,

Словно с моря мне подан знак.

Над бездонным провалом в вечность,

Задыхаясь, летит рысак.

Что открыл Блок? Свободу мысли. Свободу лирической мысли.

Бунин потому и не гений поэзии, что у него не было этого *провала*. Увы. Не достигал. Ругался он именно насчет этого провала.

Но мы с Н. говорим о слоистых скалах. Они перед нами. Абсолютно слоистые. Блок писал их – в «Соловьином саде» – долго, почти два года, вспоминая о Южной Франции, о местечке Гетари на Бискайском побережье Атлантики. Кажется единым выдохом. Ну да, как «Август».

Это цельные вещи, из единого пласта воздуха. Цельность – в едином метре, в нерасчлененной волне ритма, в четкой строфике и прочих средствах наследственного строя классической просодии. Рысак не задыхается.

Сюиты Элиота – монтаж главок, собранных по скрытому смыслу, заведомо дробных. «Бесплодная земля» была поначалу конгломератом разношерстных частей, при помощи Паунда организованных в поэму – за счет отсечения лишнего. Элиот посвятил ее «мастеру большему, чем я». Категория мастерства привлечена как высшая оценка поэта, а не как нечто чисто механическое.

Ранние блоковские циклы («Кубок метелей», «Снежная маска») и «Двенадцать», поэмы молодого Маяковского и весь Хлебников – тот же метод и вектор, то же движение поэтического слова в пространство, освобожденное от пут формальных условностей. Дробясь, расхристанный XX век тосковал по Слову.

Одежды белые, одежды света.
Приходят годы, возрождая
Сквозь тучу светлых слез приходят, возрождая
Звучание старинной рифмы. Искупленье
Времен сих.

(«Пепельная среда»)

Элиот: «Традицию нельзя унаследовать – ее надо завоевывать».

Две старухи в замусоленных халатах с ведрами, идя от мусорного бака, говорят о своем: Васька алкаш, а Варька опять родила, а Верка вот-вот концы отдаст.

Халаты в дырах, руки-ноги старух венозно синие, на одной – калоши доисторического образца. Местные. Они тут живут. Цветущая акация, небесные ласточки, дельфины в лазури – не для них, но принадлежат им.

Я перекасти-поле, нечто случайно занесенное ветром, меня с минуты на минуту сдует, смоев отсюда, ликвидирует как вид. У меня нет корней. Ни в Москве, ни во Владивостоке, ни на Лазурном Берегу, ни в Копакабане. Нигде. Плечусь неведомо куда, сбросив пакет с отходами своего существования в мусорный бак.

Советская поэзия?
А был ли мальчик?
В смысле – так ли звали мальчика?

Однажды я случайно заглянул в соседствующие на столе литбюрократы характеристики членов СП для оформления заграничных поездок. Межиров значился «советский поэт», я – просто «поэт». То же самое и в одной из антологий, в библиографических справках.

То есть речь, кажется, шла о степени известности и масштабе. Никакого другого качества сюда не привносилось.

Вообще этого словосочетания – советская поэзия – при ее жизни для меня не существовало. Была поэзия. Просто. Без эпитетов. Или ее не было.

Это стихи – или не стихи?

Из воробьиного гнезда на мой балкон выпал трупик ласточкиного ребятенка – прошлогоднего. Там жили ласточки. Вытолкала его на моих глазах воробья. Расчищает жизненное пространство.

Так и лежит – кверху спинкой, голый, бесперый, розовый, с бельмами невозникших глаз. Или это воробьиный? И я попросту сочинил сюжет? В любом случае – на моем балконе лежит птичий трупик, выброшенный из гнезда. Боюсь тронуть. Больше он смахивает на лягушонка.

Трупик у был сделан гробик: пустая пачка из-под «Явы». Погребен у входа на кладбище, в начале ограды, под вторым цельнометаллическим щитом.

Марья Павловне (крещена в день святой Манефы) в октябре будет 90. У нее один глаз слеп – неудачно прооперирован, в уцелевшем глазу 20% зрения, тем не менее она видит меня, и мы через стекло окна обмениваемся знаками типа: ты домой? Нет, на улицу.

Говорит, что когда молится за нас, видит наши лица.

В виду наступающей годовщины вспоминает: ей изменял муж. Прожили они 58 лет. Дочь утверждает: сама виновата.

Муж поэтессы обречен на особые отношения с женской поэзией и ее авторами. Я поневоле пристрастен к женским стихам и многое знаю о поэтессах. Кажется, Роберт Лоуэлл сказал о том, что поэзия есть познание в том смысле, как это писано в Библии: и познал Адам Еву. О том же, в сущности, Заболоцкий: «Поэзия есть мысль, устроенная в теле».

Марья Павловна в прошлом году подарила мне брошюрку о пророке Илии, из которой я узнал о дикой жестокости данного персонажа. Он уничтожал людишек тыщами за то, что не верили в его Бога. Родословие мое темно, я всегда знал об этом.

Бонмо от Марьи Павловны:

– Плетень не придавит, так бык обосрет.

Речь о непутевом человеке.

Рассказывала о себе, непутевой: вчера собирала во дворе ромашки, чтоб засушить для чая, а когда стала выпрямляться, голова закружилась, и она упала наземь.

Приехал художник Сергутин с женой, поселились они совсем рядом, за стеной. Мы с ним говорим о Сезанне. Меня интересует погода Сезанна. Много лет назад на курильском острове Шикотан грузнеющий живописец Корж, вылезая поутру из барака, хмуро от недосыпа говорил в необъятное серое пространство:

– Погода Сезанна.

И принимался яростно писать.

Сергутин изъясняется непросто, ибо преисполнен восхищения Сезанном. Я улавливаю лишь что-то о разложении света. Но больше поражает другое. Сезанн выходил на работу – на этюды – регулярно, не пропуская ни дня, когда стояла его погода. Он не изменил себе и в день похорон матери. На этюды пошел, хоронить не пошел.

Вот что такое погода Сезанна.

Алла С. была нехороша собой, не следила за ногтями, для общения выбирала привлекательных дам, в ЦДЛ редких, – дабы заодно с ними стать угощаемой галантными коллегами.

Писала она по преимуществу детские стишки, но и по-взрослому тож. Была у нее такая миниатюрка: «Что такое глухомань? / Это то, где много Мань, / это то, где мало Вань, / это то, где мало бань, / и над хилым колоском / в барабаны бьет райком». Было и такое произведение: «Любовники мои – полковники <...> / А он командует: ложись! / И я команду выполняю».

Нет, она не была распутницей. Но как-то призналась, что в свое время ею попытался овладеть суровый мастер С. Я., но у него ничего не получилось по причине алкогольного опьянения.

Она была доброй, безалаберной, гостеприимной. Ей предложил руку и сердце старый колченогий писатель, автор знаменитой книжки для детей о бароне Врунгеле. Несколько месяцев Алла провела в сомнениях, каковые кончились браком.

Никогда не понимал с железной твердостью этих межировских строк:

Ах, можно быть поэтом
Не зная языка,
Но говорить об этом
Еще нельзя пока.

Это сказано в плоскости вавилонского столпотворения по поводу Останкинской башни.

Сейчас я, собственно, читаю не Элиота, а Сергеева. Это мое возвращение долга ему, некогда не прочитанному как следует. Он отнюдь не самый близкий мне поэт. Но меня давно гнетет факт непрочитанности этого поэта и многих других. Не прочитано и время, мной прожитое. Не прочитано и недосказано.

Володя нашел меня сам. Он не искал меня, но, услышав за столиком в Цветном кафе мое имя, названное кем-то из собутыльников, сказал, что в данный момент ему на рецензию дана моя рукопись. В «Молодой гвардии» она лежала давно в смутном ожидании своей судьбы.

Володя был высок, золотоволос, кудряв, синеглаз, есениноподобен, да и родом из Рязани. У него были манеры бывалого человека, он и был таковым: как минимум одна тюремная ходка. Хулиганство. На зону он ушел из Литинститута, где обучался стихосложению. Кажется, вина его не была доказана, или он взял на себя чужую.

У него были жалетели и опекуны, по освобождении из лагеря он был устроен в отдел поэзии respectable журнала.

Стихов он уже не писал. Помимо основной журнальной службы подхалтуривал на внутреннем рецензировании. Вечера просиживал в ЦДЛ, по ночам играл в карты по-крупному.

Тимур Кибиров в свое время должен был вручать премию Антибукер – Максу Амелину. Не пришел. Вручил я.

Чухонцев поддержал выдачу премии «Поэт» для Тимура, вряд ли чересчур близкого ему. Есть разница?

О, это роение вокруг стихов людей, любящих стихи, людей, отвергнутых стихами. Минное поле, поле Куликово. Полегли многие. Несть им числа.

Еще живые, мы лежали вповалку бок о бок на матрасах, тесно набросанных в пустующей комнате литинститутской общаги. Я не учился в том вузе, но некоторое время обитал на ул. Добролюбова, в семиэтажном кирпичном доме, видевшем многое и многих. Матрасы понатащили отовсюду, из других комнат, сгрудили и расстелили, без белья, без подушек и одеял.

Шла сессия, что ли. Съехались заочники из провинций, досдавать экзамены, ликвидировать хвосты, восстанавливаться и проч. На матрасах возлегали Толя, Сашка, Витька и буйный Митрошкин. Возлегая, бегали за водкой. Ночами брали у таксистов, дежуривших под общагой.

Толя имел кличку Бенья, в середине его фамилии было «бен», а родился он в Биробиджане. По этажам он ходил в трусах и пальто. Он был симпатяга.

Однажды ночью, одевшись, он пошел пешком на Тверской бульвар – сдавать экзамены. Его вели голоса, несущиеся из бездны звездного неба. Остановившись где-то на Каляевской, он осознал: ему надо к Кашченко. Он туда отправился и был принят.

Витька все время молчал, изредка роняя по-иностранному: битте-дритте.

Я лишь пару-тройку дней повалялся на тех матрасах, очухался и вернулся в комнату, выданную комендантом общежития нам с Н. Утром заглянул застенчивый Коля Рубцов. Я был в тельняшке – и действительно: я недавно прилетел в Москву прямиком из Охотского моря. Мы поговорили о море, о Колиной службе на Северном флоте. Но он, собственно, зашел за трешкой, каковая и была ему выдана. В долг, разумеется. Без отдачи, само собой.

Дело, увы, упиралось в деньги, Коля как раз не валялся на тех матрасах, а вот Сашка из Новосибирска разлагался там, однако деньги свои, сумму круглую, сдал на хранение моей Н. Деньги у них там, на матрасах, кончились, и меня вызвали на разговор. Сашка, Витька и буйный Митрошкин лежа смотрели на меня волками, требуя денег. Я сказал, что не дам. Потому что видел: Сашке этого не очень-то и хотелось. То есть хотелось, да не очень.

Сашка с белыми глазами покрыл меня последними словами. Буйный Митрошкин – черная челка нахось, борода торчком, прямой ушкунник – поднялся меня бить. Этот Митрошкин был известен тем, что когда-то послал телеграмму в то ли краевую, то ли районную газету – о своей смерти, и там был напечатан некролог с крокодильими слезами. Он потом, через годы, покончил с собой, выйдя из окна на 10-м этаже.

Драки не случилось: я ускользнул. Поздно вечером я сидел на седьмом этаже у Миши Асламова из Хабаровска, учившегося на Высших литературных курсах, мы пили чай. Зашел Сашка, стал плакать и просить у меня прощения, я простил, он выпил чая и ушел. Немного погодя, уже глубокой ночью, в дверь постучали, влезло лицо Рубцова: Миша, пойдем пошепчемся. Миша вернулся обескураженный, я спросил: что такое?

– Просит одеколону.

Сашку с Витькой я нашел в первой половине 60-х во Владивостоке по письму от Ильи Фоянова из Новосибирска. Илья писал: у вас там служат на флоте два талантливых поэта, найди их.

У нас там была своя кучка абсолютных гениев, и эта парочка сибиряков вписалась в нее не сразу. Матросы Плитченко и Болотов сначала не могли не вытягиваться по стойке смирно перед капитаном медицинской службы Кравченко.

Они приходили ко мне, сбрасывали форменки, облачались в штатское, шлялись по улицам. Мои рубашки подходили обоим. Их печатала краевая комсомольская газета. Я составил книжку Сашки для Дальиздата, и она вышла.

Мы были как братья, а с Сашкой в молодости были похожи и внешне. Оба они происходили из деревень, у Витьки сказано: «Мой дед был деревенским мудрецом». Кажется, он родился где-то на Урале, потом оказался в Сибири, а после флота уехал в Пермь.

Конечно, короткостриженный парень во флотских башмаках и штанах с медной бляхой, с наброшенной на все это пестрой ковбойкой внушал подозрение патрулям, но дело сходило с рук. Как-то Сашка загорился у меня с ночевой, его посадили на «губу» (гауптвахту), и я навестил его, как Белинский Лермонтова.

Лет через десять, отъевшись и хорошо женившись, он прилетел по делам в Москву и в ресторане ЦДЛ говорил мне:

– Что ты тут делаешь? Уж лучше быть первым парнем на деревне.

У Витьки во Владивостоке обнаружилась сестра, мы с ним отыскали ее далеко на окраине, на мысе Эгершельд, в деревянном домишке, и там объелись омулем, присланным из Сибири. Омულ вонял. Он и должен быть с душком, но его передержали.

Проблема была в том, чтобы из увольнения вовремя являться в часть. Мы сидели с Витькой в редакции «Тихоокеанского комсомольца», былолюдно и дымно, Витька осоловел, одеревенел, стал говорить нехорошие слова в мой адрес, поскольку я настаивал на его возврате в часть. Я вызвал такси. Он ни в какую. Его слова приобрели совсем плохой оттенок. Пришлось ударить его по челюсти до полунождауна, засунуть в машину, дать денег шоферу и указать адрес части. Он ничего не помнил потом, я не напоминал.

В Перми у него посмертно вышла книга, говорят. Там его помнят.

Виктор Болотов, начало 60-х:

Каждый день у меня умирают стихи,
От великой любви умирают,
От высокого горя,
От подлой тоски –
От всего, от чего умирают.

Он жил тихо, печатался редко, угас без шума. В Березниках намеревались поместить его имя на Аллее славы, в соседстве Пастернака. Не знаю, произошло ли это, информацию нашел в Сети.

У Плитченко сложилось по-другому. После нескольких посещений психушки он круто завязал, сделал литкарьеру, занимал некие посты в местном отделении СП и журнале «Сибирские огни», обильно издавался, превосходно переводил сибирских аборигенов, берег и лелеял семью, но как-то, в какой-то черный день сорвался, запил – сердце не выдержало.

Александр Плитченко, начало 60-х:

Ой, как резали быка.
А пока не резали,
Два ножа,
Два мужика,
Грелись в доме трезвые.
Ой, как резали быка...
А пока грелись,
Как орал он в облака
И бодал
Рельс.

.....

Как зарезали быка –
Снег теплее мака.
С полотенцем в руках
Заплакала мама.

В издательстве «Прогресс – Плектра» недавно вышла книжка для детей – авторы В. Белов и Н. Рубцов. Я редактор этой книжки. В ней соединены беловские «Рассказы о всякой живности» и некоторые рубцовские стихи. Все это ярко проиллюстрировано художником Антоном Куманьковым.

Жил художник Юрий Князев. Жилистый, усатый, горбоносый, худой, русский, неопределенных лет, но вроде бы участник войны в качестве юнги, о чем сам он не распространялся. У него не было художественного образования, не было и дома, мастерской не было, работы его и его самого хранил Витя Шлихт, сам ютившийся в подвальчике Дома культуры железнодорожников, где вел изостудию.

Мы с Юрой шли по утреннему Владивостоку, на пути нам попала бывшая часовня, что ли, ее осколок, превращенный во что-то вроде энергоподстанции, с побеленной лепной кудрявой головой ангела в нише. Юра сказал:

– Ленин в детстве.

В то утро при нем был Хайям, в кармане задрипанной куртки. Бывал при нем и Камюэнс. Того и другого он цитировал при случае.

В то утро он проснулся на плоской крыше здания на ул. Баляева, где находились художественные мастерские. Ночь он провел так, что его ноги свисали с крыши восьмизэтажного здания. Я обнаружил его там, и мы пошли пешком по утреннему Владивостоку.

Он писал маслом, а в то лето – акварели и всяческую графику. Был у него графический цикл на тему морского дна – нечто орнаментально-сказочное.

Жил он по-своему тихо, ни во что общественное не лез, частенько отсутствовал, и о нем ничего не было слышно месяцами. Вдруг – скандал. Кого-то он побил, что-то там не то сделал, ему грозил срок. Надо было спасать. Я написал и тиснул в комсомольской газете, где меня временно держали в литотделе, заметку о нем, дав репродукцию морского дна: крабы, звезды, морские цветы – красивая вещь.

В редакционную дверь постучали. Вошел невысокий русский человек с бородкой.

– Где мне найти Фаликова?

Познакомились. Василий Белов. «Привычное дело», бестселлер тех лет. Белов проходил переподготовку – так это называлось – во флотской газете «Боевая вахта». Он хотел найти Князева. Тот обретался в тягулевке. Пару раз мы с Беловым пересекались на улице, перезванивались на предмет Князева.

Юру убили ночью на ул. Русской под кафе «Ромашка» лет через десять. Убийц не нашли.

Прошло время, Белов зачем-то заехал в литинститутскую общагу той ранней осенью, когда кипела жизнь на матрасах. Естественно, он обошелся без оной жизни, но как-то ранним утром несколько человек, в том числе Белов с Рубцовым, отправились на ул. Руставели, где была столовка.

У крыльца столовки стояла лошадь с телегой. Белов отделился от нас, потрепал лошадь по морде и остался с ней разговаривать, пока я и другие пошли по пиву.

Все не случайно. Морское дно, Юра Князев и лошадь. Все не случайно.

По ящику недавно показывали Белова, которого чествовали в Зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя. 75 лет. Ветхий беленький старичок, пораженный хворьями. Его подвели под руки в первый ряд Зала.

Из него хотят сделать если не М. Горького, то М. Шолохова наших дней, все по колодке, как в былые времена, когда в литературе или, скажем, в науке (академик Лысенко, академик Марр, академик Виноградов, ну и так далее) должен быть свой Сталин. Национальный лидер.

Вознесенский и Белов. Тяжелое зрелище. Что-то обрушилось на обоих берегах общей реки, и река ушла в землю. Бесплодная земля? Нет, что-то сделано и останется. Но сейчас это выглядит так.

На Пречистенском бульваре появился памятник Шолохову. Он, в бронзе, сидит в бронзовой лодке на некоем каменном треугольнике, за ним – каменная же река, а то и океан, откуда торчит двадцать одна конская голова. Мой брат Борис и моя Н. в один голос верно подметили:

– К Шолохову подверстали Слуцкого. Чтоб никому не было обидно.

Синтез. В Анапе есть заведение «Шашлык-хаус», название ласкает глаз. Впрочем, на Арбате есть «Кебаб-хаус». Никаких цивилизационных проблем.

Думаю, из этой же оперы и словечко *волкособ*, что означает помесь волка с собакой. Прочел в местной газете «Черноморка».

На бывшем доме Моссельпрома висит доска в честь академика Виноградова. Там еще недавно, на самом верху, была мастерская Ильи Глазунова. Маэстро время от времени прохаживался в задумчивости по моему переулку – Моссельпром смотрит на мой переулочек.

Но я о другом.

Рассказывают, в доме Моссельпрома, населенном важными людьми, после войны обитал поэт Семен Гудзенко, который был женат на чьей-то высокородовитой дочке из этого дома, и когда поэт за полночь приходил в подпитии, его туда не пускал милиционер, постоянно стерегущий драгоценный подъезд.

Образ поэта в чистом виде. Его положение в мире, под звездным ночным небом.

Мы не от старости умрем, от старых ран умрем. Какие там старые раны? Гудзенко, когда он умер, было тридцать. А раны – старые. Им тыща лет. Поэт таким рождается. Он написал, что выковыривал ножом из-под ногтей чужую кровь. Об этом и речь.

Попутно говоря, дом Моссельпрома претерпел непростую историю: в 1913 году он рухнул по причине нерадивого строительства, за что архитектора Н. Д. Струкова наказали шестинедельной отсидкой в катажке.

Дом, в котором я живу, тоже ничего себе. На нем пара бронзовых досок – драматурга Б. Ромашова и немцев Фридриха и Конрада Вольфов, отца и сына, писателя и кинорежиссера, сведенных на совместной доске. Здесь же, в этом доме, вырос и брат Конрада, сын Фридриха – Маркус, будущий глава Штази.

Когда я в Германии рассказал об этом факте одной пожилой фрау, она вскрикнула почти радостно:

– Мишка!

Однако в доме моем жили и Книппер-Чехова, и академик С. Соболевский, и драматург Вишневский, и литератор Гайдовский, тоже по преимуществу драматург. Я прочел сочинения всех экс-соседей, специально посещая на сей счет Ленинку.

Особенно меня интересовал Гайдовский, поскольку он выстроил мою квартиру: дом был кооперативом драматургов, собравших складчину на него в начале тридцатых. Драматургам, собственно, принадлежало два этажа, насаженных на уже существующее трехэтажное здание конца позапрошлого века, сделанное по проекту В. П. Загорского, которому принадлежит архитектура Московской консерватории. На третьем этаже, прямо подо мной, жил художник Корецкий, сталинский лауреат, известный плакатами военной поры. Пару раз заглянув к нему, я видел на стенах много живописи, видимо, невостребованной.

Многие в доме были лауреатами, но не Николай Гайдовский. У него были славные вещицы в прозе, написанные в молодости, но потом он, как почти все, мимикрировал, стал катать художочную халтуру для сцены. Исключение – большая очерковая книга о войне: о боях за Севастополь, где он был военным корреспондентом.

Он умер задолго до нашего вселения, и въехали мы на пепелище: тут доживала вдовица Гайдовского, бедствовала, делала шляпки на продажу, одиночествовала – ее не сразу нашли мертвой в ванне. Квартира была разрушена целиком, пришлось делать все, начиная с проводки.

Мы обнаружили множество шляпных булавок, старых журналов мод, еще дореволюционных, кое-какие фотографии прежних жильцов – в том числе молодого Гайдовского в форме царского офицера. Были и рукописи, в тетрадах и разрозненных листах. Встал вопрос: что с ними делать?

У Гайдовских существовала племянница, женщина пожилая. Мы позвонили ей. Она подъехала, бегло осмотрела наследство и пообещала взять рукописи несколько позже. Мы ждали около года. Бесполезно звонили наследнице. Скрепя сердце я отнес бумаги в мусорный бак. Шла перестройка, в баке ночевал бомж, я сложил бумаги к его голове.

Прости, собрат. Моя книга учета весьма похожа на то, что ушло в тот мусорный бак.

Надо объясниться насчет нашей анапской башни. Речь идет о двухъярусной надстройке над старым домом, в параметрах около 10 метров шириной и чуть больше ввысь, из крупных серых

кирпичей, с двумя полукружиями балкончиков на втором и третьем ярусе. Слово этаж я употребляю из уважения к слову башня, которое сильно хочется употребить в видах самоуважения.

Сам дом, на котором мы двухъярусно держимся, состоит из нескольких комнат, в которых я никогда не был. Во дворе есть летняя кухня и еще какие-то апартаменты, в этом году занимаемые накачанными джигитами из Дагестана. Я называю это базой отдыха. Ребята приветливы.

Имя улицы – Крепостная. Здесь проходил крепостной ров старой Анапы, то есть она тут кончалась. За ним и было кладбище, ставшее старым. Здесь же были, говорят, Пиленковские винные подвалы – по имени основателя русского виноградарства в сих местах генерала Д. В. Пиленко, первого начальника Черноморского округа, деда Лизы Пиленко, в будущем Е. Кузьминой-Караваевой, матери Марии.

Теперь все это вписано в город, это самый центр города. Станным образом я всегда жил в центре города – что во Владивостоке, что в Москве, что в Анапе. У меня теперь три этих города, в Анапе за десять летних лет накопилось не менее двух лет календарных, стаж какой-никакой. С местными здороваюсь, старые знакомые. Один здешний алкаш, залив глаза, так сказал, когда я прошел мимо, не уверенный в том, что он меня видит:

– Что не здороваешься, столько лет вместе.

Мистер Анапа. Где он?

Цитата из бесплатной газеты «Твой успех», по субботам лежащей на подоконнике магазина «Магнит», входящего в сеть «гиперсемейных супермаркетов»: «В этом году Краснодарский край собирается принять 17 миллионов отдыхающих. В Сочи планируют посещение 5,5 миллионов туристов, в Анапе – 4 миллионов».

Тут теперь все пахнет миллионами, в том числе денег, отпущенных на Олимпиаду. Миллионы были и раньше. Берег завален человеческими телами, ступить негде.

Высоченный, под два метра, атлет, широк в плечах и груди, тонок в талии, птицилий, нос с горбинкой, чистый грек, он высился над миллионами. Форма одежды – трусы спортивного типа. Гол и бос с утра до вечера. На утренней заре он уже шел с пляжа, с мокрой головой, поигрывая мускулами, в сопровождении беспородного кабысдоха, тоже мокрого. Вечерами, набросив на шею золотую цепочку, торчал на набережной, облепленный nereидами в газовых саронгах. Он был везде. Куда ни пойдешь – он. Он стал для нас Мистером Анапа.

Как-то он гонял в футбол с пацанами на зеленой опушке нашего бульвара под ликующий лай своего кабысдоха. Как-то я увидел его на Арбате, около ресторана «Прага», в огромном, докрасна желтом кожаном пальто. Он озирался по сторонам: куда пойти?

Мы почти здоровались в Анапе. Он был везде и всюду. И вот – его нет. Где он? Спросить не у кого. У него нет имени¹.

Обытовление Библии, рождественской темы в частности, – у Элиота, у Пастернака, у Бродского. Реализация (ореализация) сакрального.

Не исключено, что Пастернак знал «Паломничество волхвов» Элиота (1927). Речь о «Рождественской звезде» прежде всего. Там и там дышит ужас вселенской катастрофы, холод смерти. Бродский в рождественских стихах отталкивался, уходил от Пастернака, учитывая Элиота. Элиот не входил в переводческий круг Пастернака. Но Стокгольм-48 не прошел мимо внимания ни Пастернака, ни Ахматовой. Сэр Исайя Берлин не мог не коснуться в разговоре с ААА таких фигур, как Элиот и Паунд. Ахматовские записные книжки пестрят именем Элиота, она не раз цитирует строку «В моем начале мой конец» (In my beginning is my end), которую сделала эпиграфом ко Второй части «Поэмы без героя», благодарит Бродского за «Стихи на смерть Т. С. Элиота» и за сам факт приобщения к Элиоту (и Дж. Донну), хвалит Наймана за элиотовские переводы. Элиотовская подпитка шла к ней от молодых, но интересно, что впервые имя Элиота и та самая цитата возникли у нее – в размышлениях о Гумилеве. Кстати, она постоянно поругивала Элиота за его верлибр, считая, что именно от него пошла эта мода на слишком свободный стих.

Телеграмму из Лондона в поддержку Пастернака (1958) в числе прочих подписал Элиот. Пастернак в одном из писем О. Фрейденберг сетует, что он виноват перед Элиотом в том, что, получив от него книгу, никак не отозвался. Позже Пастернак напишет ему. Не знаю, был ли ответ.

¹ Только-только просмотрев этот текст по возвращении в Москву, вышел на Арбат. И что? Поигрывая мышцами оголенных рук, идет Мистер Анапа.

В упомянутом письме О. Фрейденберг Пастернак вопрошает: «Чего я, в последнем счете, значит, стою, если препятствие крови и происхождения осталось непреодоленным (единственное, что надо было преодолеть) и может что-то значить, хотя бы в оттенке, и какое я, действительно, притязательное ничтожество, если кончаю узкой негласной популярностью среди интеллигентов-евреев, из самых загнанных и несчастных?» Пастернак ошибается. Не «препятствие крови и происхождения» всему причиной. Он сам, весь, целиком, был чужим лебедем. Оно «препятствие» лишь элемент рокового диссонанса. Хотя надо учитывать: шел 1949. Безродных космополитов еще отлавливали вовсю.

Библейский быт – в самой Библии, в ее хлебе и вине, в европейской живописи, в «Жизни Иисуса» Ренана, в «Иуде Искарियोте» Л. Андреева. Да мало ли! Кинематограф XX века приземлил библейскую историю до уровня натурализма, сверхкровавого у того же Гибсона в его «Страстях Христовых». Искусство упирает прежде всего на страсти Иисуса. Иконописные жития святых – сплошь труд, страдания повседневности.

Марья Павловна, утепленная зеленым стеганым халатиком, сидит в белом пластмассовом кресле на солнышке. Она читает книгу.

– Что читаете?

– Псалтирь.

Марья Павловна кивает на свой дом, сидя в двух шагах от его крыльца:

– Там – мрак, а тут – свет.

Оля, хозяйка башни:

– Жил тут один, у него была одна рубашка, он стирал ее в море, сушил здесь во дворе, но пил только хороший коньяк. Люблю пьющих мужчин.

Огромный памятник Ленину в начале бульвара. Вокруг него затянувшаяся стройка чего-то вроде цветочной клумбы. Дева лет тридцати, верхом на стоящем мотоцикле, кричит в мобильник:

– Кому дала? Кто дал? Ты чо? У меня вообще ничто ни трется между ляжек!

Выслушав какой-то ответ:

– Нашла что вспомнить!

Дул ветер, сосна за окном махала длинной ветвью – как при расставании, и я внезапно понял строки Есенина, известные мне сто лет:

Цветы мне говорят прощай,

Головками кивая ниже.

Сдается, античность вообще пришла к Бродскому от Элиота, хотя, разумеется, столь любимый им XVIII век отечественной поэзии плюс Боратынский, не говоря уж о Серебряном веке, – достаточная почва для этих интересов.

И все-таки.

Камень, бронза, камень, сталь, камень, лавры, звон подков

По мостовой.

И знамена. И фанфары. И столько орлов.

Сколько? Сочти. И такая давка.

.....

Идут? Пока нет еще. Только вдали орлы. Да еще фанфары.

Вот они. Наконец. А он?

Природное бодрствование нашего Я есть восприятие.

Мы можем ждать на стульях, держа сосиски.

(«Кориолан»)

Державин так не думал и не говорил. Но смешение времен – не эксклюзив Элиота. См. Мандельштама. Напр., «За то, что я руки твои не сумел удержать...»

Да простят меня позднейшие переводчики Элиота. Повторяю, у меня тут происходит диалог больше с Сергеевым, нежели с самим Элиотом. Кроме того: именно Сергеев, а не Зенкевич и Кашкин, как ни весомо значение их трудов, наложил Элиота на сознание читателя и пишущей братии в объеме как минимум тридцати – сорока последних лет.

Странности продолжают. Здесь, в башне, обнаружился том Некрасова, составленный Старшиновым. От составителя рассказано, что их престолярная семья читала стихи русских поэтов за чистым столом после ужина: многих, и особенно много Некрасова.

Ничего подобного не было у нас дома. У нас на хромой этажерке почти не было книг. Но был патефон, была Русланова – «Меж высоких хлебов...» Мать в застолье рыдала, надрывно подпевая плакучей пластинке.

Я открыл старшиновский том сразу же на «Похоронах», то есть «Меж высоких хлебов...» Я не знал названия этой вещи, а ведь не раз читал глазами.

В том тексте, что стал песней, выкинут важный мотив: бедный стрелок был охотником, приезжавшим на охоту в те места. Некрасов явно подразумевает самого себя.

Русланова пела: «Протекал небольшой ручеек», отменяя авторскую строку «Где прошел неширокий долок», повторяемую в концовке. «Долок» не ложился в песню, но для Некрасова он крайне характерен, ср. «На диво слаженный возок».

Долок. Я пленился этим словом, а в ушах звучит «ручеек». В итоге теперь у меня есть долок, по которому протекал ручеек.

Но что же читали в той семье из Тютчева и Фета? Отчего же, при таком раннем знакомстве с тончайшими маэстро русского стиха, Тарковский для Старшинова оказался автором, мода на которого пройдет? Загадка. Но небольшая. Еще Ильич писал о двух культурах на Руси. Даже общая школа фронта не сводит людей, выросших на разных полях культуры. За мнением Старшинова стояло бесчисленное множество стихотворцев средней руки, не обязательно чересчур завистливых.

Я особенно любил Тарковского при его первом возникновении в качестве оригинального поэта (книги «Перед снегом», «Земле – земное»). Знал его наизусть. «Степная дудка», «Фонари», «Марина стирает белье...», «Юродивый в 1818 году», «Кухарка жирная у скаред...», «Елена Молоховец», «Переводчик»... да мало ли еще что. «Фонари» вытеснили блоковский фонарь.

Хорошо помню 1 июня 1980, день похорон. Цветочник из южан, у которого я брал четное число роз, удивился:

– В такой хороший день?!

В Москве буйно и везде цвела сирень. Потом мне кто-то сказал, что эта сирень – ложная, не знаю точно, что это такое, но эта московская сирень – не вполне настоящая.

В переделкинском храме и на кладбище было многолюдно. Свеча в моей руке почему-то погасла до времени. В гробу лежал величественный шамхал дагестанского Тарковского княжества. Вдову над гробом трясло, ее поддерживали. Свечу я принес домой и, поставив в стакан, дождался ее догорания.

Я проморгал 100-летие Тарковского. Не перечитал, не вернулся к нему. Но каждый раз, когда – изредка – открываю его книжки, ловлю себя на прежнем чувстве привязанности к этим стихам, к его облику, голосу и манере вести себя. Меня не смущают нынешние сообщения о странностях его натуры. Больше задевает массмедийная подача поэта в качестве приложения к звездному сыну.

Интонация Тарковского никогда не пройдет. Историческая память, диктовавшая ему стихи, – самое бесценное, что вообще есть в русской поэзии.

Интернет-кафе к моим услугам, захожу ежедневно минут на десять, в основном на предмет почты. Корреспондентов у меня мало, среди них Гр. Кружков. Мы шуток. Я, напр., наверняка исходя из тяжелых самоинвектив, сообщил ему о том, что виртуозное мастерство старого поэта нужно младому племени поэтов и читателей приблизительно так же, как разминающийся поутру на пляже мускулистый мухомор – возлегающим девушкам, от раскаленных ягодиц которых пышет таким жаром, что на лету сгорают чайки.

Ответ был таков дословно: «Илья, я сочувствую твоим страданиям. Но, в конце концов, ты же не чайка, чтобы сгорать на лету от упомянутого тобой жара. Тебя должен сжигать совершенно другой пламень, понимаешь? Я имею в виду жар вдохновения. Предоставь другим жарить яичницу на прекрасных ягодицах. А ты сосредоточься и напиши стишок».

Как раз в июне он был зван в Стокгольм, на какую-то конференцию. Информация как информация, кроме одной детали: в Стокгольм он зачем-то взял мою книжку «Ель», которая ему «очень нравится». Я задумался. «Ель» вышла в 82-м. Я кое-что накатал и потом.

Где-то в мае он позвал меня в РГГУ, на свой семинар: посеять разумное, доброе и вечное. В университетской комнатухе сидели три девушки. Одна из них была беременной, ее клонило в сон, голова ее то и дело падала на грудь. Рассеянный профессор не заметил этого, как выяснилось потом.

В своей большой книге «Ностальгия обелисков» Кружков высказывается в том смысле, что акмеисты, вышедшие из лона символизма, проделали двоякую работу: 1) заземлили воспарения предшественников («объективный коррелят» Элиота) и 2) со временем усложнили поэтический код, по сути будучи истинными символистами без котурнов. Их антисимволистский бунт длился недолго. Он цитирует Мандельштама: «несогласный на хоровод покидает круг, закрыв лицо руками». Поэт выстраивает башню, иногда из брошенных в него камней (Ахматова). Кружков проводит аналогии с поэзией Запада, прежде всего со своим любимцем Йейтсом. Напоминает о «Стихах на смерть Т. С. Элиота», о том, что там предугадано: смерть в январе, которая настигла Йейтса, Элиота и Бродского, намертво связав их тройной рифмой.

Все это очень зорко и умно, но у меня остается ощущение, что Кружкова несколько смущает факт усложнения поэтического шифра, – или я ошибаюсь? Но что было, то было, и от этого не уйти.

Что касается американцев, мне жаль, что в русском читательском сознании Лонгфелло ограничивается «Песнью о Гайавате»: Кружков в свое время великолепно перевел поэму «Эванджелина», достаточно крупную. Гекзаметр.

Читателя стихов нынче чуть не сдуло. Кто он, неясно. Похоже, он сам поэт. Иные авторы пишут самокомментарии. Такова наша ситуация: провиденциальный собеседник воплощен непосредственно в авторе. И то дело, есть с кем поговорить.

Назвать бы все то, что мной здесь написано, так: «КУ-4214». Непонятно, но что-то значит и имеет некоторое объяснение.

Некрасов проделал ту же работу, что и акмеисты: опредметил абстракции, спустил поэзию с неба на землю. У него не слишком много основополагающих мыслей, составляющих пафос (по Белинскому). Страдания народа, образ матери (у Пушкина с Лермонтовым этого не было), собственное поведенческое двуличие, судьба падшей женщины, женская самоотверженность вообще, чистота детей, тлетворное дыхание городской цивилизации, мощь и красота русской природы, одаренность народа, певучесть его песен.

Сугубо стиховых идей было больше, но «Мастерство Некрасова» Чуковского уже написано, и повторяться нет смысла. Сейчас меня опять поразила его метрическая изобретательность и виртуозность рифмовки.

Эстетизм Серебряного века впитал некрасовские достижения вполне осознанно. Некрасовская Муза была чем-то вроде кормилицы, о которой не обязательно рассказывать, но которую помнят все ее выкормыши. Тем не менее Андрей Белый, посвятив «Пепел» памяти Некрасова, совершил дерзость. Привел в салон дебелую девку с улицы, попросив обнажить грудь. Многим понравилось.

«Вчерашний день, часу в шестом, зашел я на Сенную». А ведь на Сенной били кнутом – гулящих. Некрасовская Муза – проститутка? Выходит так. Ни в средней, ни в высшей школе нам об этом не рассказывали.

Его тоска по Лермонтову неуголима. В молодости – «Колыбельная», в зрелости – «Элегия», то и другое – «Подражание Лермонтову». Да, не Пушкин даже, а Лермонтов был тем идеалом высокого поэта, которого он не достиг, и всю жизнь мучился по этому поводу.

О нем можно сказать то, что Солженицын сказал о Ельцине: «Слишком русский». Переизбыток исповедальности, слезы в три ручья, много-много слов. Любовной поэт, слишком прямой, слишком пафосный. Но другого Некрасова у нас нет. Однофамильцы вытянули из настоящего Некрасова лишь одну обиду: меня не поняли.

Все меняется. Поздний Бродский в разговоре с С. Волковым: «Фрост более глубокий поэт, чем Элиот. От Элиота можно в конце концов отмахнуться. Когда Элиот говорит, что “ты увидишь ужас в пригоршне праха”, это звучит в достаточной степени комфортно. В то время как Фрост берedit читателя. Внешне Фрост прост, он обходится без ухищрений. Он не впикивает в свои стихи обязательный набор второкурсника: не ссылается на йогу, не дает отсылки к ан-

тичной мифологии. У него нет этих цитат и перецитат из Данте. Элиот внешне затемнен, поэтому он избавляет читателя от необходимости думать».

Это усталость от самого себя прежнего: античная мифология, цитаты-перецитаты из всего на свете и проч. Но и объективно, по-видимому, это так. Сейчас Элиот позволяет некоторое облегчение внимания к его вещам, поскольку многое стало расхожим и никак не ошеломляет, как это было раньше. Сергеев, которого иные собратья-переводчики уличают в засушивании переводимых оригиналов, в случае Элиота действительно, может быть, более академичен, нежели этого требует живая поэзия. Но колоссальное мастерство имеет место, и от этого не отмахнуться. По мне, живой всего дышат Элиотовы баллады, зарифмованные, исполненные нерва в пределах традиции.

Гиппопотам широкозадый
На брюхе возлежит в болоте
Тяжелой каменной громадой,
Хотя он состоит из плоти.

Живая плоть слаба и бренна,
И нервы портят много крови;
А Церковь Божия – нетленна:
Скала лежит в ее основе.

(«Гиппопотам»)

Море очеловечено: немерено человеческой плоти на береговой кромке. Шибает потом, перебивая запах моря. Я опять остановился у стенда старой гречанки. Попытался дознаться: почему же летом отсюда улетаю лебеди? Она опять вспылила:

– Да какой дурак тут останется? Столько людей! Отсюда даже чайки улетаю!
Разговор окончен.

2008

БЕДНЫЕ ЛЮДИ!¹

– А она... ну, вот и они-то... девушка и старичок, – шептала она, продолжая как-то усиленнее пощипывать меня за рукав, – что ж, они будут жить вместе? И не будут бедные?

– Нет, Нелли, она уедет далеко; выйдет замуж за помещика, а он один останется, – отвечал я с крайним сожалением, действительно сожалея, что не могу ей сказать чего-нибудь утешительнее.

«Униженные и оскорбленные»

– «Бедные люди»? Слезоточивый задор этой старомодной, невинной вещицы бесхитростен, как ее название. Бедная Лиза, укутанная в гоголевскую шинель. Дескать, и чиновники любить умеют. И под крышами Петербурга живут мучительные сны. И на черных лестницах от судеб нет защиты. И до чего же скаредно платят в России за труд, и как безутешно плачет неудачник... Жалобный дуэт флейты и тромбона в замызганном дворе в двух кварталах от Фонтанки. Торопливые переговоры надломленной швейной иглы с пером канцелярским, гусиным, истертым.

Она ему:

– Я вам о многом хотела бы написать, да некогда, к сроку работа. Нужно спешить.

А в ответ:

– Спешу вас уведомить, друг мой, что Ратазьев нашел мне работу у одного сочинителя. Приезжал какой-то к нему, привез к нему такую толстую рукопись – слава Богу, много работы. Только уж так неразборчиво писано, что не знаю, как и за дело приняться; требуют поскорее...

Человеколюбивое, одним словом, сочинение. Маленько скучноватое в своей честной бедности. Два голоса жужжат из такой уж густой паутины, что трогательнейший в мире слог не спасет; без надежды, без тайны – что за роман?

Одна дама в 1846 году, весной, так и сказала профессору Никитенко – в ее гостиной он увидел на столике «Петербургский сборник», разрезанный как раз на середине «Бедных людей»:

– Плачу, а дочитать не могу!

«Содержание «Бедных людей» так просто, так просто, – разводил руками Аполлон Григорьев, начинающий рецензент, но будущая знаменитость, – что только с слишком большими силами можно было отважиться на трудный подвиг развить из этого бедного содержания целую внутреннюю драму...»

Простое содержание, бедное. Простая повесть о бедных людях. Бедный сюжет о простых существах и чувствах. Таков был общий глас. И самый сильный критик только и сумел, что обратиться вздох упрека в восклицание восхищения:

«Посмотрите, как проста завязка в «Бедных людях»: ведь и рассказать нечего!»

Это даже и слишком. Кто-нибудь, у кого достало бы досуга и терпения перечитать роман, рискнул бы, пожалуй, на возражение. Можно ли назвать простой завязкой странный, отчаянный, фантастический поступок? Убогий копиист, из тех, что исхитряются в Петербурге существовать на 400 рублей в год жалованья, из тех самых, кому новая шинель (неправду, что ли, написал Гоголь?) заменила бы личное счастье и смысл жизни, некто из тьмы Башмачкиных, облезлая канцелярская крыса, – похищает и берет на содержание – точно офицер какой-нибудь гвардейский, точно ротмистр Минский из повести Пушкина «Станционный смотритель» – барышню семнадцати лет; лжет ей о каких-то своих капиталах в ломбарде; осыпает подарками, проматывая на конфеты и цветы выпрошенное вперед жалованье чуть ли не будущего года; в театр водит! – на наших то есть глазах улетает в пропасть, не отпуская Варенькиной руки, да еще изо всех сил улыбаясь, – и эта завязка, по-вашему, чересчур проста?

¹ Из книги «Такой способ понимать» – см. «Зарубежные записки» № 14 (2/2008).

С какой тревогой девочка пытается угадать: что происходит? Этот смешной человек, будто бы родственник – седьмая вода на киселе, но в сущности третий встречный, – какое будущее он для нее придумал? Не отпустил в гувернантки – отговорил наотрез от единственного, чудом блеснувшего шанса (неверного, правда) прожить без него. Стало быть, уверен, что не даст ей погибнуть – ведь не играет же он ею, ведь это было бы злодейство, а он такой добрый...

Из этого-то сюжета выводите вы, г-н Первый Критик, пресноватую, действительно немудрящую – хоть и гуманную – мораль:

«Честь и слава молодому поэту, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах и говорит о них обитателям раззолоченных палат: «Ведь это тоже люди, ваши братья!»?»

Значит, так тому и быть. Вам виднее. С остальных и спрашивать нечего.

Первый роман Достоевского прочитан Россией в слезах и впопыхах, как история слишком душещипательная, чтобы можно было в ней заподозрить непрозрачную глубину. Все так просто, так бедно. Новые похождения Башмачкина. Вторая заварка, так сказать, – а рецепт полезный.

Но перечитывать, когда слезы просохли, – с какой же стати?

«В провинции его терпеть не могут, в столице отзываются враждебно даже о "Бедных людях". Я трепещу при мысли перечитать их, так легко читаются они! Надулись же мы, друг мой, с Достоевским – гением!.. Я, первый критик, разыграл тут осла в квадрате!..»

Для всех – поначалу даже для Вареньки, не говоря уже о начальнике департамента, – Макар Девушкин – второй Башмачкин. И должность, и наружность, и манеры – все точь-в-точь. Он и сам, прочитав «Шинель», вынужден признать, что сходство полное.

И впервые в жизни запивает горькую.

Тут, правда, и обстоятельства подошли скверные, но что повесть Гоголя оскорбила Девушкина и огорчила донельзя – никакого сомнения. Конечно, можно и так объяснить, что истина показала ему невкусна (как в кабинете Его Превосходительства: «Я взглянул направо в зеркало, так просто было отчего с ума сойти от того, что я там увидел»). Однако чем же Самсон Вырин, скажем, презентабельней, станционный-то смотритель (огражденный своим чином только от побоев, и то не всегда, замечает Пушкин), – а в нем Девушкин чуть не с ликованием признает родного брата:

«...а это читаешь, – словно сам написал, точно это, примерно говоря, мое собственное сердце, какое уж оно там ни есть, взял его, людям выворотил изнанкой, да и описал все подобно – вот как!»

Не от зеркала самолюбию больно; а от взгляда чужого свысока. Вся жизнь Макара Алексеевича проходит под этим взглядом – так смотрят на него все и каждый, то есть он и ждет от всех и от каждого, что на него так посмотрят, – хотя ни за кем не признает ни малейшего права на этот мимолетный луч пренебрежения. Гордость и мнительность, да. Но мнительность небезосновательная: человеку смеются в глаза: «Хотел было себя пообчистить от грязи, да Снегирев, сторож, сказал, что нельзя, что щетку испортишь, а щетка, говорит, барин, казенная», – как же ему не опасаться ухмылки невидимой, насмешки заочной, даже от незнакомых – от господина Быкова, например? Вот Варенька пишет:

«Он долго расспрашивал Федору о нашем житье-бытье; все рассматривал у нас; мою работу смотрел, наконец спросил: "Какой же это чиновник, который с вами знаком?" На ту пору вы через двор проходили; Федора ему указала на вас; он взглянул и усмехнулся...» (Читал, наверное, повесть Гоголя «Шинель» господин Быков.)

Из-за таких-то усмешек и чувствует Макар Девушкин, что он вроде как букашка под огромной лупой и за каждым его поползновением внимательно наблюдает чей-то холодный, неоглающийся, злорадный зрачок, – и повесть «Шинель» вдруг подтвердила нестерпимую догадку!

«Как! Так после этого и жить себе смирно нельзя, в уголочке своем, – каков уж он там ни есть – жить водой не замутя, по пословице, никого не трогая, зная страх Божий, да себя самого, чтобы и тебя не затронули, чтобы и в твою конуру не пробрались, да не подсмотрели, – что, дескать, как ты себе там по-домашнему, что вот есть ли, например, у тебя жилетка хорошая, водится ли у тебя что следует из нижнего платья; есть ли сапоги, да и чем подбиты они; что ешь, что пьешь, что переписываешь?..»

Как человек простодушный, Девушкин даже и не сомневается, что Башмачкин списан прямо с него. Как человек самолюбивый, взбешен, что столь тщательно им охраняемые унижительные тайны личного бюджета и гардероба рассказаны во всеуслышание – допустим, что с сочувствием,

— какая разница для человека, ни за что на свете не согласного быть смешным! — ему ли не знать, как эти подробности забавны, особенно вчуже.

Но и это еще далеко не вся обида. Главное — что гордость уязвлена. Чем обстоятельней внешнее сходство, тем очевидней для Макара Алексеевича, что его оболгали, опошлили, подменили двойником! Посторонние этого не увидят — где там! — если даже Варенька сбита с толку... Посторонние скажут о Макаре Алексеевиче словами критика, профессора и цензора Никитенко: «Этот маленький чиновник, этот бедняк, которому общество не может уделить более благ, как сколько следует существу переписывающему» (высокомерно-низкие слова! Профессор и цензор, несомненно, полагал, что сам-то сто́ит куда дороже). Это о нем — о Девушкине! Как будто это он — двойник Башмачкина! Посторонним-то все равно. Чего доброго, так и подумают.

Тоже переписывающее существо, тоже человек... Девушкин не умеет выразить, чем привело его в гнев и отчаяние такое явственное, но такое мнимое тождество. И неизвестно, поняла ли хоть впоследствии Варенька Доброселова, насколько был он прав, — если прав.

Кому и понять, как не ей: не повстречай ее Макар Алексеевич (в Спасской церкви, я думаю, что на Волковом кладбище, — где же еще?) — никогда и ни за что не узнал бы, что он — не Башмачкин. Так Башмачкиным и помер бы.

Они ведь и точно похожи, как близнецы. Только Акакий Акакиевич — счастливый человек, а Макар Алексеевич — несчастный.

Ну, и еще имеется несколько различий, столь же незначительных. Например: Башмачкин никого не любит, а Девушкин...

До революции (Великой Октябрьской социалистической) принято было считать, что «Бедные люди» — история отнюдь не о любви. Из рецензентов по крайней мере половина изловчилась вообще обойтись без этого слова, другая — окружила его самыми осторожными определениями.

«Два лица в высокой степени интересные, — говорит высокодаровитый Аполлон Григорьев о герое и героине романа, — просветленные... пожалуй, одно своим человеческим чувством любви и сострадания, другое своим страданием, своей христианской покорностью...»

Бесталанный Никитенко прибегает к точно таким же оборотам, только в другом порядке — и страшно запутывается, — но все-таки тоже доводит до сведения читателей, что ни Макар Алексеич, ни тем паче Варенька ни о каких непозволительных отношениях и не помышляют:

«В характере чиновника выражена та истинно христианская любовь простой души, которая несет крест свой, как долг; для него жить и страдать значит одно и то же; он и не подозревает, что в глубине его души таятся те же силы, которые могли бы его повести по пути борьбы, могли бы, может быть, увенчать его венцом победы, но, вместе с сознанием этих сил, могли бы показать ему и тщету его любви, потому что не любят уже того, чего принуждены опасаться и что бесплодно стоило нам самой теплой и свежей крови сердца».

(Видимо, последнюю фиоритуру надо понимать так, что г-н Быков не мог не внушить обесчещенной им девочке отвращения к мужчинам. Допустим. Но как из этого следует, что чувство Макара Алексеевича тщетно — истинно христианская-то любовь? Просто Бог знает что!)

Только два критика — Первый и Второй, Белинский и Валериан Майков — решились признать, что герой в героиню все-таки влюблен, — впрочем, не совсем по-настоящему и, разумеется, совершенно безответно.

«Автор не говорит нам, любовь ли заставила этого чиновника почувствовать сострадание, или сострадание родило в нем любовь к этой девушке; только мы видим, что его чувство к ней не просто отеческое и стариковское, не просто чувство одинокого старика, которому нужно кого-нибудь любить, чтоб не возненавидеть жизни и не замереть от ее холода, и которому всего естественнее полюбить существо, обязанное ему, одолженное им, — существо, к которому он привык и которое привыкло к нему. Нет, в чувстве Макара Алексеевича к его «маточке, ангельчику и херувимчику Вареньке» есть что-то похожее на чувство любовника, — на чувство, которое он силится не признавать в себе, но которое у него против воли прорывается наружу и которое он не стал бы скрывать, если б заметил, что она смотрит на него не как на вовсе неуместное. Но бедняк видит, что этого нет, и с героическим самоотвержением остается при роли родственника-покровителя».

Остается-то он остается, Виссарион Григорьевич, — да ведь роль фальшивая. Вас умиляют «эти отношения, это чувство, эта старческая страсть, в которой так чудно слились и доброта сердечная, и любовь, и привычка», — но ведь очень скоро Вареньке предстоит выбирать: на па-

нель или в канал – потому что не прожить рукоделием в Петербурге, и в услужение не возьмут – понятно почему, – а какая погоня за несчастной девушкой, какая свора бежит по следу! – и вся-то была надежда на всегдашнего и верного друга Макара Девушкина, на вечного, неизменного друга, на истинного друга, на сердечного доброжелателя – так он подписывается, – и разве он не подал ей надежду?

Попреки в сторону: обман открылся и прощен – как безрассудство без памяти влюбленного прощен, а также потому, что без этого обмана решать: на панель или в канал – пришлось бы еще в апреле. Но теперь, в половине сентября, – неужто нет иного выбора? Неужто ничем, совершенно ничем не в силах помочь достойный друг, душевно преданный? И ни вина не терзает его, ни предчувствие? Доволен собой, как Первый Критик им доволен... уж не сделался ли снова Башмачкиным?

«Хорошо жить на свете, Варенька! Особенно в Петербурге. Я со слезами на глазах вчера калялся перед Господом Богом, чтобы простил мне Господь все грехи мои в это грустное время: ропот, либеральные мысли, дебош и азарт. Об вас вспоминал с умилением в молитве... Ваши записочки все перецеловал сегодня, голубчик мой! Говорят, есть где-то здесь недалеко платье продажное. Так вот я немножко наведаюсь. Прощайте же, ангельчик, прощайте!»

Варенька в ответ извещает о появлении г-на Быкова и передает разговор с ним Федоры:

«...что когда гроша нет, так, разумеется, человек несчастлив. Федора сказала ему, что я бы сумела прожить работою, могла бы выйти замуж, а не то так сыскать место какое-нибудь, а что теперь счастье мое навсегда потеряно, что я к тому же больна и скоро умру...»

Макар Алексеевич – как и всякий раз, когда ему послышится тягостный вопрос, под конец этого письма действительно произнесенный: *«Что со мною будет! Что еще мне готовит судьба?»* – выдерживает паузу, а затем, ни слова не отвечая, впадает в повествовательный тон; очень недурным, выработанным уже слогом описывает скоропостижную смерть соседа по квартире, пожилого женатого чиновника Горшкова, заключая свой рассказ хоть и тривиальной, а все же несколько неожиданной сентенцией:

«Грустно подумать, что этак в самом деле ни дня, ни часа не ведаешь... Погибаешь этак ни за что...»

А еще через пять дней, читая в Варенькином письме, что она согласилась выйти замуж за Быкова, что все решено навсегда, – возможно ли, чтобы он и в эту минуту, и в этом письме не расслышал ни упрека, ни безнадежной мольбы?

«Если кто может избавить меня от моего позора, возвратить мне честное имя, отвратить от меня бедность, лишения и несчастья в будущем, так это единственно он. Чего же мне ожидать от грядущего, чего еще спрашивать у судьбы?»

«Конечно, я и теперь не в рай иду, но что же мне делать, друг мой, что делать? Из чего выбирать мне?»

И под конец:

«Я уверена, вы поймете всю тоску мою. Не отвлекайте меня от моего намерения. Усилия ваши будут тщетны. Взвесьте в своем собственном сердце все, что принудило меня так поступить».

Возможно ли, чтобы влюбленный человек, получив такое письмо, не знал, что ему делать? Достоевский сам, как видно, еле сдерживает негодование – и обходится с Девушкиным сурово: заставляет высказаться до дна. И сквозь жалкий, слащавый, растерянный лепет проступает совершенно отчетливо одна-единственная мысль:

«Только вот как же мы будем теперь письма-то друг к другу писать? Я-то, я-то как же один останусь?»

Проговорился – спохватился – бормочет поспешно:

«Я, ангельчик мой, все взвешиваю, все взвешиваю, как вы писали-то мне там, в сердце-то моем все это взвешиваю, причины-то эти...»

Но автор не дает увильнуть, и нельзя не повториться:

«Ведь вот вы боитесь чужого человека, а едете. А я-то на кого здесь один останусь?»

Что ж. Он ничего не присочинял, уверяя, будто ею только и живет. Он, Девушкин Макар Алексеевич, и сейчас на любую жертву ради нее готов. Сколько раз уклонялся – или даже отчитывал, – когда Варенька звала его к себе, а сегодня сам, не ожидая просьбы:

«Я к вам, Варенька вы моя, как смеркнется, так и забегу на часок. Нынче ведь рано смеркается, так я и забегу. Я, маточка, к вам непременно на часочек приду сегодня. Вот вы теперь ждете Быкова, а как он уйдет, так тогда... Вот подождите, маточка, я забегу...»

Так, бессмысленными завитушками, скрепляет Макар Алексеевич приговор своей Вареньке и себе.

Надо отдать справедливость Белинскому: он единственный позволил себе вслух задуматься – отчего бы Девушкину не взять Вареньку замуж? Ответ оказывается такой:

«...По тесноте и узкости его понятий он мог бы навязать себя Вареньке в мужа уже по тому естественному и весьма справедливому убеждению, что никто, как он, не может так любить ее и всего себя принести ей на жертву; но от нее он не потребовал жертвы: он любил ее не для себя, а для ней самой, и жертвовать для ней всем – было для него счастьем».

Натяжка очевидна. Так можно рассуждать, лишь зная наверное, что г-н Быков явится в надлежащее время. Но Макару-то Алексеевичу откуда это известно? Он ведь этого романа не читал...

Кстати: мы согласились, что завязка проста, – но отчего же развязка так печальна? Все ведь оканчивается на удивление благополучно, во всяком случае, благопристойно. Варенька выходит за того самого, кто погубил ее честь, а от чехотки разве не лучше умереть помещицей, чем проституткой? Девушкин переедет в комнатку посветлей – разве не довольно ему связи писем да томика повестей Белкина, чтобы не спиться с кругом? Что же оба так стенают и отчаиваются, надрывая читателю сердце? Можно подумать, что и он, и она всерьез предпочли бы погибнуть вдвоем – под забором, например, замерзнуть, обнявшись. Ведь это же не так, правда?

Мы видим: вздумай Девушкин сделать Вареньке предложение – даже Белинский не одобрил бы. Все сочли бы такую затею нелепой, безвкусной и неприличной – словом, смешной.

Прежде всего – эстетическое чувство страдало: чижик – и крыса! Да к тому же крыса-то, что ни толкуйте, влюблена!

«Само собой разумеется, – полагает Валериан Майков, – что любовь Макара Алексеевича не могла не возбуждать в Варваре Алексеевне отвращение, которое она постоянно и упорно скрывала, может быть, и от самой себя».

И прибавляет, как искушенный сердцеведец (ему, кажется, года двадцать три, но ведь настоящие критики не живут долго):

«А едва ли есть на свете что-нибудь тягостнее необходимости удерживать свое нерасположение к человеку, которому мы чем-нибудь обязаны и который (сохрани Боже!) еще нас любит!»

Вы недоумеваете? Да просто-напросто он стар, этот Макар Алексеевич. Непорочно, позорно стар, а туда же – про поцелуй какой-то вспоминает. Хорошо хоть самому совестно: «на старости лет с клочком волос в амуры да в экивоки».

Сам же говорит:

«...Было мне всего семнадцать годочков, когда я на службу явился, и вот уже скоро тридцать лет стукнет служебному моему поприщу...»

Это значит, что юбилей предыдущий – двадцатипятилетний – промелькнул не вчера, и Девушкину давно уже не сорок два – правда, и не более сорока шести. Допустим, что и поменее: «вот уже скоро» – это все-таки не завтра; в ближайшем будущем улучшения своих обстоятельств Макар Алексеевич явно не ожидает, а ведь награждение чином за выслугу лет или хотя бы прибавка к жалованью в тридцатилетие карьеры – не такая уж несбыточная мечта; видно, рано загадывать. Но как ни считай, все выходит, что Девушкину лет этак сорок пять или около того. Комический старик в роли героя-любownika!² Родился в конце прошлого века, А.С. Пушкину, между прочим, ровесник,³ – и вот, извольте видеть, влюблен...

² В 1839 году, вышучивая чей-то безымянный и бездарный водевиль, Белинский разбивает автора в пух вот какой выкладкой: «Интересно знать, каких лет был мужчина, которого любят две женщины – мать и дочь. Матери не могло быть меньше 35 лет, а если барон предпочел ее дочери, то и он, вероятно, был человек пожилой; в таком случае, как же полюбила его молоденькая девушка? Извольте после этого поставить на сцене такой водевиль!»

³ Время «Бедных людей» навсегда останавливается 30 сентября 1844 года; это число выставлено на письмо Достоевского, в котором сказано: «Я кончаю роман. Я уже его переписываю». 30 сентября Вареньку Доброселову венчают с г-ном Быковым. Я думаю, прощальные письма Вареньки и Макара Алексеевича – или хоть одно ее письмо – сочинены именно в этот день, вернее всего – под утро, на рассвете: Достоевский уже тогда работал по ночам.

Прав Белинский, прав Майков: что-то есть отталкивающее в старческой страсти. Бедная Варенька! (Но г-н Быков разве моложе Девушкина? – Это не обсуждается. И потом: Быков не требует ведь любви – поэтому скорее страшен, чем противен.)

Середина сороковых. Тютчев еще не знаком с Денисьевой – она еще пансионерка – и не написал стихов о блаженстве и безнадёжности. Но и еще через двадцать лет – как робко и долго, какими наивными обиняками станет допытываться автор «Бедных людей» у двадцатилетней стенографистки: что сказала бы девушка в ее возрасте, если бы пожилой – вроде него – человек присил ее руки?..

Советские люди, читая «Бедных людей», о возрасте Девушкина думали меньше всего. Сомневаться в том, что героев связывает взаимная любовь, а различает бедность, не рекомендовалось. Как вышло, что при такой любви расстаться навсегда оказалось легче, чем бедствовать вдвоем, – никого особенно не занимало.

Полагалось помнить, что Белинский будто бы сказал однажды Анненкову о «Бедных людях»: это первая попытка у нас социального романа; что Достоевский будто бы сказал однажды кому-то – какому-то иностранцу: все мы вышли из «Шинели» Гоголя; что за чтение письма Белинского к Гоголю в кружке социалистов автор «Бедных людей» был приговорен к смертной казни... А сюжет «Бедных людей» разбирали в учебниках и пособиях вкратце и слегка:

«Конец романа печален: Вареньку увозит на верную погребель грубый и жестокий помещик Быков, а Макар Алексеевич остается в безутешном горе...»

Великая вещь – слог! Было бы написано: Варенька стала госпожою Быковой и уехала с мужем в его имение, – разве министерство просвещения утвердило бы такой учебник? А ведь все правда: Быков груб, и отбыл из Петербурга вместе с Варенькой, и вообще в царской России помещики вытворяли с бедными людьми что хотели.

Так учили детей. Взрослым развязку романа – и сцепление событий, ведущих к развязке, и спор бедных душ, ею оборванный, – пересказывали витиеватей:

«Лейтмотив повести – духовная связь благородных и скромных людей в жестоких условиях современного строя. Взаимное влечение Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой подвергается испытаниям безжалостного миропорядка (Слушайте, слушайте! – С. Л.); мечтательницу-девушку, уже запроданную богатому сладострастнику, отдают теперь навсегда в его полную собственность...»⁴

Попросту говоря, в эпоху так называемого Застоя, вплоть до начала так называемой Перестройки, официальная – то есть единственная – версия объясняла развязку романа финансовым положением Девушкина. В царской России бедные чиновники не могли себе позволить – не имели ни малейшей возможности – жениться на бесприданницах, слишком трудно при самодержавии женатому человеку, если он не помещик и не генерал, – вот какой безжалостный господствовал миропорядок.

Аксиома сама по себе внушительная. Никто, кажется, не пробовал подкрепить ее математическими расчетами, а зря. Вот, например, Белинский осенью 1843 года втолковывает своей невесте:

«...Нам с Вами на стол, чай, сахар, квартиру, дрова, двоих людей, прачку и пр. никак нельзя издерживать менее 250 р. в месяц или 3000 в год: так нельзя же, чтобы столько же не оставалось у нас на платье и разные непредвиденные издержки».

Как мы знаем, и эта цифра – 6000 в год – оказалась заниженной: положившись на нее и вступив в законный брак, великий критик утопал в бедности.

А у Девушкина жалованье не то 40 рублей в месяц, не то 50. Где уж ему жениться. Какое там! С его стороны это, можно сказать, благоразумный и благородный поступок – отдать Вареньку господину Быкову.

В 1854 году в Семипалатинске Достоевский – рядовой Сибирского линейного батальона – влюбился в жену одного чиновника. Затем чиновник этот, по фамилии Исаев, уехал с семейством

⁴ Как хорош и как важен тут этот оборот с неопределенно-личным сказуемым: отдают, видите ли! Идеология только так и поддерживает свое существование: обволакивая присвоенные ею ценности непроницаемой скукой.

в Кузнецк – и там умер. Вдова «осталась на чужой стороне, одна, измученная и истерзанная долгим горем, с семилетним ребенком и без куска хлеба». Она была молода и красива, к ней сватались.

«Бедненькая! Она измучается. Ей ли с ее сердцем, с ее умом прожить всю жизнь в Кузнецке Бог знает с кем. Она в положении моей героини в "Бедных людях", которая выходит за Быкова (напророчил же я себе!)».

И точно: эта история до странности похожа на роман Достоевского.

«Пишет, что любит меня больше всего на свете, что возможность выйти замуж за другого еще одно предположение, но спрашивает: "что ей делать?" <...> Что если ее собьют с толку, что если она погубит себя, она, с чувством, с сердцем, выйдя за какого-нибудь мужика, олуха, чиновника, для куска хлеба себе и сыну <...> Но каково же продать себя, имея другую любовь в сердце. Каково же и мне?»

Автор, очутившись на месте персонажа, не пожелал разделить его участь. Правда, если бы не произвели его в прапорщики, ничего бы не вышло.

«Но теперь, тотчас же после производства, я спросил ее: хочет ли она быть моей женой, и честно, откровенно объяснил ей все мои обстоятельства. Она согласилась и отвечала мне: «Да». И потому наш брак совершится *непременно*».

«Я уверен, ты скажешь, что в 36 лет тело просит уже покоя, а тяжело навязывать себе обузу. На это я ничего отвечать не буду. Ты скажешь: "Чем я буду жить?" <...> Но знай, мой бесценный друг, что мне надо немного, очень немного, чтобы жить вдвоем с женой. <...> Она знает, что я немного могу предложить ей, но знает тоже, что мы *очень* нуждаться никогда не будем; знает, что я *честный* человек и составлю ее счастье. Мне нужно только 600 руб. в год».

Расчет, как мы знаем, безусловно ошибочный. Но зато вот какое соображение представляется неотразимым – и незначай разбивает вдребезги практичную, мещанскую, советскую трактовку сюжета «Бедных людей»:

«Ты скажешь, что, может быть, заботы мелкие изнурят меня. Но что же за подлец я буду, представь себе, что из-за того только, чтоб прожить, как в хлопочках, лениво и без забот, – отказать от счастья иметь своей женой существо, которое мне дороже всего в мире, отказать от надежды составить ее счастье и пройти мимо ее бедствий, страданий, волнений, беспомощности...»

Бывала, выходит, и в николаевской России любовь сильнее бедности – не так ли?

...Занятно было бы также узнать, каким образом согласуется с вышеозначенной аксиомой – насчет чиновников и бесприданниц – история женитьбы Мармеладова на Катерине Ивановне.

Двадцать три рубля с копейками в месяц положили ему в петербургском департаменте, и навряд ли в провинции, где встретил он ее – вдову с тремя детьми, – платили много больше. Но она была еще несравненно бедней – нищая безнадежно.

«*И тогда-то, милостивый государь, тогда я, тоже вдовец, и от первой жены четырнадцатилетнюю дочь имея, руку мою предложил, ибо не мог смотреть на такое страдание*».

Не счастья искал и осчастливить не надеялся. И вряд ли не сознавал, что не только никого не спасет, а скорее всех погубит, что при его недостатках дай Бог собственную дочь не отпустить в темноту, а участь чужой вдовы как бы даже и честней предоставить провидению (какому-нибудь г-ну Быкову), – а не смог, не выдержал: сострадание – такая мучительная, такая неотступная страсть.

А наш Макар Алексеевич отступился.

Неужто из малодушия? Но ведь несомненно, что умер бы он за Вареньку с восторгом, в любую минуту, и что умрет от тоски по ней все равно, и что сам очень хорошо это знает.

И потом, будь он малодушный, да просто рассудительный человек – романа бы не было. Авантюра, с которой все началось, обличает в Девушкине характер отчаянный до легкомыслия.

Заметьте, ведь это безумство с Варенькой – не первое в его жизни. С таким же пылом «врезался» много лет назад юный Макар в модную актрису, хотя видел ее только на сцене, и всего-то разок, и то даже не видел, а слышал с галерки.

«*Так как вы думали, маточка? На другой день, прежде чем на службу идти, завернул я к парфюмеру-французу, купил у него духов каких-то да мыла благовонного на весь капитал – уж и сам не знаю, зачем я тогда накупил всего этого? Да и не обедал дома, а все мимо ее окон ходил. Она жила на Невском, в четвертом этаже. Пришел домой, часочек какой-нибудь там отдохнул и опять на Невский пошел, чтобы только мимо ее окошек пройти. Полтора месяца я ходил таким*

образом, волочился за нею; извозчиков-лихачей нанимал поминутно и все мимо ее окон концы давал: замотался совсем, задолжал, а потом уж и разлюбил ее: наскучило!»

Анекдот смешной, и рассказан кстати – по дороге из театра, – и Варенька еще не знает о забранном вперед жалованье, – а, должно быть, припомнилось ей самое первое после переезда на новую квартиру письмо Макара Алексеевича – донельзя игривое, наивно-развязное, с невозможными стихами; шалуньей величал и пальчики целовать грозился.

Видно, не померещилось тогда ни ей, ни нам – ни ему самому, – что он просто-напросто закутил, завел интрижку, обзавелся тайным адресатом, личным ангельчиком (как сосед-мичман – очередным чижиком, не заботясь о том, что в здешнем воздухе чижики так и мрут) – и в восторге от своей изобретательности, а до чужой тоски ему и дела нет:

«Премило, не правда ли? Сижу ли за работой, ложусь ли спать, просыпаюсь ли, уж знаю, что и вы там обо мне думаете, меня помните, да и сами-то здоровы и веселы. Опустите занавеску – значит, прощайте, Макар Алексеевич, спать пора! Подымете – значит, с добрым утром, Макар Алексеевич, каково-то вы спали...»

Как же разобиделся он на нее – как разозлился на себя, – поняв, что сваял дурака: вместо куклы напрокат, вместо пташки еле одушевленной, «на утеху людям и для украшения природы созданной», поселил в окне напротив существо, способное на ответный пристальный взгляд!

Тотчас отступил, приосанившись как мог величаво, и злорадный выговор закатил: как это, дескать, угрозило вас, Варвара Алексеевна, принять невиннейшие стихи («*Зачем я не птица, не хищная птица!*») за намек на какое-то якобы чувство? Ошиблись, голубушка!

«Отечская приязнь одушевляла меня, единственно чистая отеческая приязнь, Варвара Алексеевна...»

И видется отказался иначе как в церкви: «*это будет благоразумнее и для нас обоих безвреднее*».

Казалось бы, очнулся, и переписываться больше не о чем.

Но Варенька заболела – чуть не месяц в беспамятстве, не отдавать же в больницу, и без присмотра не оставишь, а лечение дорогое, – вицмундир пришлось продать, а что Макар Алексеевич похудел – так это клевета:

«...здоровехонек и растолстел так, что самому становится совестно, сыт и доволен по горло; вот только вы бы-то выздоравливали!»

И опять в конце письма: целую все ваши пальчики, – но слышно, что это не бесцеремонность, а нежность.

Запнувшись – нарочно? – на первом шагу, роман вновь устремляется вперед, к неизбежной, непонятной развязке.

Малодушной расчетливостью героя – или героини – ее не объяснишь, не такие люди.

Не так давно высказана – и уже распространилась – мысль, что Валериан Майков-то угадал: Варенька не любит Девушкина и покидает его без сожаления, и он сам в этом виноват. Не особенно симпатичная личность: эгоист и мелкий тиран. В любви бестактен и небескорыстен: хващает благодарениями, напрашиваясь на благодарность и похвалу. Да и что это за любовь, если разобраться: «...при отношениях неравенства, при тех отношениях, когда один любит и благодетельствует, а другой благодарит и любит, нет и не может быть на самом деле никакой любви».

Для чего же пролито в этом романе столько чернил и слез? А чтобы современники Достоевского поняли:

*«...Та логика общей социальной структуры (структуры неравенства), которая, отражаясь в сознании и чувствах отдельных людей, формирует их большую амбициозную психологию, эта же логика действует и в частных отношениях людей, извращая самое святое и бескорыстное чувство – чувство любви. И оно вместо того, чтобы роднить и связывать людей, их разделяет».*⁵

В общем, получается, что, начитавшись Фурье, автор «Бедных людей» хотел запечатлеть психологические последствия эксплуатации человека человеком – в искаженных лицах Макара Алексеевича и Вареньки.

⁵ Логика социальной структуры (структуры неравенства) извращает любовь... Это вам не старая песня о безжалостном миропорядке: та все же оставляла какому-нибудь Ромео или Вертеру некий шанс.

А они, глупые, знай предаются самообману извращенного чувства. Им невдомек, что до тех пор, пока социализм, хоть и утопический, не победит хотя бы в отдельно взятой империи... – ну и так далее.

«– Ради меня, голубчик мой, не губите себя и меня не губите. Ведь я для вас одного и живу, для вас и остаюсь с вами...»

– Я вас как свет Господень любил, как дочку родную любил, я все в вас любил, маточка родная моя! и сам для вас только жил один! Я и работал, и бумаги писал, и ходил, и гулял, и наблюдения мои бумаге передавал в виде дружеских писем, все оттого, что вы, маточка, здесь напротив, поблизости жили. Вы, может быть, этого и не знали, а это все было именно так!

– Ведь я все видела, я ведь знала, как вы любили меня! Улыбкой одной моей вы счастливы были, одной строчкой письма моего...»

Совершенно как живые. Подумать только, что связь эта – литературный прием, не менее условный, чем если бы автор заставил пресловутого Акакия Башмачкина беседовать в бреду с украденной шинелью.

Судя по первым ходам, переписка приблизительно так и замышлялась. Эпиграф это подтверждает. Он взят из новеллы князя Владимира Одоевского «Живой мертвец».

Новелла – монолог человека, которому ночью приснилось, что он проснулся после смерти, приключившейся этой ночью. (Такой уж писатель – Владимир Одоевский: выдумка блестящая, многозначительная, – но исполнение чаще всего посредственное; впрочем, бездушно-отрывистые интонации этого монолога запоминаются: Достоевский использовал их – да и весь сюжет – много лет спустя, в рассказе «Бобок».) Умер, стало быть, человек, некий Василий Кузьмич. Покинул тело. И смотрит на свой труп, распростертый на постели, откуда-то со стороны (и немного сверху, надо думать: вероятно, и Тютчева эта новелла поразила; нетрудно доказать, что и сам Гоголь кой-чем из нее позаимствовался, и Некрасов, – но это к слову). Умер – и удивлен: ничего страшного, центр вселенной, называемый Василием Кузьмичом, продолжает существовать, только поменял местопребывание; быть невидимым – обидно на первых порах, но зато бесплотный Василий Кузьмич перемещается в пространстве мгновенно и беспрепятственно; к тому же теперь он, так сказать, неувядаем; и речью наделен по-прежнему – правда, слышной только ему – и читателям.

А при жизни был этот Василий Кузьмич средней руки чиновник, в меру подлый: взяточник, интриган и прочее. Само собой разумеется, что ни родственники, ни сослуживцы, ни любовницы не убиты потерей, в чем раздосадованному герою нынешний его статус вездесущего согладателя позволяет с легкостью убедиться.

Но сюжет Одоевского нацелен гораздо дальше. Бессовестные поступки, совершенные Василием Кузьмичом при жизни, своеобразные распоряжения по службе, внушенные им циничные мысли, поданные им дурные примеры – все это вдруг на его глазах невероятно быстро начинает прорастать бесчисленными ужасными последствиями: вот развращенный его наставлениями старший сын отравил младшего из-за денег; вот обобранная им племянница вовлечена в разбойничью шайку, схвачена полицией, сходит с ума в тюрьме; а главарь той шайки – бывший камердинер Василия Кузьмича, от него научившийся «разным залихватским штучкам»... Повсюду в городе, в стране, в целом мире – в каждом несчастье, в каждом злодеянии обнаруживается прикосновенность, причастность, вина Василия Кузьмича; и оказывается, что сознавать это – пытка погорше адской.

«Нет сил больше! уж где я только не таскался! кругом земного шара облетел! и где только ни прикорну к земле – везде меня поминают... Странно! Ведь, кажется, что я такое на свете был? ведь если судить с благоразумной точки зрения, я не был выскочкою, не умничал, не лез из кожи, и ровно ничего не делал, – а посмотришь, какие следы оставил по себе! и как чудно все это зацепляется одно за другое!..»

В том-то и дело. Проклятиями людей, дурной посмертной славой можно еще пренебречь. Но когда уму раскрыта взаимосвязь всех человеческих судеб и поступков, и очевидно сцепление всех причин со всеми следствиями, – от невыносимого понимания собственной вины, от оценки личной доли в сумме мирового зла некуда деться.

И ненасытное чудовище – Совесть – овладевает этой бедной, мелкой душой, непрерывно ее истязая. Теперь единственная – неисполнимая, вот ужас! – мечта бывшего Василия Кузьмича

– исчезнуть совсем, потерять сознание навеки. Но это невозможно – как невозможно исправить хоть строчку, написанную при жизни, взяты назад хоть слово, ненароком брошенное...

«Так вот жизнь, вот и смерть! Какая страшная разница! В жизни, что бы ни сделал, все еще можно поправить; перешагнул через этот порог – и все прошедшее невозможно вернуть. Как такая простая мысль в продолжение моей жизни не приходила мне в голову?» – в лютой тоске недоумевает Василий Кузьмич – и просыпается по-настоящему, живой вполне, в своей квартире, в своей кровати.

Просыпается, припоминает ужасающий сон – и раздражается негодующей тирадой по адресу автора «какой-то фантастической сказки», прочитанной накануне, на ночь. Эту-то тираду мы и читаем теперь в эпиграфе к роману «Бедные люди»:

«Ох, уж эти мне сказочники! Нет чтоб написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное! а то всю подноготную из земли вырывают! Вот уж запретил бы им писать! Ну, на что это похоже! читаешь и невольно задумываешься – а там всякая дребедень и пойдет в голову; право бы, запретить им писать, так-таки просто вовсе бы запретить...»

Спрашивается: какое касательство имеют эти слова к совершенно правдоподобной жанровой картинке в духе натуральной школы («Бедные люди», мы видели, аттестованы по этому разряду)?

А между тем в тексте романа отсчитан слепок интонации эпиграфа – именно там, где Девушкин возмущается повестью «Шинель»:

«И для чего же такое писать? И для чего оно нужно?.. Ну, добро бы он под концом-то хоть исправился, что-нибудь бы смягчил... а то что тут у него особенного, что у него тут хорошего? Так, пустой какой-то пример из вседневного, подлого быта. Да и как вы-то решились мне такую книжку прислать, родная моя. Да ведь это злонамеренная книжка, Варенька; это просто неправдоподобно, потому что и случиться не может, чтобы был такой чиновник. Да ведь после такого надо жаловаться, Варенька, формально жаловаться...»

Не позволительно ли предположить, что эта линия осталась от самого первого наброска? что роман обдумывался вначале как история о человеке, который, разглядев случайно свою сущность в магическом кристалле, ничему не поверил, ничего не понял, только впал в нелепый, бессильный гнев? Как история бунта: Башмакин восстает на Гоголя; как трагипародия, что ли.

Ведь и за Башмакиным замечены некие микроскопические безумства: ишь как загляделся на фривольную картинку в окошке магазина («Почему он усмехнулся? потому ли, что встретил вещь вовсе неизвестную, но о которой, однако же, все-таки у каждого сохраняется какое-то чувство...»); а после двух бокалов шампанского «даже побежал было вдруг, неизвестно почему, за какою-то дамою, которая, как молния, прошла мимо, и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения»...

Так вот, не воображен ли был некогда сюжет «Бедных людей» как превращенная – обращенная против героя (и автора) «Шинели» – метафора из самой этой повести:

«С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, – и подруга эта была не кто другая, как та же шинель, на толстой вате, на крепкой подкладке без износу».

Это – Гоголь о Башмакине. А вот – Девушкин о Вареньке и о себе:

«Ведь вот как же это странно, маточка, что мы теперь так с вами живем. Я к тому говорю, что я никогда моих дней не проводил в такой радости. Ну, точно домком и семейством меня благословил Господь!.. Никогда со мной не бывало такого, маточка. Я вот в свет пустился теперь. Во-первых, живу вдвойне, потому что и вы тоже живете весьма близко от меня и на утеху мне; а во-вторых, пригласил меня на чай один жилец...»

Загляните еще в «Петербургские сновидения в стихах и прозе» – там Достоевский от первого лица, как интимное воспоминание, рассказывает про какую-то Надю: как в ранней молодости, в отчаянной бедности он будто бы читал ей Шиллера, «Коварство и любовь», а потом она вышла «вдруг замуж за одно беднейшее существо в мире, человека лет сорока пяти, с шишкой на носу», а всего-то имущества и было у чиновника-жениха – «только шинель, как у Акакия Акакиевича, с воротником из кошки», – вот после замужества этой Нади, оставшись один, якобы и задумался впервые Достоевский о будущем романе...

Он затеял его, по собственному признанию (в одном письме, кажется) как тяжбу со всей литературой – и прежде всего ополчился на повесть «Шинель». Он подарил умственно отсталому

герою Гоголя живую девушку взамен суконной тряпки – для того, наверное, чтобы доказать: способность чувствовать голод, холод и страх еще не делает человеком переписывающее существо, способное копировать устройство... Казалось, ничего не стоило таким способом разоблачить Башмачкина – или того, безымянного, с шишкой на носу – как пародию на человека, но...

Но, как уже сказано, сначала Варенька слегла в простудной горячке, и Девушкину пришлось продать вицмундир; потом квартирная хозяйка потребовала уплаты долга; другие кредиторы набежали; офицер какой-то разлетелся к Вареньке с бесстыдным предложением; а там и его дядюшка с тем же пожаловал; и руку она обожгла утюгом; и счет пошел уже на последние двугривенные; и во всем этом водовороте ежедневных унижительных бедствий Девушкин хоть и запил было, – а все-таки выказал (неожиданно, быть может, для сочинителя) столько храбрости, упрямства и любви, что мотив «Шинели» (хоть бы и наизнанку) как бы сам собой сбился на горестную тему «Станционного смотрителя», причем герой исполняет попеременно две партии – ротмистра Минского (понарошку) и Самсона Вырина (всерьез).

И эпиграф из Одоевского переменяет значение. Он, во-первых, дает основную тональность, напоминая об исходной точке замысла. Во-вторых же, по-видимому, отсылает читателя к другому эпиграфу, коим снабжена сама новелла «Живой мертвец»:

«...Мне бы хотелось выразить буквами тот психологический закон, по которому ни одно слово, произнесенное человеком, ни один поступок не забываются, не пропадают в мире, но производят непременно какое-либо действие; так что ответственность соединена с каждым словом, с каждым по-видимому незначащим поступком, с каждым движением души человека...»

Упрек ли это герою и героине «Бедных людей» – за то, что расстались, – или тем, кто вынул их расстаться либо был виновником остальных бедствий, – в любом случае смысл эпиграфа движется от гоголевского: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» – к толстовскому – библейскому: «Мне отмщение, и Аз воздам».

А в глубине романа проступает – с каждой страницей все явственней – другой, потайной эпиграф и еще одним отражением освещает суть сюжета.

Самая, быть может, замечательная – в рассуждении блеска прозы – страница: Девушкин в кабинете Его Превосходительства нагибается за отлетевшей пуговицей. Кто только не восхищался обличительным гуманизмом, продуманно-мучительным темпом этой мизансцены. Никто не оценил многоплановую – **что** ваш Джойс! – глубину фразы:

«Вся репутация потеряна, весь человек пропал! А тут в обоих ушах ни с того ни с сего и Тереза и Фальдони, и пошло перезванивать. Наконец поймал пуговку...»

Похоже, что для всех и всегда этот период был и остается простым сообщением, что у бедного Макара Алексеевича от волнения и физического усилия, что называется, зашумело в голове. Но вдумаясь же – какой это странный шум!

Быт в квартире, где проживает Девушкин, по существу – коммунальный, но хозяйка держит прислугу – двоих, как это говорилось, **людей**: женщину по имени Тереза и мужчину по прозвищу Фальдони.

«Я не знаю, может быть, у него есть и другое какое имя, только он и на это откликается; все его так зовут», – рассказывал еще в начале романа Макар Алексеевич Вареньке.

Происхождение странной для угрофинна клички вполне разъясняется в комментариях к академическому изданию: должно быть, просвещенные квартиранты в свое время прочли популярный переводной (с французского) роман Н. Ж. Леонара «Тереза и Фальдони, или Письма двух любовников, живших в Лионе». Роман выдержал в России по крайней мере три издания (комментаторы указывают два), так что какой-нибудь остроумный отставной мичман, услышав, что служанку зовут Терезой... словом, понятно.

И вот эти два имени, чередуясь, позвякивают в переписке бедняков, живущих в Петербурге, – обозначая самых обыкновенных, второстепенных персонажей: то Варенька даст Терезе двадцать копеек, то Фальдони нагрубит Макару Алексеевичу.

С какой же стати воспоминание о них пробегает в мыслях Девушкина, пока он копошится у ног начальника? Неужто действительно – ни с того ни с сего?

Роман Леонара ему неизвестен. До знакомства с Варенькой наш герой прочитал – вы, конечно, помните – лишь три произведения словесности: «Ивиковы журавли», балладу Шиллера (из нее-то, несомненно, и почерпнув знание о справедливости); еще «Картину человека», умное сочинение Галича – в самом деле очень недурной учебник человековедения, – 613 параграфов:

что такое гордость, что такое мнительность и чем *страсть полая* – *любовь* отличается от *страстей одинокого быта*, или *чисто животного самолюбия* и т. д. Маловероятно, что М. А. одолел всю книгу, вплоть до какой-нибудь *семиотики телесной*, – но кто же, если не Галич, укрепил его в мысли, что для настоящего человека наивысшим благом является *досточтимость* (А. С. Пушкин, слушатель первых лекций Галича, перевел бы: *честь*; ну, а у Девушкина через каждые два слова на третье: *амбиция*)?

Читывал он и роман – тоже переводной, тоже с французского: «Мальчик, наигрывающий разные штуки колокольчиками» Дюкре-Дюмениля – и, должно быть, оттого с таким сочувственным интересом заглядывает в кареты знатных дам, проезжающих по Гороховой улице. В авантюрном этом романе бедный подкидыш, уличный музыкант, *маленький курантчик*, вызвав тайну своего происхождения и сделавшись в четвертом томе графом и богачом, на самой последней странице – «приказал высечь на фронтоне павилионом, во внутренности своего Замка, сии слова:

И теперь еще раздается в ушах приятный звук наших курантов».

Не этот ли перезвон слышен Девушкину в самую нелепую и жалкую минуту карьеры?

Но при чем Тереза и Фальдони, квартирная прислуга?

Не щегольство ли тут литературное: смотрите, мол, как тонко подмечено, что человек в крайне затруднительном положении думает о самых отдаленных, совсем ненужных предметах?

«Италиянец, именем Фальдони, прекрасный, добрый юноша, обогащенный лучшими дарами природы, любил Терезу и был любим ею. Уже приближался тот счастливый день, в который, с общего согласия родителей, надлежало им соединиться браком; но жестокий рок не хотел их счастья...»

Так повествует Карамзин в «Записках русского путешественника» будто бы о действительном происшествии, случившемся в городе Лионе «лет за двадцать перед сим».

В последний момент отец Терезы передумал – отказал жениху, по какой-то там важной причине. И тогда влюбленные решились на совместное самоубийство: встретились за городом, в каштановой роще, «приставили к сердцам своим пистолеты, обвитые алыми лентами; взглянули друг на друга – поцеловались – и сей огненный поцелуй был знаком смерти – выстрел раздался – они упали, обнимая друг друга...».

Приготовьтесь, читатель, еще к одной пространной выписке; я, в конце концов, не виноват, что старинные авторы бывали настолько красноречивы. Следующий пассаж многое объясняет, мне кажется, в «Бедных людях» – и в других созданиях русской литературы:

«Признаюсь вам, друзья мои, что сие происшествие более ужасает, нежели трогает мое сердце. Я никогда не буду проклинать слабостей человечества; но одне заставляют меня плакать, другия возмущают дух мой. Естли бы Тереза не любила, или перестала любить Фальдони; или естли бы смерть похитила у него милую подругу, ту, которая составляла все щастие, всю прелесть жизни его: тогда бы мог он возненавидеть жизнь; тогда бы собственное сердце мое изъяснило мне сей печальный феномен человечества; я вошел бы в чувства несчастного, и с приятными слезами нежного сожаления взглянул бы на небо, без роптания, в тихой меланхолии. Но Фальдони и Тереза любили друг друга: и так им надлежало почитать себя щастливыми. Они жили в одном мире, под одним небом; озарялись лучами одного солнца, одной луны – чего более? Истинная любовь может наслаждаться и без чувственных наслаждений, даже и тогда, когда предмет ея за отдаленными морями скрывается...»

И еще два периода в том же духе. Причем к словам: «чего более?» Карамзин дает в сноске примечание: «Кто хочет, рассмеется».

Этот-то отрывок – с примечанием в придачу – я и назвал бы потайным эпиграфом «Бедных людей».

Если бы Достоевский думал, что в его романе никто никого не любит – например, хоть по вышеобъявленной причине: мол, в данной негодной социальной структуре некому и некого любить, – вся эта игра имен была бы пустой, никчемной, недоброй забавой. По-моему, это не так.

Возможно – более чем возможно, – что чувство, будто мир испорчен, изгажен чьей-то невообразимо огромной, беспощадно насмешливой волей, – не оставляло его.

Но, перечитывая первый его роман, трудно отказать о мысли, что это – сочинение троих Д: Достоевского, Девушкина, Доброселовой; что в нем происходят среди прочих и такие события, которых Достоевский заранее не предвидел.

Можно ли было, скажем, предусмотреть – ведь другие романы Достоевского не были еще написаны, – что с конца июля, как раз когда раскроется обман и мнимое благополучие рухнет, – что с этого самого времени у героя и у героини переменятся голоса и чуть ли не роли, да как: Макар Алексеевич, вместо того чтобы поникнуть от вины и стыда, закуражится и закапризничает, – а в письмах Вареньки вместо отчаяния и обиды зазвенит такая жаркая тревога и жалость к старому безумцу – никакого сравнения с прежней грустной дружбой – прекрасный собою италиянец Фальдони позавидовал бы...

Так что не вовсе случайно развязка романа – возвращаемся к ней напоследок – напоминает решение лионских любовников.

Но точно ли бедность, одна только проклятая бедность всему причиной? То есть должно ли так понимать, что и Девушкин, и Варенька, в уверенности, что вдвоем не спаслись, оба одновременно отталкиваются от слишком утлого для двоих плотика, захлестываемого судьбой, – чтобы не лишиться другого ничтожной, ненужной, но единственной возможности выплыть?

Бедность и впрямь ужасна, бедность сжигает, как кислотой, какую угодно любовь, – так прочитал, например, «Бедных людей» молодой чиновник Салтыков и написал вслед повесть «Запутанное дело», в которой петербургский бедняк видит во сне, как женился на своей Наденьке, и вот уже ребенок у них умирает голодный, и она уходит из дому – продать себя богатому старику, чтобы только раздобыть денег – на гробик ребенку и ужин отцу, – впрочем, это уже Некрасов, тоже год 1847-й.

Но похоже, что и еще какой-то призрак держит Макара Алексеевича в оцепенении, заставляет разжать руки.

В девятнадцатом веке это было очевидно – оттого тогдашние критики и принимали молча развязку романа как наилучшую из возможных.

Они-то догадывались, отчего, как унижительную тайну, прячет Макар Алексеевич от соседей по дому свою с Варенькой связь.

И почему никак не отвечает на Варенькины слова, что никто, кроме г-на Быкова, не возвратит ей честное имя.

По-видимому, в сороковых годах прошедшего столетия жениться, как Мармеладов, на вдове с тремя детьми, хоть бы и нищей, все еще казалось несравненно легче, чем взять за себя, как Покровский-старший, любовницу – жертву – так или иначе, наложницу – г-на Быкова.

И дело даже не в том, что Макар Алексеевич у нас – какой-никакой, а все-таки дворянин (выйди в свое время крестик – стал бы и потомственным, совершенно настоящим, никого не хуже... «ну да уж что!»), и не забывает при случае вернуть словцо *«в своем смысле, в благородном, в дворянском-то отношении»*...

Дворянство, быть может, и вздор, а вот Шиллер не вздор, «Коварство и любовь» не вздор: «Как я посмотрю в глаза последнему ремесленнику, который, по крайней мере, получает в приданое за женой ее тело на правах единственного обладателя? Как я буду смотреть людям в глаза? В глаза герцогу? Самой герцогской наложнице, которая желает отмыть пятно на своей чести в моем позоре?»

Как это в последней советской монографии – амбициозная психология? испорчен логикой социальной структуры? – вот-вот. Почти не имеет понятия ни о Шиллере, ни о Бомарше, – а ведет себя так, словно наслышан откуда-то, что борьба за права человека началась в литературе с борьбы за право первой ночи. Невольник амбиции.

(Кстати: нечто очень похожее на «Коварство и любовь» мелькнет в сюжете «Идиота»...)

Смирись, бедный человек, то есть восстань против мнений света: будь счастлив; говоря стихами из ада – плюй на все и торжествуй, переписывающее существо! – Не желает.

Любовь и честь, или Бедные люди...

«Что, батюшка, честь, когда нечего есть; деньги, батюшка, деньги главное», – говорит литератор Ратазяев одному из двойников Девушкина – чиновнику Горшкову – и треплет его по плечу. Это тот самый Горшков, которому совсем недавно, не устояв перед униженной мольбой, Макар Алексеевич отдал свой последний гривенник. А теперь он, видите ли, оправдан в чем-то там по суду и вознагражден знатной суммой. И слова Ратазяева ему не нравятся.

«...То есть не то чтобы прямо неудовольствие высказал, – возбужденно рассказывает Девушкин Вареньке, – а только посмотрел как-то странно на Ратазяева да руку его с плеча своего снял. А прежде бы этого не было, маточка! – добавляет он. – Впрочем, различные бывают характеры...»

Почти все мы читаем «Бедных людей» не более чем дважды за жизнь, причем второй раз – как правило, поздно. В промежутке сохраняем уверенность, что смысл нам внятен: совпадает с названием. Быть может, так и есть. Но в названии недостает какого-то знака – то ли восклицательного, то ли многоточия: ведь это вздох.

Постскриптум.

Полузабыт или недочитан, а все же в глубине русского литературного сознания этот роман светится постоянно.

Вот стихотворение Пастернака «Разлука»:

С порога смотрит человек,
Не узнавая дома.
Ее отъезд был как побег,
Везде следы разгрома...

Пропускаю несколько строк.

...И вот теперь ее отъезд,
Насильственный, быть может.
Разлука их обоих съест,
Тоска с костями сглохнет...

Последние строчки:

Он бродит, и до темноты
Укладывает в ящик
Раскиданные лоскуты
И выкройки образчик.

И, наколовшись об шитье
С невынутой иглой,
Внезапно видит всю ее...

Что это, по-вашему? Лара уехала от Юрия Живаго? Ивинскую арестовали? Да, разумеется, и то, и другое. Но и вот еще что:

«Я вашу квартиру опустевшую вчера подробно осматривал. Там, как были ваши пялочки, а на них шитье, так они и остались нетронутые: в углу стоят. Я ваше шитье рассматривал. Остались еще тут лоскуточки разные. На одно письмо мое вы ниточки начали было наматывать. В століке нашел бумажки листочек, а на бумажке написано: «Милостивый государь, Макар Алексеевич, спешу» – и только. Видно, вас кто-нибудь прервал на самом интересном месте. В углу за ширмочками ваша кроватка стоит... Голубчик вы мой!!!»

Так у Достоевского: три восклицательных знака.

...И плачет втихомолку.

«...А МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ СТОИТ, ДУМУ ДУМАЕТ»

Не надо корчить из себя Господа Бога.
(Из выступления Президента РФ на конференции в Мюнхене)

Геральдическое двуглавие можно истолковывать как угодно – и, в частности, как противоположение «русского» «советскому». К началу семидесятых годов в эмиграции различие между «клеветниками России» и «теми, кто наоборот» выражалось, помимо прочего, в следующем: консервативный лагерь («патриотический», «правый», «оголтелых реакционеров» и т.д.) стоял на том, что Советский Союз не есть Россия, он – дьявольская противоположность нашей родины (это слово писалось со строчной во всех эмигрантских изданиях вне зависимости от их национальной крепости – «Родина» с большой буквы шибала в нос чем-то до того красноречивым, что все хором кричали: «Чур меня!»). В остальном все зависело от ответа на вопрос: «Откуда есть пошел СССР?» Утверждавшим, что от исконных наших кнута и дыбы, клеился ярлык «русофоба». В «черносотенцах» ходили те, кто объяснял революцию следствием духовной интервенции бездуховного Запада в лице китайцев, латышей... тут возникла заминка, благо уже вовсю задавала тон «третья эмиграция». Сам Максимов, главный редактор «правого» «Континента» выехал по израильскому приглашению, в отличие от «левого» Синявского, что не могло не уязвлять Владимира Емельяновича: отъезд по еврейской линии для русского патриота малочетен, к тому же отдавал сделкой с властью.

На страницах «Русской мысли» и «Континента» возмущались тем, что Запад по-прежнему пользуется словами «Россия», «русские», когда говорит о Советском Союзе: там уже давно осуществили задачу по созданию нового человека («советский человек» в переводе на антисоветский язык звучало презрительно: «гомо советикус»). В этом смешении «советского» и «русского» эмигрантская публицистика видела лишнее доказательство своей правоты, когда обвиняла Запад в «просоветскости», «трусости», «слепоте». Не забывали и знаменитую ленинскую веревку, которую алчные капиталисты приобретут у первого в мире пролетарского государства себе на погибель. Во избежание этого предлагалось учитывать «наш уникальный опыт». Была даже попытка ввести в обиход слово «советский» в качестве существительного: «советские вторглись в Чехословакию», «советские вторглись в Афганистан».

В противовес эмигрантским журналистам, публика, кормившаяся при университетах («наши плюралисты», по выражению Солженицына), была по преимуществу «западнической» и следовательно «антирусской», что не мешало ей, по крайней мере в глазах «патриотов», выполнять политический заказ Москвы: всячески разлагать свой любимый Запад. Помню, как Янова, видного «клеветника России», утверждавшего, что всем «лучшим» в нас мы обязаны царю Ивану и опричнине, с «веселой злостью» (по словам Агурского) разил Парамонов – в ту пору еще «солженицынец», еще не растерявший, по-видимому, свой «уникальный опыт».

Давно уже это Куликово поле поросло быльем кавычек. Тогда всеобщим кошмаром была черная рука Кремля. А еще – нога советского солдата, вероятно, такого же цвета. Или гусеница советского танка, несущегося по мирным автобанам Европы. «Уже поздно спасать Россию, пора спасать от нее», – писалось в русских газетах.

Что дни Советского Союза сочтены, что вот-вот все рухнет к чертовой матери – мало кто сознавал в семидесятых. Похвастаюсь: я принадлежал к этому малому стаду. В советскую военную мощь я не верил: зрелище сотен их танков, ржавевших на полигоне в Негеве, мало к этому располагало. Но, конечно, у меня были и другие, более серьезные причины для оптимизма, какие – это отдельный разговор.

Возвращаясь к оппозиции «русское – советское». В свои эмигрантские семидесятые-восемидесятые я не поддался искушению видеть в Советском Союзе достойного продолжателя «славных русских традиций»: дескать, всегда были такими. Хотя мне, инвалиду пятого пункта, ничего не стоило привести СССР и Россию к общему знаменателю – им бы стал антисемитизм в качестве массовой проверки на благонадежность, причем достаточно успешной (помнить о том, что в истории Советского Союза так было не всегда, я не обязан – на моем веку было именно так и иначе быть не могло). Правда, с моей стороны это был бы акт самоненавистничества (см. Теодор Лессинг «Der Jüdische Selbsthass» – «Еврейская самоненависть»). Только объектом ненависти стало бы не мое еврейство, а моя укорененность в русской культуре. Согласиться с тем, что советские свиньи рыла – они же и гоголевские, означало рубить сук, на котором сидишь. Вообще-то есть такой способ ловить экстрим – это любимое занятие тех, кого во Франции называют «гош кавьяр» («леваками, едящими икру»), они убеждены, что в последний момент их подхватят. Род банджи. Но случается, что и не подхватывают.

Мне больше импонировало приравнивание России к Атлантиде, к Китежу, к «Стережущему», затопленному своим экипажем. Это дышало культурным пассивизмом, на который сам я не имел прав по двум причинам: как еврей и как советский эмигрант. Трудно сказать, чего было больше, смирения или гордыни, в причислении России к лику погрузившихся в Лету цивилизаций: Рима, Греции – ибо «Россия и СССР, как две семядоли: никогда не срастутся, как бы плотно друг к дружке ни прилежали».

«Континент» Максимова, при всей его партийности, «Русская мысль» Шаховской, со всем ее старческим занудством, выглядели честней московско-шестидесятнической фронды «Синтаксиса». Пусть даже секретарской прозе Максимова было как до Луны – до литературного дарования Абрама Терца – Синявского. Не говоря о том, что супруга Синявского Марья Васильевна соглей перешибет дюжину Шаховских. Да еще на Струве останется.

Но кнут выпал из слабеющей руки советской власти, а на пряник, обещанный в «перестройку», не хватило мук. Обидно. И перед лицом этой обиды Синявский и Максимов сплывают ряды – что им никак не удавалось под знаменами антикоммунизма.

Вскоре их обих не станет – в последнюю минуту жизни их сплотил разгром антиельцинского Верховного Совета. Трудно сказать, каков был бы их вклад в русскую национальную идею, создаваемую «по новой». Скорей всего, никакого. Идеологи из молодых да поздних не дали бы им поучаствовать, и тогда к обиде на Ельцина прибавилась бы обида на его преемника.

Как в кадрили кавалеры меняются дамами – идеологи меняются идеями. Нынешний патриотизм больше не воздвигает стену между «советским» и «русским» и не объявляет попытку ее преодолеть происками ОГПУ-НКВД-МГБ. Все переменялось, патриоты настаивают на культурной, исторической, державной и, само собой разумеется, духовной преемственности сменявших друг друга поколений и эпох. Отрицающие это, напротив, играют на руку врагам России: их стараниями вносится раскол в общество. Все мы – Россия, все мы – дети Великия и Малыя и Белья Руси, а заодно и Красныя, и Коричневыя. Это должно быть особенное чувство, оно должно по-особому впечатлять.

И впечатляет – всего сильнее, как ни удивительно, в сталинском фильме «Весна». Там съемочные павильоны преображаются в картины российской истории, единой для всех нас великой нашей истории – начиная от Пушкина «на брегах Невы» и кончая колонной «динамовцев», проходящих с песней по улице Горького. А нанизано это на шампур мелодии Дунаевского, волшебной меняющейся, но при этом одной и той же:

Товарищ, товарищ, в труде и в бою
Храни беззаветно Отчизну свою.

«Нет, – хочется сказать нынешним мастерам культуры, – богатыри не вы. Чтобы сделать такого класса агитку, надо было родиться в той России, которая к вашей, сколько бы вы ни пыжились, никакого отношения не имеет». (Хотя до конца не срабатывает даже у Дунаевского с Александровым. Ослиные уши все равно не спрячешь, все равно в полах халата доктора Джекилла пугается мистер Хайд.)

Вот писавшееся без малого тридцать лет назад, своего рода попытка заглянуть в сегодняшний день: «...На вновь разрешенное слово “Россия” наводится свекольный марафет, лишенный подлинного патриотизма, но представляющий немалый соблазн для патриотов, – забывают, что подмена омонимом страшней всякого запрета».

Когда я это писал, то не мог себе представить, что в ловушку омонима попадет Солженицын. Не то чтобы у меня над столом висел его портрет или я состоял в клубе прочитавших «Красное колесо». Но это был автор «Гулага», человек не просто бодавший с советской властью – забодавший ее! Он был предстателем за десятки миллионов вмерзших в землю трупов. И человечество, в том числе «передовое и прогрессивное», признало это. Он громче всех заявлял об «уникальности нашего опыта» – отчасти в оправдание той кондовой советскости, которой сам же клеймен. А в результате этот вроде бы пророк с пошлейшей помпой возвращается в эту вроде бы Россию, чтобы стоять против Кремля и кричать: «Долой Никсона! Долой Буша! Долой Америку!»

Когда в сорок пятом году на дымящихся улицах Праги несчастный эмигрант, завидев офицера с золотыми, как при царе, погонами, бросается к нему, это одно – и совсем другое, когда то же самое делает писатель, рубивший антифашистский советский пафос под корень: «Да чья бы корова мычала!» Сейчас от него слова доброго не услышишь об эстонцах, покусившихся на святое – на памятник воину-освободителю. А какими хорошими у него были эстонцы в лагере, куда за компанию с Иваном Денисовичем тот же воин-освободитель их затолкал.

Апогей самодискредитации Солженицына, которого в разгар эмигрантских баталий Эткинд назвал аятоллой, – это пассаж в защиту смертной казни. Так чего уж, спрашивается, хотеть от остальных? Как говорил Ходжа Насреддин, когда мулла пердит, вся мечеть срет. Зато Солженицына чтит Обезьянья Великая Палата, именуемая Думой и, как своему, отдает ему честь офицер КГБ – тот, что поставлен строителями во главу угла для надежности постройки.

Для меня бесспорно, что Советский Союз – Антихрист России, не в том смысле, что Россия зарифмована с Мессией, но в том смысле, что, являясь антиподом Христа, Антихрист представляет из себя точную его копию. И в этом соблазн. Тем не менее до конца пятидесятых культурный слой на месте катастрофы был еще тонок и ничего не стоило разглядеть погребенную под ним страну, которую эмиграция тщила еще «унести на своих подошвах».

Первые «совки», первое добровольное предательство – это уже начиная с шестидесятых: Советский Союз с человеческим лицом, барды – «пасть порву» (якобы от избытка честности по причине заемной лагерности), пропахшая шашлыком эстрада, евтушенки всех мастей в пыльных шлемах. Тут-то и был вбит осиновый кол. Музыка – душа народа, не правда ли? Музыкальная культура черноморских здравниц пережила и фрейлахсы, преображенные в революционные марши, и разлитую гармонию Захарова. Ирония в том, что весь русский «антикавказ» гуляет в ресторане «Кавказский». Мелодика российской попсы, от которой балдеют миллионы мещан всех возрастов, сплошь состоит из «задержаний» (перетяжек через сильную долю такта), которые позволяют певцам и певицам имитировать ставший обязательным еще в советской эстраде ориентальный акцент. И в нем, в этом акценте, русский ответ на русскую же идею.

Когда Солженицын заклинал русский люд: «Братие, покаемся», – это звучало комически с учетом реальной ситуации. Другое его заклинание, «жить не по лжи», сыграло с Россией злую шутку. Став честным, люд вынул из кармана кукиш: «Чиво? Нам еще и каяться перед кем-то? Да мы...» (типа гордимся собой и своей Великой Победой).

Идея национального покаяния сменилась идеей национального примирения, что выразилось в «перетаскивании трупов» – именно так озаглавил Ростропович свою статью в максимовском «Континенте» (в связи с перезахоронением Шалапина). Недавно останки двух белых генералов с воинскими почестями были преданы земле в Донском монастыре. Почему не у кремлевской стены, по соседству с Буденным? Мириться так мириться. Мы за Россию исторически единую и неделимую. Мы и вы – одна страна, один народ, один Бог.

В той мере, в какой сие истина, в той мере, в какой, присягнув одной России, присягаешь и другой, – в такой же мере признаешь историческую идентичность «свиных рыл вместо лиц». И тогда, выходит, прав Бялик, сказавший о русской революции: «Свинья перевернулась на другой бок».

15 января 2007 г.

НЕ НА СВОБОДНУЮ ТЕМУ

Накануне парламентских выборов одно периодическое издание предложило мне «отметиться» на своих страницах. Предложение было, как говорится, с благодарностью принято: издание влиятельное, читаемое, прямо держащее спину. Тема – свободная. Разве что желательно без

имен. Поскольку я не больно-то расположен к человеку, чье имя имелось в виду, то никакого насилия над собой мне делать не пришлось. Словом, разбежался и написал статью, снабдив ее соответствующим заголовком. С тех пор сколько-то воды утекло, редакция тянула с публикацией. В конце концов написанное мною так и не было опубликовано – вряд ли по идейным соображениям. Скорее всего, я не во вкусе заказчика. Старая история: «Она не в моем вкусе». Что ж, дело деликатное, материя тонкая. По крайней мере, льщу себя надеждой, что среди читателей есть и такие, чьим вкусам я в состоянии потрафлять. Если же мне и приходится о чем-то сожалеть, то лишь об одном: у темы, которой я касаюсь, нет срока годности.

Поставленная перед собою задача, если она правильно стоит, сродни самозачатию. Ее решение неотвратимо, это как роды. По этой причине готовых задач не бывает – в отличие от решений. Причем каждый – кузнец исключительно своей задачи.

Один писатель сказал: ум – это пуля в лоб. Дескать, страсть доходить до «сути», все распатронить, расковырять, перебрать, ничего не найти, стереть в порошок и сдуть с лица земли. Я категорически возражаю – ровно как в анекдоте о собственном мнении, с которым не согласен. Пуля в лоб это как раз скудоумие с его вечным утешением, что есть нечто великое, чего умом не понять, поверяемое только верой... Нет-нет, читатель, я не о том, о чем вы подумали. Просто хочу сказать, что мне достало ума, стоя у «врат задачи», ею, этой задачей, не пренебречь: уехать из страны, которая говорит на твоём языке и врата которой охраняет страж исключительно в расчете на тебя, – помните известный кафказск, притчу «У врат закона»?

Я начал с этого, поскольку от эмигранта с тридцатипятилетним стажем ждут эмигрантской темы. Приглашал же Толстой скульптора Гинцбурга в Ясную Поляну: «Приезжайте, будут гости, покажете свою мимику». Будем считать, что я ее показал.

Сегодня говорить о homo migratus можно только в прошедшем времени: он вымер, идея изгнанничества себя исчерпала. Скажут: она еще возродится, если и дальше пойдет так. Думаю, что если только так – то нет. Одна убитая ласточка весны не испортит, когда кругом хором: «Ребята, грачи прилетели!» Это в Потсдаме идет пьеса, название которой я счел за лучшее позабыть, – подзаголовок у нее: «Вечер памяти Политковской». Ну и что, а у нас свои радости, нам это неинтересно. И если быть честным, мне это тоже неинтересно. Муза обличения черных дел – самая бездарная. В мире так много интересного, кроме политики и водки. Позвольте вот, к примеру, поинтересоваться: абстрактное «ребята» в публичной речи по отношению к какой не менее абстрактной референтной группе – что это? Кем чувствуют себя спорщики на общественные темы, когда то и дело апеллируют к каким-то «ребятам»? Пионерами? Мужиками, промышленяющими одной большой артелью? Служивыми – полковник наш рожден был хватом?

Говоря, что эмиграция умерла идейно, я готов назвать момент, когда это конкретно произошло: когда понятие «советский» применительно к русским перестало восприниматься как национальная обида. Большинство настаивало на том, что Советский Союз – не Россия и говорить про него Russians, как это делают на Западе, – недопустимо. А малочисленная партия «русофобов» им на это: «Все верно, ребята – то бишь господ. Совсем не немцу Марксу, поляку Дзержинскому и прочим шведам обязаны мы большевизмом, а себе самим, нашим исконным российским мерзостям». В тот момент, когда правое и левое полушария поменялись местами, а «национальное покаяние» в качестве лейтмотива уступило место «национальному примирению», тогда-то эмиграция идейно влетела в свое зазеркалье.

Я помню тех, кто еще изъяснялся на «пряничном» русском языке – кого отделяли десятилетия от моего совсем свежего советского прошлого. Какая тоска! Ассоциативный ряд допотопный. Окостенение, неулавливание интонаций, непонимание шуток. Хуже. Того, что не понимали, – тоже не понимали, как люди, чьим обществом тяготеются, а им это даже невдомек. По логике вещей, сегодня я – такой же. Только все вежливые, виду не подаю, вот и заблуждаешься на свой счет. Ну, скажешь себе порой – или кто-то из домашних скажет: да не лезь ты со своими рассуждениями, ты там не живешь, толком не жил, это людей только раздражает, ты не замечаешь.

Н-да. Алла Пугачева выступает в Израиле перед аудиторией в десяток тысяч голов, и все они свои, все они наши люди: «всприизник со слезами на глазах», и ее все так любят, и она так любит всех, и в умилении она восклицает: «Евреи! Давайте помиримся с арабами!»

И тишина... Мертвые с косами.

Тем не менее я привычно лезу не в свое дело. А что как взглянуть на все с другой стороны? Не как мой друг: «Ну что мы за страна такая? И все-то нам не впрок. Революция не впрок, ре-

ставрация не впрок, победа на войне не впрок, проиграли – не впрок, полезные ископаемые не впрок, свобода – не впрок, рабство – не впрок. Ох, и догадал же меня черт...»

– Русские! – восклицаю я, вдохновленный примером Аллы Пугачевой. – Давайте мыслить позитивно («think positive»), нельзя всегда жить с чувством надвигающегося конца света. Даже если это, согласно Бердяеву, следствие вашего мессианского сознания. Ну на фиг вам эта палата мордов? Говорите, больше не включаете телевизор? Вот и славно, глядишь, снова начнете склонять числительные. Все прибрал к рукам орден щитоносцев – принесший России столько горя, как, может быть, никто и ничто? Но это означает только одно: они перестали быть замкнутой структурой. Не имея иммунитета к новой среде обитания, эти инопланетяне долго не протянут. Известно, чем кончилось воинство, возвращенное из зубов дракона (см. миф об аргонавтах). Что там еще мешает нам жить – гламурные вкусы сильных мира сего? Порадуемся, что их дурновкусие узурпировало Серебряный век, спонсировавшийся купцами, а не великий русский роман и вообще всю дворянскую культуру – по примеру коммунистов. Теперь, когда «Воскресение» вот-вот уберут с глаз подальше, а клясться начнут Ахматовой, станет возможно прочтение русской литературы XIX века без того, чтобы ее предварительно отбили в школьной столовке до состояния подошвы.

Клерикальное государство, православный хомейнизм? В стране, где легче верблюда продеть в игольное ушко, чем ударить Рождественским постом по новогоднему салату оливье? РПЦ, конечно, может сделать послабление. Церковь жива кровными узами с народом-гегемоном, настолько нерасторжимыми, что – надо будет, вылушит из себя христианство. Однако очень скоро уже – если все пойдет по «плану», в котором «победа России», – церковь примется хватать светскую власть за фалды в попытке удержать ее в «наших» рамках. Не поможет. Под улюлюканье тех же «нашиков» Патриархия будет упразднена – не так, так эдак. Уже проходили. Надо лишь немного потерпеть. Поэтому не гневите Бога: лучше пусть, пока еще это возможно, дети поучат в школе Священную историю – чтобы, оказавшись в Эрмитаже перед картиной, изображающей дяденьку и тетеньку с ребеночком на осяти, не кидаться первым делом читать объяснение: а что это?

Нет, все не так страшно. Главное, постарайтесь, ребята, расслабиться и получить удовольствие.

21 декабря 2007 г.

ЧЕТЫРЕ ЭССЕ

Прогульщики

Пушкин любил одноклассников, любить товарищей по университету возможности не имел. К ученой карьере не стремился. Дразнил читающую публику презрением к образованию. Евгений Онегин у него не получил даже приличного домашнего воспитания: всей мудрости, ему внушенной, только и было, что прогулки по Летнему саду с убогим французом Monsieur L' Abbé. Но к концу этих прогулок, меж тем, Онегин «по-французски совершенно мог изъясняться и писал» и «знал довольно по латыни, чтоб эпиграфы разбирать», рассуждал о Ювенале, цитировал Вергилия, «бранил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита». Даже прослыл педантом, то есть буквоедом, ученым. Невесть где и невесть как всему выучился и «слушал Ленского с улыбкой», хоть тот и был набит геттингенской начинкой под завязку: в его арсенале был и Шиллер, и Гете, и на могиле Дмитрия Ларина он всхлипнул из Шекспира: «Poor Yorick!»

Шекспир был любимейшим образцом для Александра Сергеевича; имел только начальное образование, столь скромное, что до сих пор оспаривается авторство его сочинений, напичканных бесконечными отсылками к Древней Греции и Риму. Горацио в «Гамлете» говорит, рассуждая о Призраке: «В года расцвета Рима, в дни побед/ Пред тем, как властный Юлий пал, могилы/ Стояли без жильцов, а мертвецы/ На улицах невнятицу молили. /В огне комет кровавилась роса, на солнце пятна появлялись; месяц,/ На чьем влияньи зиждет власть Нептун...» Да кто же, кроме недоучки, поспешит, и совершенно не к месту и все смешав в одну кучу, прокричать о своем знании древней истории, об убийстве Юлия Цезаря и тут же — о влиянии луны на приливы и отливы, и прочая, и прочая.

В «Капитанской дочке» Петруша Гринев вырос на руках Савельича и ничему не выучился у пьяненького парикмахера мусье Бопре. Но, как и Онегин, был вполне образованным человеком — с жаром читал французские книги и даже (превзойдя Онегина) пристрастился сочинять стихи. Стихи, правда, были из рук вон плохие:

Ты, узнав мои напасти,
Сжался, Маша, надо мной;
Зря меня в сей лютой части,
И что я пленен тобой.

Ну, кстати, и у Шекспира Гамлет сочинял стихи отвратительные:

Не верь дневному свету,
Не верь звезде ночей,
Не верь, что счастье где-то,
Но верь любви моей.

Может быть, оба, и Пушкин и Шекспир, хотели этим сказать, что одной непосещаемости занятий в школе или университете мало, чтобы писать стихи. Надо еще быть гением...

У Иосифа Бродского в стихах, особенно ранних, когда незаконченное среднее образование то дерзко выставлялось напоказ сленгом фабричных предместий, то уходило в подполье скрытых цитат из второстепенных древностей, на защите бездипломной робости стоят шеренги Орфеев, Артемид, Эолов, Нарциссов, Бахусов, Горациев, Архимедов, Одиссеев, Телемаков...

К Пушкину относился, как однокласснику-прогульщику, товарищу по эпатажу и отказу, показухе и разорванной аорте. «Я вас любил. Любовь еще /(возможно, что просто боль) сверлит мои мозги».

А главное, шутиливо борясь с Пушкиным в школьном дворе, заступился сразу за обоих: всё читали, всё знаем лучше других: «Я вас любил так сильно, безнадежно,/как дай вам Бог другими – но не даст!/ Он, будучи на многое горазд,/ не сотворит – по Пармениду – дважды/ сей жар в крови...» Знаете, кто такой Парменид? То-то! Древнегреческий философ. Основатель элейской школы. Первым провел принципиальное различие между умопостигаемым, неизменным и вечным бытием и чувственно воспринимаемой изменчивостью и переходящей текучестью всех вещей.

Рассказывают, что Бродский искал встреч с глубокими специалистами по Греции и Риму, слушал их с тем чрезмерным почтением, что только выдает презрение выскочки к барской основательности и широте. Но робел. Но скромничал.

Есть у Пушкина еще один француз-учитель – Дубровский. Тоже самозванец на педагогическом троне. Но не убогий, не пьяненький, не парикмахер – бандит, разбойник с большой дороги, благородный грабитель и любимый киллер. Уж он-то и медведя мог заставить себя уважать: вставил ему в ухо пистолет и выстрелил. Его пример другим наука. Бродский профессорствовал в Америке, был строг, резок, категоричен. Немногие студенты оставались до конца курса, – пишет в воспоминаниях один из его доброжелателей.

Крап и Лермонтов

В «Глобусе» в партере стояли, и разрешалось справлять нужду на пол; некоторые, шатаясь, отходили к ломам и мочились на стены; пьяные, потому что пили все время представления (в Лондоне и сейчас бар во всех театрах расположен в партере, зрители перед началом делают заказ на весь спектакль, и бармен потом разносит напитки, пробираясь между ответственными репликами актеров, – он знает текст наизусть и держит свой ритм трагедии; мужской туалет – прямо в зале, женский в коридорчике поодаль), пили и ели и задирали актеров, и залезали на сцену; и артисты самовольно сокращали шекспировские тексты, чтобы длилось все не больше двух часов, – больше стоячие места не выдерживали; и нужно было Шекспиру много раз возвращаться к одной и той же вещи, чтобы она запомнилась, нагрузилась, как корабль, и пошла ко дну, и на дне – внутри памяти – осталась навсегда.

Так, платок в «Отелло» и по-христиански расшит цветами земляники – символы чистоты, супружеской верности, крови Христовой, трилистник – Святая Троица; и в то же время он полон языческих суеверий – подарен матери Отелло ворожеей-цыганкой как верное приворотное средство, и еще:

Сивилла,
Прожившая на свете двести лет,
Крутила нить в пророческом безумье.
Волшебная таинственная ткань
Окрашена могильной краской мумий.

И платок безумно дорого стоит – он главный подарок на свадьбу невесте, а свадьба тайная – то ли христианская, то ли языческая, а то и мусульманская, – кем же еще и быть мавру? – и Отелло за платок сначала душит жену, а потом, сжалившись, добывает кинжалом; у мусульман не душат приговоренных к смерти, но убивают разом – мечом.

Ты перед сном молилась, Дездемона?

У Лермонтова почти точное совпадение:

Теперь молиться время, Нина:
Ты умереть должна чрез несколько минут.

Но, взяв сюжет «Отелло» для своего «Маскарада» (на маскараде во времена Лермонтова было дозвоительно все, как в театре шекспировских времен; плоть дурачилась, выставлялась, скабрешничала), Лермонтов должен был отказаться от самой перегруженной его детали – от платка. И вместо платка он взял ничтожный браслет, который «двадцати пяти рублей, конечно, не дороже» (сумма, впрочем, не совсем ничтожная, но, разумеется, для Арбенина несущественная и для браслета – более чем скромная). И поначалу кажется, что поступил Лермонтов совершенно опрометчиво: ни один мужчина, и самый ревнивый муж в том числе, не узнает недорогой женин браслет – таких у нее десятки – в руках постороннего. А Арбенин, разочаровывая в Лермонтове, узнает.

И только потом понимаешь, как точно Лермонтов обыгрывает тебя. Да ведь Арбенин игрок, профессиональный картежник, шулер. Все смутно для него в мире, кроме зеленого сукна и рук на нем. Эти руки на столе, отрезанные от человека, взятые крупным и сверхкрупным планом, светящиеся, дрожащие, потирающие друг друга, раскрывающие и сдвигающие карточный веер, холеные, с отполированными ногтями, с крохотной заусеницей на указательном пальце, с сапфиром на среднем, о, эти руки он фотографирует, снимает на пленку, знает до дактилоскопии, знает, как собственный крап; «годы/ Употребить на упражненье рук», поэтому был им сфотографирован и случайный, невзрачный браслет Нины.

Руки – выделенные Арбениным, вырезанные, укрупненные, замещающие человека, стали в следующем столетии открытием кинематографа: метались отдельно по клавишам рояля, сжимали пистолет, катали хлеб, рвали мясо, душили; отрубленные, оживали в фильмах ужасов и мстили, мстили, мстили.

Розалина

Дело в том, что и первая любовь Ромео Розалина родня врагов – племянница Капулетти. Ромео, однако, совершенно не озабочен этим обстоятельством, он страдает лишь из-за холодности Розалины. Может быть, он еще не осведомлен о безнадежном родстве? Но вот некий слуга на улице просит его прочесть вслух список приглашенных на бал, и Ромео видит среди будущих гостей «преlestную племянницу Розалину», и слуга открывает: этот список составил его хозяин – Капулетти. Ромео не смущен и отправляется на праздник, чтобы полюбоваться на неприступную. Удивительно не то, что, увидев на балу Джульетту, он сразу поглощается другой любовью, – удивительно, что в промежутке между приходом в дом Капулетти и встречей с Джульеттой Ромео ни разу не вспоминает о цели своего прихода! И главное: он поражен, что Джульетта – дочь Капулетти так же сильно, как мало был впечатлен родственными связями в случае с Розалиной.

Шекспир путается в нелепичах не для того, чтобы придавить читателя неотвратимостью Ромео, не нуждающегося в логических обоснованиях, нет, его гораздо больше волнует мнимость, за которую приходится расплачиваться жизнью. Ромео выдумал Розалину и воспевал ее в пышных стихах, он говорил: «...мне конец /Я не жалец на свете, я мертвец», и эта его поэтическая одержимость постепенно наполнилась плотью и кровью и повела его к смерти, соединяя со стихом. Все случайное, невнятное, странное превратилось из комка глины в совершенство.

И в финале трагедии все повторяется: мнимая смерть, поэтическая причуда, масочное притворство оборачиваются смертью реальной. Джульетта готова умереть, как умирают на сцене во всеоружии великих строк: «Иду к тебе/ И за твое здоровье пью, Ромео!» – восклицает она, осушая склянку со снадобьем для симуляции гибели. Ромео, выпивая настоящий яд, дословно повторяет ее слова: «Пью за тебя, любовь!». Джульетта сцеловывает яд с его губ, а далее, как почти всегда у Шекспира, – театр в театре, смерть в смерти, жизнь в поэзии, поэзия в жизни – закалывает себя кинжалом Ромео.

Мысль о том, что за притворство, симуляцию, воображение, вдохновение следует расплачиваться жизнью, русская поэзия восприняла от Шекспира и сделала своей одержимостью.

Модный Гамлет

Удивительные местечки есть в «Гамлете»! «Мужчины не занимают меня и женщины тоже, как ни оспаривают это ваши улыбки», — говорит Гамлет в переводе Пастернака Розенкранцу и Гильденстерну, своим школьным товарищам, которые, надо думать, хорошо его знают. Розенкранц отвечает: «Принц, ничего подобного не было у нас в мыслях!» Гамлет раздражается: «Что ж вы усмехнулись, когда я сказал, что мужчины не занимают меня?»

Розенкранц ухмыльнулся в тот момент, когда Гамлет сказал, что он разохотился искать удовольствий у мужчин. В оригинале так и есть — *delight* — «наслаждение», «удовольствие». А Розенкранц, оправдываясь, произносит словечко *stuff*, которое читается, как «гадость», «дрянь». «Милорд, у меня и в мыслях не было подобной гадости!» — так дословно отвечает он Гамлету. «Но почему же вы засмеялись, когда я сказал, что мужчины не доставляют мне удовольствия?» — допытывается принц...

Русские переводчики бывали в большом затруднении, доходя до этого места. Николай Полевой, например, заменил мужчин на людей, и получилось, что Гамлета не волнуют люди вообще, а также женщины в частности. Смех Розенкранца в этом переводе означает его неверие в равнодушие Гамлета к человечеству. Лозинский воспользовался лазейкой Полевого... И только Пастернак, которого постоянно упрекают в излишней целомудренности переложения шекспировского текста, может быть, просто не заметив двусмысленности, перевел это место точно.

Дальше слишком легко объясняется и ненависть Гамлета к матери, не умеющей совладать с отвратительным вождением, и желание сослать Офелию в монастырь, и, главное, исстугленная месть Розенкранцу и Гильденстерну. Но дело совсем не в этом, а в том, что при всей неприязни к общим местам времени, мы и ими вооружаемся, читая текст, рассчитанный на все времена.

Александр МЕЛИХОВ

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ

Слесарь Энской автобазы М. был с самого начала обижен отказом учащейся средней школы С. танцевать с ним. Но когда ему еще и открылось, как С. млеет в объятиях студента У., он подошел к С. и страхнул ей в декольте пепел от сигареты. У., с этой минуты превратившийся в Потерпевшего, попытался оттолкнуть М., но М. уже приготовил финку в рукаве...

Будущий классик чистой математики П. попросил уже наполовину состоявшегося классика К. дать ему проблему для научной работы. К. предложил некую задачу из топологии косых произведений. П. в течение недели решил ее. «У вас ошибка!» – радостно вскричал К., едва только П. начал излагать ему решение. П. легко разбил возражения. «А, вот где у вас ошибка!» – обрадовался К. через минуту, и так повторялось много раз, пока К. наконец не признал задачу решенной. «Проблема оказалась не такой сложной, как я предполагал», – подвел он итог дискуссии. Оба участника этой истории крупнейшие ученые 20 века.

Гражданка Р. из поволжского города А., узнав, что дочь ее подруги вышла замуж за москвича, владеющего трехкомнатной квартирой на Тверской, оборвала двадцатилетнюю дружбу.

Шахид М., приблизившись к толпе неверных собак (имеются в виду люди), привел в действие свой пояс смертника.

Нигде не работающий Е. прохрипел: «Все бабы – суки!».

Романтический поэт Л. вздохнул о том, что в наше время любовь и верность невозможны.

Учащиеся профессионально-технического училища А., Б., В., Г., Д. долго и с наслаждением крушили телефонную будку стальной арматурой.

«Форумчанин» Ю. бешено колотил по клавиатуре, угрожая повесить за яйца оппонента, дерзнувшего утверждать, что яйца следует разбивать с острого, а не с тупого конца.

Провалившийся абитуриент Я. уверял, что теперь поступают только за бабки.

Национал-большевик Л., встречая довольных, счастливых людей, всегда испытывал невыносимое желание подложить динамиту им под стул.

Знаменитый философ Ш. сочинил убедительнейший трактат о том, что жизнь есть зло...

Что общего между ними, между гениями и дураками, между героями и злопыхателями? И те, и другие, и третьи, и четвертые мстят за поражение. Мстят за униженное самолюбие, за утраченное ощущение первенства, удачливости, принадлежности к избранному народу, за утраченную веру в женскую верность и справедливость мира – и кто-то «опускает» обидчиков (обидчиком может сделаться и целое мироустройство) только в собственном воображении, тем или иным способом обесценивая их победу, а кто-то готов истребить их и физически, хотя бы и ценой собственной жизни.

Обида побежденных, глобализация личной неудачи – вот источник всякой ненависти и всех философских и социальных теорий, оправдывающих эту ненависть. Отвергнуть мир, отвергающий то, что тебе дорого, – что может быть естественнее?

Когда эту ненависть испытываем мы сами или симпатичные нам люди, мы называем ее жадой справедливости, в людях несимпатичных мы называем ее завистью, но суть от этого не меняется – речь идет о жадности реванша. Правда, когда мы оскорблены и стремимся к компенсации не для себя лично, а для своей социальной группы, это чувство в большей степени заслуживает высокого имени Справедливость.

И тем не менее коллективный реваншизм является причиной несравненно более ужасающих бедствий, чем зависть индивидуальная. Поэтому, создав мир, где нет побежденных, мы уничтожили бы и все мировое зло. Ибо проигравшие всегда будут питать неприязнь к победителям и сочинять для самооправдания утешительные сказки насчет того, что проиграли они исключительно из-за своей честности и великодушия, а их враги победили только благодаря подлости и

бессердечию. Побежденные всегда будут восхвалять себя и клеветать на своих обидчиков, если даже в качестве обидчика выступит целая цивилизация.

Но ведь побежденных нет только там, где нет борьбы, нет соперничества. А соперничество, конкуренция могут быть изгнаны из жизни лишь вместе с самой жизнью. Большевики изгнали конкуренцию из экономики – и люди начали ненавидеть друг друга за место в очереди или в коммунальной кухне, за должности, за привилегии... И все это безо всякой пользы для человечества. Тогда как конкуренция не только источник взаимного раздражения, но также источник прогресса, могучий стимул всяческих усовершенствований!

Пушкин когда-то заметил, что зависть сестра соревнования, а стало быть, дама хорошего рода, но я бы назвал зависть не сестрой, а скорее дочерью соревнования. Ибо всякое состязание рождает двух дочерей – Радость и Зависть, радость победителей и зависть побежденных. И первой, цветущей веселой красавицей, наслаждается лишь горстка счастливых, а второй, уродливой злобной горемыкой, приходится утешаться всем остальным (надеюсь, этот образ не покажется излишне смелым, если не понимать его чересчур буквально). Поскольку абсолютно в каждом состязании подавляющее большинство участников оказываются побежденными – на пьедестале почета могут разместиться лишь немногие, иначе победа теряет всякую ценность. Каждое состязание порождает горстку призеров и толпы неудачников.

Но почему тогда неудачниками, «лузерами» себя ощущают, слава те, господи, далеко не все? Скорее, даже меньшинство. Да потому, что разновидностей состязания чрезвычайно много: проиграешь в одном – выиграешь в другом. Которое при желании и можно признать самым главным. Бегун не завидует штангисту, а штангист шахматисту, но каждый имеет полную возможность поглядывать на остальных свысока: я самый быстрый, я самый сильный, я самый умный... Каждый уверенно стоит на собственном пьедестале почета, полагая его самым высоким пьедесталом мира.

Но ведь и в социальной жизни пьедесталов почета огромное множество! Домохозяйка может тешить себя тем, что у нее самые ухоженные дети, сельский житель – что дышит самым чистым воздухом, рабочий – что может спать спокойно, не беспокоясь о происках конкурентов, – и так далее, и так далее. В принципе каждой социальной группе необходима собственная субкультура, собственный пьедестал почета, у подножия которого даже проигравшие могли бы чувствовать, что по сравнению с остальным человечеством они все-таки удачники, все равно они быстрее, сильнее, умнее всех за пределами своей избранной группы. Для этого-то субкультуры и создаются – для самовозвеличивания и самоутешения.

И рождаются они естественным порядком, без специальной организации, ибо заниматься самоутешением дело для человека более чем естественное. Он и выжил-то исключительно потому, что от начала времен скрывал от себя собственную мимолетность и бессилие всевозможными иллюзиями, начиная от самых наивных сказок и магических ритуалов и заканчивая изощреннейшими философскими системами и великими шедеврами искусства. Поэтому человеческая фантазия рождает утешительные субкультуры так же произвольно, как слизистая оболочка желудка выделяет желудочный сок – уже в самых простодушных народных сказках барин всегда оказывается идиотом, а мужик молодцом. И все, что требуется для того, чтобы утешительные образы сделались коллективными, охватили всю социальную группу, – это возможность делиться ими более или менее широкоохватно, а не только частным образом. Грубо говоря, каждой социальной группе необходимы собственные творцы утешительных грез – собственная литература, собственное кино, собственное телевидение...

Но представляет ли сегодняшняя жизнь что-либо, хоть отдаленно напоминающее эту картину? Нет, она действует ровно противоположным образом. Шкала успеха чудовищным образом упрощена, унифицирована... Прибыль сделалась почти единственным критерием успеха, критерием, обрекающим, как и любой монокритерий, подавляющее большинство людей на ощущение жизненной неудачи: если ранжировать человечество по любому монокритерию, подчеркиваю – по любому: по росту, весу, по щедрости, по красоте, по умению вычислять или играть на скрипке – все равно половина сразу же окажется ниже среднего. Вместо того чтобы максимально увеличивать число пьедесталов почета, средства массовой информации, напротив, сосредоточиваются на одном, наиболее примитивном.

Рассмотрим всю окружающую нас символическую продукцию, от телесериалов до уличной рекламы, – много ли вы найдете «месиджей», сигнализирующих обычному человеку: «Ты счастливчик, тебе выпала удача родиться именно в своем регионе, обрести именно свою профессию,

жениться именно на своей возлюбленной»? Напротив, большей частью она делает все, чтобы разрушить все локальные воодушевляющие субкультуры, создавая впечатление, что счастье можно обрести лишь на микроскопическом столичном пятачке, и тем самым наводняя страну массами неудачников. А следовательно, и завистников.

Когда я в своей «Исповеди еврея» изобразил нищий шахтерский поселок как некий Эдем, это была не только ирония: в каждом таком Эдеме был свой силач, свой мудрец, свой богач – никто не состязался со Шварценеггером, Бором или Биллом Гейтсом. Ностальгия по Советскому Союзу связана вовсе не с тоской по равенству, а скорее тоской по избранности, ибо глобализация ценностей разрушила и продолжает разрушать множество уютных субкультур – национальных, профессиональных, региональных... – внутри которых люди могли ощущать себя удачниками.

Классические империи хорошо понимали: собирай подати, но не трогай культуру, не трогай тех наследственных иллюзий, которыми люди защищаются от совершенно обоснованного чувства своей ничтожности, – а униженность в социальном мире переживается так мучительно прежде всего потому, что она открывает нам нашу ничтожность в мироздании: социум защищает от космоса. Но либеральные империи и думать об этом забыли.

А между тем надо понимать, что от мести униженных и оскорбленных укрыться невозможно: даже те из них, кто не решится или побрезгует мстить победителям материально, неизбежно станут отвергать, обесценивать отвергнувший их социальный мир. И ничто не помешает им изобразить этот мир мерзким и несправедливым; сделавшись же таковым в глазах большинства, он неизбежно окажется обреченным на упадок, а в конце концов и на гибель. Дураков чем-то жертвовать ради его защиты больше не останется.

Сегодня серьезные люди много говорят об укреплении государства, долженствующего заботиться прежде всего о тех коллективных наследственных ценностях, которые не входят в круг приоритетных интересов индивида, – территория, природа, культура, демография...

Но воображаемая картина мира, в которой большинство населения чувствовало бы себя уютно, **ничуть не менее важное общественное достояние, чем чистая вода и чистый воздух**. Причем ничуть не менее их нуждающееся в защите. Чтобы государство начало оказывать поддержку тем, кто, сам обладая психологически комфортабельной для своей социальной группы картиной мира, получил бы возможность делиться ею с другими, – это греза, конечно, совершенно несбыточная. Если бы оно хотя бы перестало поддерживать разрушителей – уже и это было бы необыкновенно мудрым государственным решением.

Чтобы либеральные империи усвоили принцип культурного невмешательства еще и в международных отношениях – об этом тоже не стоит и грезить.

Или все-таки стоит?

Елена КРАСНУХИНА

ЗАВИСТЬ СПАСЁТ МИР?

Не знаю, спасет ли зависть мир. Знаю другое – что мир во многих отношениях на ней жидется. Что все попытки исправить или улучшить мир и человека всегда сводились к стремлению изменить его основание, создать другой мир и другого человека. А что, если другого мира нет и быть не может, а жить придется в этом весьма несовершенном мире? Тогда для улучшения жизни мы должны опираться на ее реальные условия. Это и есть позиция, которую я предлагаю: реализм вместо морализма. Соглашаясь с двойственной оценкой зависти, предложенной Александром Мелиховым в статье «Глобализация ценностей», я сосредоточусь на ее менее очевидных позитивных аспектах.

Под воздействием наследия толстовства, а также проповеди А. И. Солженицына, заключающейся в призыве «жить не по лжи», в российском общественном сознании укоренилась традиция морализаторства. Кто ж будет спорить, что добродетель лучше греха? Однако тезис о социальной эффективности исключительно морального поведения обладает лишь мнимой очевидностью. Что представляет собой индустриальное общество: ограничение и пресечение эгоизма или его

масштабную реализацию? Размышления Адама Смита о природе и причинах богатства народов привели к признанию общественной пользы эгоизма и алчности. Еще ранее английский писатель французского происхождения Бернар де Мандевиль в своем памфлете под названием «Басня о пчелах» изобразил сообщество существ, наделенных всеми добродетелями и абсолютно лишенных пороков, как не имеющее стимула к развитию и совершенствованию. Тем самым он настаивал на мысли о том, что человеческие пороки и дурные страсти могут служить движущей силой экономической и культурной жизни. А в наши дни эта идея находит свое выражение, например, в рекламном ролике сока «Rich», гласящем: «Все самое прекрасное на свете появилось благодаря любви. Любви человека к самому себе».

Философский взгляд на вещи всегда отличается от воззрения общепринятого, что проявляется, далее, и в утверждении Канта о том, что морально неблагоприятные страсти выполняют в общественной жизни две важнейшие задачи. Во-первых, эгоизм, алчность, властолюбие оказываются мотивом активной деятельности людей, пробуждают в них энергию соперничества. Во-вторых, в силу того, что эти универсальные пороки захватывают весь род человеческий, а стало быть, постоянно происходит столкновение индивидуальных проявлений корысти и честолюбия, становится возможным их самоограничение. Противовес моральным порокам обнаруживается в них же самих. Честолюбие, алчность и зависть наших конкурентов по жизненной борьбе создают трудности в достижении личных целей, что приводит к напряжению усилий и максимальному развитию способностей. «Да будет благословенна природа за неуживчивость, за завистливое, соперничающее тщеславие, за ненасытную жажду обладать и господствовать! Без них все природные задатки человека остались бы навсегда неразвитыми», – писал Кант. Тем самым он настаивал на том, что жизнь невозможна как беспрепятственность. На это можно было бы возразить, что, слава богу, не все люди оказываются завистниками и эгоистами. Но предмет спора остается актуальным: что радикальнее ставит препону пороку – оттеняющая его добродетель или его же собственные противоборствующие проявления?

Если у Канта речь идет о социально конструктивной роли зависти, которая, будучи чувством неблагоприятным, порой способна защитить общество от слишком далеко простирающихся притязаний отдельных алчных честолюбцев, то современный российский менталитет склонен давать зависти однозначно отрицательную оценку. Она резко осуждается в любой отечественной дискуссии по социальным вопросам в качестве одного из худших пороков. Полагают, что зависть бедных к богатым мешает жить, причем и тем, и другим. Она мешает бизнесу, экономике развиваться. Вызывает революции и тем самым ведет к кризису и трагедии. Во всем виновата зависть бедных, а не жадность богатых – таков вердикт, такова современная мифологема.

Почему смысловые акценты именно таковы? Возможно, потому, что это форма нашего осмысления исторического опыта революции и ее трагических последствий. А возможно, что это новая идеология социальных слоев, имеющих экономические и политические преимущества и заинтересованных в том, чтобы им не завидовали и не мешали. Ведь резкое осуждение зависти исходит не от бедных, а от богатых страт и от либерально, а не социалистически настроенных идеологов.

Однако урок, который можно извлечь из философии Канта, заключается в том, что зависть – это определенная часть чувства справедливости, она может быть ее средством или инструментом. Зависть (наряду с законом и моралью) является барьером беспределу алчности. В самом деле, почему человек, принявший стратегию эгоизма, занимающийся только своим собственным благополучием и игнорирующий интересы других людей (а это очень узнаваемый тип социального агента), должен рассчитывать встретить доброжелательность, симпатию и помощь окружающих? Нет, он сталкивается с их недоброжелательностью, что как раз адекватно, симметрично, разумно и справедливо. Как свобода одного человека в цивилизованном обществе ограничивается не диктатурой, а свободой и правами другого человека, так и эгоизм одних индивидов сталкивается с аналогичными притязаниями других.

Алчность и зависть различны, но связаны как две формы эгоистического интереса. Алчность или жадность – это эгоизм, сконцентрированный на самом индивиде, а зависть – это эгоистическое чувство, направленное на другого человека. Зависть – это форма, порождение жадности. Зависть – это отношение неуспешной алчности к другой алчности, более преуспевшей. Если Александр Мелихов определяет зависть как обиду побежденных, то я хочу дополнить это определение взглядом на зависть как на жадность проигравших. Мы делим зависть на белую и черную. Белая зависть превращается в энергию собственной активности, а черная – в нанесение вреда

другому по хрестоматийному рецепту «пусть его корова сдохнет». Мы признаем социальную ценность только белой зависти. Однако социально эффективным может оказаться не только эгоизм-честолюбие, но и эгоизм-зависть. Зависть, конечно, является негативным чувством, неприятным и недоброжелательным. Однако известно, что идея социальной справедливости рождается от противного – в результате отрицательного эмоционального опыта столкновения с несправедливостью.

Что хуже – зависть или жадность? Зависть – это жадность неудачника. Мы знаем, что победителя не судят! Но неужели эгоизм неудачников осуждаем, а эгоизм богатых и власть имущих неподсуден? Достигший удовлетворения эгоист оказывается весьма достойным членом общества. Однако все не могут быть олигархами. Богатство все-таки зиждется не только на большей активности и талантливости одних людей по сравнению с другими, но и на неравенстве. Идея неблаговидности жадности постепенно превратилась в идею неблаговидности зависти. Любого субъекта социальной критики тут же подвергают сомнению: а вы не из зависти так рассуждаете? Так преуспевшая алчность оправдывает себя, обвиняя в порочности зависть, т. е. ту же алчность, но неудавшуюся.

Обратите внимание, кстати, как люди выбирают предмет своей зависти. Обычно это чужое богатство, имущество, власть, слава. В крайнем случае – счастье, удача, везение. Люди, как правило, завидуют тому, что в принципе можно заработать, заслужить, завоевать, на худой конец украсть. Что свидетельствует о практической жизненной ориентации завистников и о конструктивном моменте зависти. Хотя главная зависть, та, которую Фридрих Ницше назвал рессентиментом, должна быть направлена на то врожденное превосходство над нами других людей, которое как факт судьбы или божий дар, во-первых, ничем не заслужено его обладателями, а во-вторых, совершенно недоступно завистникам. Ведь можно присвоить чужие деньги, но нельзя украсть чужой талант. Есть достоинства неотчуждаемые, и именно они могли бы оказаться в эпицентре недоброжелательства по отношению к ближнему. Однако фигура завистника и ревнивца Сальери не является репрезентативной для выражения массового умонастроения.

Похоже, что Ницше в чем-то промахнулся, полагая человека рессентимента массовым представителем человеческого рода. Настоящая зависть к недоступным для него достоинствам и талантам других людей обнаруживает себя как способность редкая и элитарная. Большинство же представителей человеческого рода завидуют мелко и только тому, чего и сами могли бы при благоприятном стечении обстоятельств достичь. Чужие таланты, достоинства и отличия волнуют их только в том случае, если они конвертировались в известность и богатство, а не стали причиной весьма распространенного оборота дела – жизни и смерти гения в нищете.

Завидуют всегда тому, чего не имеют, и одновременно тому, что есть у других. Казалось бы, это сближает зависть и желание, ведь обычно люди хотят того, чего у них нет. Однако настоящее желание представляет собой, на мой взгляд, уникальную способность продолжать хотеть то, что уже получил, чего достиг, чем обладаешь. Это и есть способность чем-то дорожить, утверждать ценность своей жизни, а не девальвировать ее желанием чужого и завистью к окружающим. А тот, кто хочет только того, чего у него нет, обращается в завистника.

Зависть многолика и, даже будучи пороком, способна приносить не только вред, но и пользу. Мы, конечно, хотели бы построить и личную и общественную жизнь только на добрых и светлых чувствах. Но вряд ли это возможно и даже вряд ли правильно. И разве в мире нет ничего достойного нашего негодования, презрения или зависти?

ИНЫЕ ЖАНРЫ...

Сергей ЖАДАН

КРАСНЫЙ ЭЛВИС

(социалистические веяния среди домохозяек)

Как похудеть без диеты

Каждая домохозяйка, включенная в социальную борьбу, должна помнить три вещи. Во-первых, самоорганизация. Самоорганизация домохозяек предусматривает, прежде всего, преодоление социальной изоляции как таковой. Вот домохозяйка выходит из дому, она думает: ох, эта моя социальная изоляция, эта моя исключенность из борьбы, что я могу с этим сделать, я одинокая беременная домохозяйка, моя социальная изоляция доканывает меня, я просто становлюсь заложницей обстоятельств, так она думает – и делает первую ошибку. Главные враги домохозяйки – менеджеры, рекламные агенты и работники муниципалитета – караулят каждый ее шаг, они уже готовы перехватить ее, они контролируют ее социальную активность, думая: вот она, вот она, эта чертова домохозяйка с ее чертовой социальной изоляцией, что она себе думает, что она, сука, себе думает, она думает, мы за нее будем решать проблемы ее исключенности из борьбы, она думает на нас перебросить эту проблему? Она себе думает, что все менеджеры и рекламные агенты, все работники нашего, сука, муниципалитета сейчас кинутся решать ее социальные проблемы, да? Ну так она ошибается, – говорят менеджеры, – да, она глубоко ошибается, и вот почему.

И они останавливают ее и начинают говорить приблизительно вот что: мэм, говорят они, мы ознакомились с вашей проблемой, да, мэм, мы проббили все варианты, но сорри, мэм, ничего из этого не выйдет: боимся, мы не сможем решить вашу проблему, именно так, мэм.

И тогда ты, беременная домохозяйка, говоришь себе: ну, я так и знала, я знала, что так все обернется, вся проблема в моей изоляции, в моей, блядь, невовлеченности в борьбу, в этом вся проблема, да, они правы, эти безумные работники муниципалитета, они безусловно правы, ну куда мне с моей изоляцией, с моим токсикозом, куда?

Но стоп. То, о чем тебе говорят, имеет и свою обратную сторону. Посмотри, видишь его? Это менеджер. Ему тридцать лет. У него – отсутствие перспектив в этом бизнесе и проблемы с самоидентификацией. Иначе говоря, он гей, понимаешь, он пидор, повтори, давай, повтори: пи-дор, молодец. Давай еще раз: кто это? Это менеджер. Правильно, но прежде всего кто он? Пи-дор. Громче! Пидор. Еще громче!!! Пидор! Это пидор! Это менеджер-пидор! Все менеджеры – пидоры! И все рекламные агенты – тоже пидоры! Пидоры и сукины дети, добавим от себя! Да, пидоры и сукины дети. Все менеджеры и рекламные агенты – пидоры и сукины дети! Я уже не говорю о работниках муниципалитета!

Молодец. Это и называется самоорганизация.

Во-вторых. Всякая уважающая себя домохозяйка должна помнить про солидарность. Солидарность. Повтори! Со-ли-дар-ность! Правильно, солидарность. Кто твой враг? Пидоры и сукины дети! Правильно, а еще работники муниципалитета. Кто твои друзья? Ты не знаешь? Ты не знаешь, кто твои друзья? Всякая уважающая себя домохозяйка солидарна с трудовыми коллективами колхозов, совхозов, экспериментальных хозяйств, а также с работниками тяжелой, угольной и

машиностроительной промышленности. Повтори! Машиностроительной. Да, машиностроительной. Всякая домохозяйка, активно вовлеченная в борьбу, чувствует братское плечо работников машиностроительной промышленности. И экспериментальных хозяйств. Да, правильно, – и экспериментальных хозяйств. Преодоление твоей социальной изоляции напрямую связано с солидарностью и с трудовыми коллективами экспериментальных хозяйств. Ты это понимаешь? Да. И они это понимают, эти сукины дети, они тоже прекрасно это понимают. Поэтому вся их деятельность направлена против тяжелой, а особенно – против машиностроительной промышленности. Менеджеры контролируют тебя, ты это ощущаешь? Ощущаю. Что ты ощущаешь? Менеджеры контролируют меня. Контролируют мои поступки, мои платежи, мои финансы, они контролируют мой секс. Какой у тебя секс? Ты – одинокая беременная домохозяйка! ОК, секс они не контролируют – они контролируют мои финансовые каналы, мои капиталовложения, мои налоги, мои коммунальные тарифы, мою социальную изолированность, мою вовлеченность в борьбу, мою солидарность со всеми работниками тяжелой и всеми работниками машиностроительной промышленности, они контролируют мои телефонные разговоры, мое питание, мое самоощущение, мое здоровье, мои транквилизаторы, мои сны, мои дневниковые записи, мою беременность. Правильно, они контролируют твою беременность. Кто контролирует твою беременность? Сукины дети. Правильно, кто они? Менеджеры. А еще? Рекламные агенты и работники муниципалитета. Именно так – муниципалитета. А для чего им моя беременность?

И последнее, третье. Всякая домохозяйка обязана помнить о правилах пожарной безопасности. Ничто не обходится так дорого, как пренебрежение правилами пожарной безопасности. Ежедневно в стране гибнет около семидесяти одиноких домохозяек, пренебрегших правилами пожарной безопасности. Это очень много. Причиной этого становится небрежность, невнимательность, а прежде всего – чрезмерная социальная изолированность домашних хозяек, их невовлеченность в борьбу, именно она обычно и приводит к фатальным последствиям. Прежде всего – газ. Газ – наиболее эффективный способ борьбы с твоей изолированностью. Система перекрывает тебе краны, стремясь полностью взять тебя под контроль, система держит одну руку на кране, а другой рукой, что она делает другой рукой – ты знаешь, что она делает другой рукой? Нет? А ты хочешь узнать об этом? Да. Точно хочешь? Да, я хочу. Скажи: я хочу знать, что система делает другой рукой, в то время как одной перекрывает мне кран. Я хочу знать, что система делает другой рукой, в то время как одной перекрывает мне кран. Слушай: система – это однурукий бандит! Это однурукий бандит, созданный для того, чтобы выкачивать из тебя бабки. Чтобы выкачивать бабки и контролировать каждый твой шаг. Это однурукий бандит, созданный для тотального прессинга. Одним словом – другой руки у него нет. Все, конец.

Как устроить незабываемую корпоративную вечеринку

И вот менеджеры собираются после тяжелого рабочего дня в баре, жирные, тяжелые и малоподвижные менеджеры среднего звена, толкутся в баре, как тюлени, бьют лапами и издают резкие пронзительные звуки, перекрикивают музыкальные автоматы, отираются возле караоке, мчатся, шлепая по полу своими лапами, в сортир. Хо-хо, говорят друг другу, как хорошо, что все мы здесь сегодня собрались, мы – менеджеры среднего звена, нам всегда есть о чем поговорить после напряженного рабочего дня, давайте, друзья, – говорят друг другу, – о чем поговорим сегодня? О регби или о бабах? В задницу регби, протестующе машет лапами часть менеджеров! Давайте о бабах! Да, да, оживляются остальные менеджеры, давайте, давайте. И даже те, кто отводится возле караоке, оживляются. И даже те, что отвалили в сортир, мчатся назад, стуча лапами по полу. – Ну что, говорим о бабах? – еще раз переспрашивает пап-тюлень. – Да-да, еще раз, дважды за короткое время, оживляются менеджеры. И тогда пап-тюлень говорит им так:

– Йо, – говорит он, – йо, друзья, что вы мне говорите, какие бабы? – говорит он, – о чем речь, я знаю о бабах все, и я могу вам рассказать. Потому что я знаю о бабах все. И знаете, почему я знаю о них все? Потому что я смотрю на бабу и уже знаю, чего она хочет, я всегда знаю, чего она хочет. Йо! И вот со мной случается такая история: захожу я в соседний бар – я всегда знаю, чего я хочу, вы ж меня знаете, – и я подхожу к бармену и так говорю ему: – Йо, парень,

мне как всегда, ладно? – Что – как всегда? – не понимает этот молокосос. – Ну, меня таким не проймешь, я знаю, что почем в этой жизни. Я ему говорю, значит так, парень, мне, как всегда, мой любимый крутой двойной сандвич с ветчиной. – Вау, – взывают в один голос менеджеры и в восхищении бьют ластами по полу. – Ага, – продолжает он, – именно так, йо, вы ж меня знаете, именно так. И тут этот ублюдок говорит мне: – Мужик, – говорит, – мужик, где это видано, чтобы в стриптиз-барах давали сандвичи с ветчиной? – Но я знаю, что к чему, меня так просто не собьешь. Я ему на это отвечаю: – Вижу, – говорю, – парень, что ты себе на уме, ну что ж, пускай, пускай. Думаешь, ты самый умный, думаешь взять меня вот так просто за яйца, думаешь, ты такой умник? И тут ко мне подходит баба... – Баба! – завывают менеджеры и нервно потирают ластами. – Ага, баба! – торжественно говорит папа, да-да, друзья, баба. Ну, вы меня знаете, я таких не пропускаю. Что, киска, говорю, что ты делаешь в этом свинарнике? – Вообще-то, – говорит она, – я тут работаю, но если хочешь, можешь угостить меня выпивкой. – Что ж, говорю, ясно, что тут за порядки, вижу, мне мой сандвич таки не принесут, но хорошо, детка, что ты будешь? – Пить буду, – говорит она, и если ты не последний дебил, то заплатишь за мою выпивку. – Ну, мне дважды повторять не надо, я говорю бармену: – Парень, говорю, черт возьми, сделай все как хочет моя девочка, ОК? – ОК, – говорит этот ублюдок, ОК, – и обращается к ней: – Тебе что, – говорит, – Маня, опять водяры? – Водяры, – захлебываются от восторга менеджеры. – Ага – водяры. – Именно так. И вот я смотрю, как этот ублюдок крутится около моей девочки, и говорю, что, детка, было бы неплохо пересесть. И вот мы пересаживаемся, и она мне говорит: – Ты, – говорит она, – я вижу, добрый папочка, – ага, – говорю, – йо, ты меня еще не знаешь, и тогда она касается моего ластва. – O!o!o! – заводятся менеджеры. – Да-да – касается моего ластва, и ее рука движется все ниже и ниже. – Ниже! Ниже! – скандируют менеджеры. – Да – все ниже и ниже, и когда уже ниже просто некуда. – Некуда? – захлебываются менеджеры, – да, когда ниже уже некуда, она вдруг поднимает голову и произносит: – Слушай, произносит она, – у тебя что, вообще никогда не стоит? – A!a!a! – отчаянно и восхищенно стонут менеджеры. – И вот это – моя история о бабах, друзья! – торжественно выкрикивает папа-тюлень. И тут уже все менеджеры среднего звена срываются со своих мест и кидаются кто к бару за новой выпивкой, кто к караоке бить ластами. А кто-то просто бежит в сортир, не в силах выдержать этого бесконечного и всеобъемлющего кайфа, и начинает насыпать прямо на умывальнике бесконечные белоснежные дороги, и движется этими дорогами, втягивая в себя магические кристаллы напряженного рабочего дня. И последним вбегает совсем юный менеджер, сын полка среднего звена, и он тоже хлопает своими ручками, своими ластвами-недоростками, и кричит: – И мне, друзья-менеджеры, и мне, мне тоже дайте. Но ему говорят: – Пошел в задницу, чувак, на сегодня все, все дороги закрыты. – Нет! – кричит он, – нет! как же это, я ж тоже слушал эту историю о бабах, меня сейчас просто разорвет, дайте хоть что-то. И тогда старый мудрый тюлень высыпает что-то из своего кармана и говорит: – Давай, сынок, попробуй вот это, оно тебя вставит. – Что это? – пугается сын полка. – Порошок, – говорит тюлень. – Какой порошок? – переспрашивает сын полка. – Стиральный. Давай, сынок, это твой первый стиральный порошок. Сейчас тебя порвет. Сын полка подходит к умывальнику и думает: сейчас меня порвет. И менеджеры смотря на него, прикрывшись ластами, и думают: о, сейчас его порвет, его порвет. И старый мудрый тюлень-пидарас подталкивает его к умывальнику и нежно шепчет, давай, бэби, давай, сейчас тебя порвет. И он наклоняется над умывальником и резко втягивает в себя все, что видит.

И тут его рвет.

И вот домохозяйка приходит в отдел социальной помощи и думает: ох, – думает, – я одинокая беременная домохозяйка, на что я могу рассчитывать? Ясное дело, мне никто не поможет, я не получу никакой социальной помощи. Кто бы мне ее оказал – эту социальную помощь? Все двери для меня закрыты, и каждый клерк думает лишь, как меня урыть. И тут она видит его. Ох, – думает, – ну да, конечно, разве что этот симпатичный молодой клерк сможет мне помочь. Видно, что система еще не выдавила из него остатки человечности, похоже, в нем еще осталось что-то живое. Может быть, у него тоже есть мама, может быть, она тоже была беременной, ну, ясно – она наверняка когда-то была беременной, этим вот недоноском, к нему я и пойду. И она подходит к нему и говорит: – Ох, сынок, тебя мне сам бог послал. – Кто послал? – не понимает клерк. – Да-да, сынок, я-то знаю, именно ты мне и нужен. Ведь у тебя тоже есть мама. – Мама? – не понимает клерк. – Ну да, хорошо, – говорит домохозяйка, – я тебе как родному скажу: я до-

мохозяйка, одинокая беременная домохозяйка, понимаешь, сынок, и я притащилась сюда не просто так, а за своей социальной помощью, и если ты, недоносок, тут сидишь, то, видимо, тебе и отвечать за социальную помощь одиноким беременным домохозяйкам. А он ей на это и говорит: – Значит так, мэм, все понятно, давайте будем решать вашу проблему. – Вот, сынок, – говорит она, – тебя мне точно сам бог послал. – Мэм, – отвечает он на это, – никто меня никуда не слал, давайте так, мэм, давайте договоримся сразу: никто меня никуда не слал. Ладно? – Ладно, – говорит она недовольно. Так что там с моей социальной помощью? – Значит так, – говорит клерк, – с помощью. Давайте будем решать вашу проблему. – Давайте, – соглашается она. – Давайте, – говорит он. – Ну давайте, – не возражает она. – Значит так, – говорит он, – значит вы – одинокая беременная домохозяйка. – Одинокая, сынок, – отвечает она. – И вы пришли в наш отдел? – продолжает он. – Пришла, сынок, – отвечает она. – И вам нужна социальная помощь? – уточняет он на всякий случай. – Ес, сынок, ес, – поддакивает она, – социальная помощь. – А мы не дадим вам социальной помощи, – говорит он и выходит из кабинета. – Фак! – говорит она и выходит за ним.

И вот он нервно заходит в сортир. Сука, думает, вот сука, одинокая беременная сука, как же она меня достала, как же они все меня достали своей социальной помощью, просто достали, все эти одинокие беременные домохозяйки. У меня тоже была мама, и она тоже, очевидно, была беременной, ну ясно, что была, раз я сейчас тут сижу с рулоном в руке, ясно, что была беременна, и что – она ходила просила социальной помощи? Да, ходила! И что – ей кто-то дал? Да – дали! И нечего меня теперь доставать своей помощью, тоже мне беременная, – говорит он и начинает мыть руки, – беременная, как будто бы она собирается родить Элвиса Пресли. Сука, где мыло? – он осматривает комнату, – я хотя бы руки помыть могу, сука? Где мыло? Или хотя бы стиральный порошок. И он вдруг вспоминает вчерашний порошок.

И тут его снова рвет.

Как сберечь семейный уют

Каждая домохозяйка хочет стать мамой Элвиса. Социальный статус мамы Элвиса сам по себе дает значительные преимущества. В первую очередь – проблема социальной адаптации. Система пасует перед мамой Элвиса. Домохозяйка приходит в свой кредитный банк и говорит: – ОК, – говорит она, – я мама Элвиса, где я могу увидеть руководителя департамента по связям с общественностью? Значит так, сынок, – говорит она начальнику департамента, слушай меня внимательно: я старая одинокая домохозяйка, может, что-то в своей жизни я сделала не так, может, я не слишком вовлечена в борьбу, но, черт возьми, сынок, мой Элвис, мой малыш, – он знает, что делает, и вот что я вам скажу: такой срани, как в вашем кредитном банке, я давно не видела. А я в своей жизни – до рождения Элвиса, ясное дело, – видела столько срани, что ты себе представить не можешь. И с этими словами она оставляет начальника департамента один на один с проблемами самоидентификации. Мама Элвиса приходит на биржу и говорит: – Ох, – говорит, – и тут то же самое, и тут та же самая срань. Послушайте, – кричит она брокерам и маклерам, – вы – сукины дети, я – мама Элвиса, и чтоб я сдохла, если я видела где-нибудь таких лузеров, таких мудозвонов, как вы! – Что вы, мэм, – пытаются спасти ситуацию маклеры, – мы вполне нормальные чуваки, мы знаем вашего Элвиса, что за проблема, мэм? – Проблема в том, – говорит им мама Элвиса, – что вы мудозвоны, и черт меня возьми, если я сейчас говорю неправду. Просто хотела вам это сказать: вы – мудозвоны, ничего личного.

Элвис приходит для того, чтобы решить проблему с твоей страховкой. Элвис говорит тебе: – Капитализм неспособен отобрать у нас главное – наше чувство самоорганизации. И солидарности. Моя мама, – говорит Элвис, – простая одинокая домохозяйка, научила меня главному: система всегда держит руку на кране! Система всегда контролирует уровень газа в твоем трубопроводе. В то время как ты борешься за свое выживание, она перекрывает клапаны. В то время как ты пытаешься сделать что-то со своей страховкой, она регулирует силу напряжения. В то самое время, как ты занимаешься самоорганизацией, система держит свою руку на чертовом кране. И когда она держит одну руку на кране, знаете, что она делает другой рукой? Нет? А вы хотите это знать? – Да. – Наверняка хотите? – Да, мы хотим. – Скажите: мы хотим знать, что система

делает другой рукой, в то время как другой перекрывает нам кран! – Мы хотим знать, что система делает другой рукой, в то время как другой перекрывает нам кран! – Другой рукой она дрочит!

Мама Элвиса приходит домой, находит посреди комнаты кучу пустых банок из-под пива, находит в ванной самого Элвиса, спящего в теплой воде, находит его кошелек, его ковбойские сапоги, его засранную экологически чистую одежду, всю в крови и кишках молодых менеджеров и рекламных агентов. – Ох, Элвис, – говорит она, – мой беззаботный малыш, мой отчаянный Элвис в белой одежде и армейском нижнем белье, мой любимец, солнце моей жизни, что ж ты так нахуячился, Элвис, что ж ты так набрался, что спишь теперь прямо в ванне, прямо в своем армейском нижнем белье. Ох, Элвис, говорит она, – система борется с нами всеми возможными способами, система знает наши слабые места. Все правильно, Элвис, система – это настоящий однорукий бандит, и пока одну руку она держит на кране, другой рукой она дрочит. Причем дрочит она, Элвис, тебе.

Как отказать рекламному агенту

Агент приходит домой к домохозяйке и думает: сучка, – думает он, сучка, вот она сидит себе дома, закрылась, думает кинуть меня, как же, думает, этот агент, сейчас я его кину, сейчас он у меня выгребет, я хорошо приготовилась, сейчас я его обязательно кину. Только зайду к ней, сразу начнет меня кидать, начнет говорить о социальных службах, о страховке, о мужчинах, начнет грузить меня своими мужчинами, она думает, если я рекламный агент, значит мне можно рассказывать о своих мужчинах, я знаю этих сучек, я знаю, о чем она будет говорить, о своих мужчинах или о порошке, да-да, точно, о порошке, они все думают о порошке, о стиральном порошке, стиральный порошок – этот кокаин домохозяйек, крысиный яд для их мужчин. Она думает, меня легко кинуть, ей насрать, что я уже подвизал с наркотой, что я уже три месяца как чистый. Ей, сучке, на это насрать, сейчас начнет меня грузить своим порошком, своими мужчинами, начнет говорить мне о социальных службах, а то, что я три месяца чистый, – ей насрать, ясно: это вам не стиральный порошок и не социальные службы. Какие уж тут социальные службы, три месяца, ты понимаешь, три месяца, что ты мне втираешь о своем порошке, думаешь только, как меня кинуть. Ага, давай, я – сын пилота бомбардировщика, мой отец был пилотом бомбардировщика, чтоб ты знала, так что давай, что у тебя за адрес, курва, где мои очки, где мой кейс, где мои таблетки.

И когда он подходит к ее дверям, она думает: ох, – думает она, – хорошо, что сегодня нет этого ненормального рекламного агента. Какой ужас, – думает она, – прошлый раз он пытался продать мне огнетушители. Говорит, мэм, такие огнетушители, просто чудо, а не огнетушители, берите сразу три – нет, лучше четыре. – Нет, – говорю я, – для чего мне огнетушители. – Два, – насаждает он, – берите хотя бы два, мэм. – Не нужны мне огнетушители, – говорю, – я доверяю социальным службам. – Вот, – говорит он, – ага, – говорит, значит, социальным службам? Я, – говорит он, – уже третий месяц на этой работе, и не несите этой чепухи о социальных службах. Мой отец, – говорит, – пилот бомбардировщика, и он всегда брал с собой пару огнетушителей. – Пару? – не поверила я. – Да, – говорит, – пару, два, всегда брал с собой на боевые вылеты два огнетушителя. – Господи, – говорю, зачем же ему два? Второй, – говорит он, – для противопожарной безопасности. И что теперь?

И вот он звонит в дверь и говорит: – Йо, мэм, – говорит он, – хорошо, что я вас застал: на улице, знаете, такое творится, третий месяц такое творится, я даже не знаю, что думать, хорошо выглядите. – Сынок, – говорит она ему на это, – я плохо выгляжу, у меня токсикоз. – Поздравляю вас, – говорит он, – поздравляю, и по этому случаю предлагаю вам купить нашу новинку. Я знаю, вы перестали доверять нормальному качеству, все норвят кинуть нас – людей, которые заботятся о вашем благополучии, все перестраховываются и доверяют только этим чертовым социальным службам и думают только про свой гребаный порошок, про этот порошок. Я вам так скажу, мэм, этот порошок, чертов гребаный порошок, его уже девать некуда, ну что вы с ним будете делать – не огнетушители же вы им заряжать будете, стиральным порошком, а, мэм?

Но она ему на это говорит: – Послушай, – говорит, – я одинокая беременная домохозяйка, у меня все есть, я купила себе огнетушитель – вот он, красный, в уголке, – видишь. Давай, сынок, иди себе с богом, мне не нужна ваша новинка, знаю я ваши новинки: снова либо тостеры перегоревшие, либо массажеры какие-нибудь. Мне не нужны массажеры, у меня все есть, плюс у меня токсикоз, поэтому видеть тебя, сынок, мне сейчас просто неприятно, что тут скажешь?

А он ей на это отвечает: – О'кей, мэм, понятно, все ясно, мэм, тостеры вам не нужны, я понимаю, для чего беременной домохозяйке тостеры, правильно?

– Правильно, – говорит она.

– И зачем ей массажеры с токсикозом, правильно? – насеждает он.

– Да, сынок, да.

– А как насчет огнетушителей?

– В углу, красный.

– Вам бы лишь порошка побольше, правильно?

– Сынок, – нервничает она, – какого порошка, иди себе с богом.

– Йо, мэм, – продолжает он, – ну ясно какого: стирального порошка, вам же кроме него ничего не надо, правильно?

– Сынок, – просит она.

– И то, что я третий месяц уже чистый, вам просто ни к чему, правильно? Вам это просто неинтересно с вашим порошком, правда ж, мэм? То, что мой отец, пилот бомбардировщика, определял как кризис социальных коммуникаций – вам это просто неинтересно, правильно?

– Сынок, – спрашивает она, – а ты правда чистый?

– Мэм, – продолжает он, – послушайте, мэм, я знаю, что у вас в голове – порошок, этот чертов порошок, этот чертов гребаный порошок, стиральный порошок для вашей безразмерной стиральной машины, для этой коровы вашего хозяйства, большой рогатой скотины постиндустриального общества. Стиральная машина, которую вы кормите жертвенной кровью растерзаных кроликов, машина, которую вы обклеиваете порнооткрытками, которую вы описываете фашистскими лозунгами, – это она приходит ночью в вашу спальню и тревожно стонет над вами, это она уничтожает ваши запасы стирального порошка, это она выбрасывает из своего нутра остатки домашних животных и вашу растерзанную одежду. Ага, мэм, именно так, стиральная машина, этот электрический стул для мидл-класса, она убивает вас своей черной энергетикой, пробивает ваши чакры, вы знаете, мэм, что она делает, когда вы засыпаете? Спросите, спросите у меня, мэм, что она делает, когда вы засыпаете, мэм!

– Нет, – кричит она ему, – только не стиральная машина, не трогай ее, только не она!

– Йо, мэм, – насеждает он – как это не она? Именно она, кто ж еще. Для кого вы покупаете весь этот стиральный порошок?

– Только не стиральная машина, – плачет она.

– Коробки, большие картонные коробки с порошком внутри. Мешки порошка, целые мешки порошка, для кого вы их покупаете, скажите, мэм?

– Нет, – просит она, – нет!

– Ради светлой памяти моего отца, пилота бомбардировщика, скажите, мэм.

– О, только не это, – стонет она.

– Скажите, скажите мне, мэм, что вы с ним делаете, куда вы его деваете, весь этот чертов гребаный порошок?

– Но я не покупаю стирального порошка! – кричит она.

– Как не покупаете? – вдруг останавливается он.

– Не покупаю! – рыдает она. – И никогда не покупала! Никогда! Никакого стирального порошка!!!

– Тогда кто, кто покупает весь этот чертов гребаный порошок? Кто? Я?! Я, мэм, уже три месяца не покупаю себе порошка, потому что я чистый, три месяца чистый, и гореть вам в аду, мэм, вместе с вашей стиральной машиной, гореть вам в аду! – говорит он и выбегает на улицу.

– Нет! – кричит она ему вдогонку, – только не в аду!

– Именно в аду! – отвечает он.

– Только не в аду! – отчаянно кричит она ему.

– В аду! – отвечает он из ада.

Е-е, – думает он, – вот так мы работаем с постоянными клиентами, вот так мы поддерживаем корпорацию, пусть следующий раз знает, как разговаривать с нашими рекламными агентами, я

ее насквозь вижу, а как же, хотела меня кинуть, вишь, что выдумала, – порошок, говорит, стиральный порошок. Как будто я не знаю, что у нее на уме, а как же, а как же, корпорация мне платит за мою работу, я знаю все эти истории о страховках и социальной службе, третий месяц, третий месяц чистый, третий месяц, еще четыре – и конец реабилитационного курса, и я ебал...

Я знаю, – думает она, – я знаю, чего они от меня хотят. Они стоят под дверью ванной комнаты, когда я принимаю душ, стоят и слушают, как вода стекает по моему животу. Они приходят ремонтировать стиральную машину и вставляют в нее жучки и датчики. Они подслушивают ровный размеренный шум ее двигателя, они хотят остановить это бесстрашное сердце моей стиральной машины – вот чего они хотят. Когда мой сын вырастет и станет настоящим Элвисом, он будет носить белоснежную экологически чистую одежду, он вынет из моего сердца все занозы, он сделает так, что розовые лепестки будут лежать в моих карманах, и вокруг не будет ничего – лишь белый-белый снег и белые-белые цветы, и еще этот белый-белый чертов гребанный порошок.

Как питаться в супермаркетах

И тогда директор фабрики, изготавливающей экологически чистые памперсы, говорит: – Ничего, она все равно не может отказаться от наших услуг. Наш бизнес построен таким образом, что ни одна сучья домохозяйка не сможет в конце концов обойтись без наших чертовых памперсов. Рано или поздно она придет за ними, придет в большие прозрачные супермаркеты, полные нашими памперсами – лучшими на рынке, рано или поздно она все равно за ними придет. И знаете, почему? – Почему? – спрашивает совет директоров.

– Потому что система всегда держит руку на кране. В то время как ты занимаешься своим одиночеством, она умело регулирует клапаны. В то время как ты пытаешься сделать что-то со своей беременностью, она повышает силу напряжения. В то самое время, как ты занимаешься домашним хозяйством, система держит свою руку на этом невидимом кране. И когда она держит одну руку на кране, знаете, что она делает другой рукой? Вы знаете, что она в это время делает другой рукой? – Нет, – отвечает совет директоров, – мы не знаем. – А вы хотите об этом узнать? – Да, – отвечает совет директоров, – мы хотим. – Вы точно хотите? – Да, – официально сообщает совет директоров, – мы точно хотим. – Скажите: мы хотим знать, что система делает другой рукой, в то время как одной перекрывает нам кран! – призывает их директор. – Мы хотим знать, – повторяет за ним совет директоров, – что система делает другой рукой, в то время как одной перекрывает нам кран. – Так что, как вы думаете? – спрашивает директор. – Дрочит? – несмело делает предположение совет директоров, – дрочит Элвису? – В это время, – говорит директор, – другой рукой она перекрывает другой кран. Потому что на самом деле кранов два – просто о другом кране мало кто знает. А на самом деле их два. И этот другой кран – наша с вами беззащитность. Пока система одним краном контролирует твою жизнь, другим краном она контролирует твою смерть. Именно поэтому мы настолько зависимы друг от друга. Именно поэтому так или иначе каждая беременная домохозяйка рано или поздно придет в супермаркет покупать наши чертовы памперсы. Потому что так или иначе мы зависимы от нее не меньше, чем она зависима от нас. И не понимать этого не может ни одна домохозяйка, какой бы одинокой и беременной она ни была.

После этого они получают новый транш.

Как убить всех

- Йо, сынок, давай, подымайся, самое время поговорить серьезно.
- Кто вы?
- Мы друзья, сынок, мы твои верные друзья, йо.
- Какие друзья?
- Верные друзья. Послушай, сынок, время думать о будущем. Ты думаешь о будущем?

- Да, думаю.
- И что ты, сынок, о нем думаешь?
- Я думаю о нем только хорошее.
- Молодец, сынок, это ты хорошо придумал – думать о будущем только хорошее. И как ты думаешь, какие у тебя шансы?
- Ну, я не знаю, нужно у мамы спросить.
- Мама спит.
- Да.
- Так мы тебе скажем, сынок. Мы – твои друзья. Твоя мама, сынок, – одинокая беременная домохозяйка. Причем беременна она тобой. И время бы уже подумать о своем будущем. И тут приходим мы, е, твои верные друзья. Если ты имеешь дело с нами, мы берем на себя все затраты, понимаешь? Мы предлагаем тебе условия, каких тебе не предложит никто. Кем ты хочешь быть?
- Домохозяйкой.
- Сынок, как ты думаешь, какие у тебя шансы?
- Ну, я не знаю.
- Мы знаем. Давай так, сынок: домохозяйкой ты станешь в следующий раз. А мы тебя сделаем Элвисом. Хочешь стать Элвисом?
- А вы можете сделать меня домохозяйкой?
- Сынок, послушай нас: то, что мы предлагаем, должно тебя заинтересовать. Мы сделаем тебя настоящим Элвисом, настоящим Элвисом в белом костюме с бриллиантами. Ты будешь ходить в экологически чистой одежде, ты будешь носить армейское нижнее белье, ты вынешь все занозы из сердец наших матерей. Ну так что – по рукам?
- Ладно, а как же мама?
- Мама спит.
- Давайте ее разбудим. Все вместе.
- Думаем, не стоит. Твоя мама, сынок, не хочет видеть очевидных вещей. Она защищает тебя от твоих верных друзей, то есть от нас. Она прячет тебя в своем животе, будто вы кенгуру. Но ведь ты не кенгуру, правильно, ты Элвис.
- Да, я не кенгуру.
- Вот видишь. Твоя мама не понимает очевидных вещей: от нас все равно нельзя избавиться: рано или поздно она придет к нам, придет в наши офисы и супермаркеты, придет договариваться о твоём будущем, придет его устраивать, придет просить социальной помощи. Она не понимает, что независимо от того, хочет она того или нет, независимо от того, хотим ли этого мы, мы не можем друг без друга, мы в системе, сынок, это как в случае с тобой: вот мы нашли тебя, вот мы разговариваем с тобой, о чем-то говорим, и вся разница между нами лишь в том, с какой стороны маминого живота мы находимся.
- А мама об этом знает?
- Мама, сынок, знает обо всем.
- Ладно. Сколько?
- Вот, это другое дело. Десять.
- Сколько?
- Десять. Десять баксов.
- Ладно, пять – сейчас, пять – после родов.
- Довольно неоднозначная позиция, учитывая твоё положение.
- У меня нормально положение, чуваки. Или так, или идите в жопу.

И тут они о чем-то шепчутся.

- Ладно, сынок, ладно, вот пятерка, мы ее оставляем твоей маме, пусть заберет, когда проснется. Только смотри не подведи нас.
- Все?
- Все-все. Ты хороший сын своей мамы.
- Увидимся в аду, ублюдки.

И плавая дальше в мамином домохозяйском животе, он думает себе так.

Ладно, думает он, это даже хорошо. Скоро я рожусь и начну расти. Когда я вырасту, у меня будет много верных друзей. Они мне помогут встать на ноги, они возьмут на себя все затраты и уладят все нюансы этого дела. Я стану настоящим Элвисом, настоящим красным Элвисом, у меня будет экологически чистый белый костюм с бриллиантами. И уж когда я стану настоящим красным Элвисом, я вытащу все занозы из сердец наших матерей, и прежде всего из сердца своей матери, и вокруг меня всегда будут крутиться менеджеры и рекламные агенты, работники муниципалитета и клерки, директора фабрик и владельцы баров. И все они будут меня любить и поддерживать, потому что я буду их Элвисом. И мама будет гордиться мной, даже несмотря на то, что мы редко будем видеться, и мои менеджеры и рекламные агенты не будут ее ко мне пускать. Она все равно будет мной гордиться, она будет разглядывать издали мой костюм и будет говорить: – Ох, Элвис, – будет говорить она, – мой беззаботный малыш, мой отчаянный Элвис, мой любимец, солнце моей жизни, система борется с каждым из нас, система знает наши слабые места, все верно, Элвис, но есть один момент: с каждым из нас система борется по-своему, и когда одним она перекрывает кран, тебе, мой Элвис, она дрочит. Причем дрочит обеими руками.

И тогда я позову всех своих менеджеров и рекламных агентов, всех работников муниципалитета и клерков, всех знакомых директоров фабрик и владельцев баров и соберу их всех на незабываемую корпоративную вечеринку.

А потом я их всех убью.

Перевод с украинского Евгении Чуприной

Коротко об авторах

Людмила Агеева Прозаик. Родилась в Ленинграде. По образованию физик, закончила Ленинградский университет, кандидат физико-математических наук. Много лет работала в Государственном оптическом институте. В 1997 г. переехала в Германию. Широко печатается в русской и зарубежной периодике. Лауреат международного конкурса 1992 года на лучший женский рассказ. Живёт в Мюнхене.

Каринэ Арутюнова Прозаик, художник. Родилась в 1963 году в Киеве. Окончила Киевский государственный университет. Работала редактором детского журнала. В 1994 г. переехала в Израиль. Живёт в Тель-Авиве и в Киеве.

Ника Батхен Поэт, прозаик, журналист. Родилась в 1974 году в Ленинграде. Училась в Литературном институте им. Горького. Автор книги стихов «Снебападение», множества рассказов и цикла биографических статей о зарубежных фантастах. Лауреат премии журнала «Новый мир» за 2001 год и конкурса «Гумилёвский трамвай-2005», обладатель гран-при Шестого израильского фестиваля молодых литераторов. Публикуется в российской и зарубежной периодике. Живёт в Москве.

Арсений Березин Прозаик. Родился в Ленинграде в 1929 г. Закончил физический факультет Ленинградского университета, кандидат физико-математических наук. Работал в Физико-техническом институте АН СССР на протяжении 35 лет. Член Европейского физического общества, действительный член Международной академии наук и образования (Сан Франциско). Активный участник и организатор конференций по предотвращению ядерной войны. Руководит работой Комитета петербургских ученых по борьбе с терроризмом. Автор рассказов, опубликованных в журнале «Звезда» и сборника «Пики-козыри», изданного Пушкинским фондом в 2007 г. Живёт в Санкт-Петербурге.

Леонид Гиршович Прозаик. Родился в 1948 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградскую консерваторию, скрипач. С 1973 г. жил в Израиле, с 1979 г. в Германии. Гражданин Израиля. Работал в оркестрах Ленинградской филармонии, Израильского радио, Нюрнбергской оперы, Ганноверского оперного театра. Первые рассказы были опубликованы в 1976 г. В России вышли романы: «Обменные головы» (1992), «Бременские музыканты» (1998), «Прайс» (шорт-лист Буковской премии 1999г.), «Суббота навсегда» (2001), «Вий» (2005). Живёт в Ганновере.

Нина Горланова Прозаик, поэт, художник. Родилась в деревне Юг Пермской области в крестьянской семье. В 1970 г. закончила филологический факультет Пермского университета. Автор множества книг и публикаций в российских и зарубежных литературных журналах. Лауреат нескольких престижных премий, в том числе международных (первая премия на Международном конкурсе женской прозы, 1992, Специальная премия американских университетов, 1992). Произведения переведены на английский, французский, немецкий, испанский, польский языки. Замужем за писателем В. Букуром, с которым часто пишет в соавторстве. Живёт в Перми.

Андрей Грицман Поэт, эссеист. Родился в 1947 году в Москве. По первому образованию врач, окончил Первый Московский медицинский институт имени Сеченова, кандидат медицинских наук. Второе образование – литературный факультет Вермонтского университета, магистр искусств по литературе. В 1981 году эмигрировал в США. Пишет по-русски и по-английски, автор семи книг стихов и прозы. Широко публикуется, по-русски – в ведущих русских литературных журналах, по-английски – в периодике США и Великобритании. Организатор и ведущий Международного клуба поэзии в Нью-Йорке, редактор сетевого журнала «Interpoesia». Живёт в Нью-Йорке.

Сергей Жадан Поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Родился в 1974 г. в г. Старобельск (Украина). Окончил Харьковский государственный университет. Автор тринадцати книг стихов и прозы и множества публикаций в украинской и зарубежной периодике, составитель нескольких литературных антологий. Лауреат нескольких отечественных и зарубежных (Германия, Великобритания, Австрия, Польша) литературных премий. Произведения переводились на русский, английский, немецкий, польский, венгерский, белорусский, литовский, хорватский, словенский, сербский и армянский языки. Живёт в Харькове.

Аркадий Кайданов Поэт, прозаик, киносценарист, журналист. Родился в 1955 году в Нальчике. Автор двенадцати поэтических сборников и многочисленных публикаций в российской и зарубежной периодике. Лауреат премии «Золотой теленок» (1991 год). Автор нескольких телефильмов, лауреат всесоюзных и всероссийских телефестивалей. Живёт в Валенсии (Испания).

Елена Краснухина Философ, эссеист. Родилась в 1953 г. в Ленинграде. Выпускница философского факультета Ленинградского государственного университета. Защитила диссертацию по французской социологии. С момента завершения образования и по настоящее время преподаёт философию в Санкт-Петербургском государственном университете, доцент факультета философии и политологии. Автор 90 работ по актуальным проблемам социальной философии. Публикуется в российской периодике. Живёт в Санкт-Петербурге.

Павел Лукаш Поэт, прозаик. Родился в Одессе в 1960 году. Автор трёх поэтических сборников и книги прозы. Стихи и проза публикуются в периодических изданиях, антологиях и альманахах Израила, России, Украины, Германии, США. Живёт в Бат-Яме, Израиль.

Самуил Лурье Прозаик, эссеист, литературовед, критик. Родился в 1942 г. Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета. Почти всю жизнь проработал в отделе прозы журнала «Нева». Автор нескольких книг и множества журнальных публикаций. Лауреат нескольких престижных литературных премий (в том числе – имени П.А. Вяземского, 1997). Действительный член Академии русской современной словесности (Москва). Живёт в Санкт-Петербурге.

Александр Мелихов Прозаик, критик, публицист. Родился в 1947 г. в г. Россось Воронежской обл. Окончил математико-механический факультет ЛГУ, кандидат физико-математических наук. Автор множества прозаических книг, журнальных и газетных публикаций. Широко печатается в России и за рубежом, ведёт большую общественную деятельность. Лауреат нескольких литературных премий. Живёт в Санкт-Петербурге.

Михаил Письменный Прозаик, поэт, переводчик. Родился в 1944 году в Ногинске Московской области. Окончил университет им. Я. А. Коменского в Братиславе (Словакия). Автор многих книг и публикаций в отечественной и зарубежной периодической печати. Живёт в Москве.

Елена Скульская Поэт, прозаик, драматург. Родилась в 1950 г. в Таллине в семье писателя Григория Скульского. Окончила филологический факультет Тартуского государственного университета. Автор двенадцати книг стихов и прозы и множества журнальных публикаций. Переводилась на эстонский и украинский языки. Лауреат международной «Русской Премии» (2007) и эстонской премии Eesti Kultuurkapital (2006). Живёт в Таллине.

Наталья Толстая Прозаик, переводчик. Закончила Ленинградский университет, кандидат филологических наук, доцент кафедры скандинавской филологии Санкт-Петербургского университета, автор первого в России учебника шведского языка. Как прозаик широко публикуется в России и за рубежом, рассказы переведены на итальянский, шведский и немецкий языки. Лауреат литературной премии им. Сергея Довлатова. В 2004 году награждена правительством Швеции Королевским орденом Северной Звезды в знак признания бесценного вклада в развитие контактов между Швецией и Россией. Живёт в Санкт-Петербурге.

Илья Фаликов Поэт, прозаик, эссеист. Родился во Владивостоке в 1942 г. Автор девяти книг лирики, книги эссеистики и четырех романов в прозе, напечатанных в толстых московских журналах. Лауреат Всесоюзного конкурса поэзии (1965), Фонда «Литературная мысль» (2000), журнала «Арион» (2004). Стипендиат Фонда Генриха Белля (ФРГ, 2001). Член жюри Антибукеровской премии (1996-2000). Регулярно выступает в московской периодике со стихами, статьями и прозой. Живёт в Москве.

Баадур Чхатарашвили Прозаик. Родился в 1952 г. в Тбилиси. По профессии архитектор-строитель, окончил Грузинский политехнический институт и аспирантуру Московского инженерно-строительного института, много лет работал по полученной специальности в самых разных местах Советского Союза. В настоящее время предприниматель, владелец небольшой строительной фирмы. Прозу начал писать недавно, так что публикаций пока немного. Живёт в Тбилиси.

Владимир Шубин Прозаик, литературовед. Родился в 1949 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения. Много лет работал экскурсоводом по Ленинграду, затем в журнале «Искусство Ленинграда», Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Автор книги «Поэты пушкинского Петербурга», популярных работ и научных публикаций по истории литературы. Рассказы последних лет печатаются в русской и зарубежной периодике. В Германии с 1997 г. Живёт в Мюнхене.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ
Журнал русской литературы
Выходит ежеквартально

“Partner“ Verlag

Руководитель издательства: д-р Михаил Вайсбанд

Художник: Р. Дубинский

Компьютерная верстка: В. Аввакумов

Корректор: Р. Вайнблат

Подписано к печати 15.05.2009

Адрес: Partner MedienHaus GmbH & Co. KG

Märkische Str. 115

44141 Dortmund, Germany

Тел.: +49 231 952 973 0 (общий)

+49 231 952 973 16 (подписка)

E-mail: info@zapiski.de

Банковские реквизиты:

Konto 123 10 75

BLZ 440 700 24

Deutsche Bank Dortmund

Электронная версия в Интернете:

<http://magazines.russ.ru/> (Журнальный зал)

<http://www.zapiski.de>

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Для подписки на журнал вышлите, пожалуйста, в адрес издательства (Partner MedienHaus GmbH & Co. KG, Postfach 104219, 44042 Dortmund, Germany) Ваши данные (адрес и телефон) и квитанцию об оплате подписки: 16 евро для жителей Германии и 27 евро (или чек на 27 евро) – для проживающих вне Германии. Вы получите четыре очередных выпуска журнала.

По вопросам подписки и приобретения ранее вышедших выпусков журнала звоните по тел.: +49 231 952 973 16

АНОНС

Читайте в девятнадцатом номере «Зарубежных записок»

Прозу

Арсения Березина (Санкт-Петербург),
Александра Мильштейна (Мюнхен),
Александра Титова (с. Красное Липецкой обл.),
Александра Медведева (Москва),
Георгия Нипана (Москва),
окончание романа Людмилы Агеевой (Мюнхен)

Стихи

Марии Игнатьевой (Барселона),
Феликса Чечика (Натания, Израиль),
Олега Блажко (Киев)

Критику и эссеистику

Эмиля Мишеля Чорана (перевод Бориса Дубина),
Евгения Ермолина (Москва),
Марка Харитоновна (Москва),
Алексея Макушинского (Мюнхен)

